ЖУРНАЛ ДОН©

4-6-2014

Российский
ордена Дружбы народов
литературно-художественный
ежемесячный журнал

Ростов-на-Дону

ЖУРНАЛ ©
Дон
4-6-2014

Издаётся
с апреля 1925 года

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА В ЖУРНАЛЕ

Диана Кан
РАСКАЛЁННАЯ КАЛИНА 3

ПОЭЗИЯ

Гарри Лебедев
НЕ ЗАСТИТЕ ДРУГ ДРУГУ СВЕТА 38

Владимир Шугля
СОЛНЕЧНОЕ ОГНИВО 161

ПРОЗА

Александр Унтила
НОГА. Рассказ 23

Николай Железняк
ГОСТЬЯ. Рассказ 47

Иван Евсеенко
РАЗРЫВ Роман (Окончание) 66

ШОЛОХОВ И ПРАВОСЛАВИЕ

Наталья Стюфляева
ХРИСТИАНСКИЕ МОТИВЫ В РОМАНЕ «ТИХИЙ ДОН» 221

НАШ ШОЛОХОВ

Юлия Чернявская
ПРИМЕТЫ КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЁМ 247

Никита Щербаков
ЧТО ПОМНИТ СЕРДЦЕ 252

ПУБЛИКАЦИИ

Даниэль Дефо
ДАЛЬНЕЙШИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО 163

Ирина Баранчикова
И МЛЕЧНАЯ СПУСТИЛАСЬ НИТЬ. Стихи 61

© Журнал Дон, 2014

Диана Кан

РАСКАЛЁННАЯ КАЛИНА

Имя Дианы Кан прочно утвердилось в современной поэзии. Она, считая себя ученицей Юрия Кузнецова, по-своему продолжает его русский путь.

Волжская поэтесса Диана Кан регулярно печатается на донских страницах, входит в состав редакционной коллегии нашего издания. Представляя её новые стихи выпуском «Книги в журнале», редакция журнала «Дон» также поздравляет своего автора с определённой датой!

* * *

Сладкими восславленная снами,
Проклятая трижды наяву,
Полыхнёт – о, если б куполами! –
Сторона, что отчиной зову.

Полыхнёт – от края и до края!
Кабы знать – рассвет ли то? Закат?
Угли ада или розы рая
В небесах над отчиной горят?

Поцелуй Авроры розоперстой
Воспевала я сама не раз,
Позабыв: Аврора – это крейсер!
Только так заведено у нас!

Только так – от залпа и до залпа.
От одной Авроры до другой!
Только так у нас, привыкших залпом
Пить за здравье и за упокой.

Расцветай, Аврора, розой райской,
Адовым угольем небо жги.
Ведь чем дальше в нашей русской сказке,
Тем страшней и не видать ни зги!

Пусть в кровавом роковом узоре
Через сутемь бренной суеты
Встанут зори в пламенном уборе,
Обагрив на куполах кресты.

* * *

Спеша из ниоткуда в никуда,
И увозя с собой чужие жданки,
Встречаются ночные поезда
На Богом позабытом полустанке.

Два фирменных, два скорых вдаль спешат…
И встретятся ль ещё на свете белом?
Лишь две минутки рядом постоят
Под семафорным бдительным прицелом.

Покуда пассажиры крепко спят,
Наговорившись и напившись чаю,
Ночные поезда стрелой летят,
И время, и пространство побеждая.

Я выйду в тамбур, молча закурю.
И задохнусь от приступа бессилья.
Вот так однажды и любовь мою
И время, и пространство победили!

Прижмусь к стеклу разгорячённым лбом
У сумрачной эпохи на излёте.
И взгляд, что до озноба мне знаком
Поймаю вдруг в окне купе напротив.

Сорвётся с губ непроизвольный вскрик,
Сигналом тепловоза заглушаем…
И тронутся составы в этот миг,
И мы навек друг друга потеряем…

И заметёт мой путь усталый снег
На роковом последнем повороте,
В пространстве русском растворясь навек
У сумрачной эпохи на излёте.

* * *

Ты, кого я высотой окрыляла,
Далью манила, дразнила, влекла…
Ты, для кого я однажды упала
В мир, где царила полночная мгла.

Ты, для кого я сквозь сумрак окрестный,
В вечность сбежала строптивой водой,
Не уловима тщетою телесной,
Не побеждаема смутой мирской.

Ты, для кого я себя созидала –
Жгла, леденила, сводила с ума.
Даже глагольною рифмою стала,
А ведь была от рожденья нема!..

Ты, в небеса выводящий из комы
Души несчастных собратьев моих,
Вечно и всюду исконно искомый –
Несокрушимый классический стих!

* * *

Если от горя народ обезножен –
Прялку под лавку, шашку – из ножен.
Свистнешь – и конь пред тобою – огонь!
И под копытом ковыль одолонь.

Не богатыршей-микулишной вроде
Кличут тебя, величают в народе –
Дочка, сестрица, супружница, мать…
Статочно ль прялку на шашку менять?

Слышко, по пьяни куражатся: «Ухнем!»
Богатыри по пивнухам и кухням?..
Всё о Руси неустанно радеют –
То похмеляются, то фанатеют.

Ну, проявила бы бабью смекалку,
Да поменяла бы прялку на скалку.
Скалкой сподручнее – так твою мать! –
Богатырей в честный бой подымать!

Ой, поменяла бы!.. Только вот жалость:
Богатырей-то почти не осталось!
Надо нам, бабоньки, вот о чём речь,
Богатырей на племя поберечь!..

Али мы, бабоньки-девоньки-сёстры,
Лишь на язык боевиты да востры?..
Аль богатырски у нас не крепка
И прикипела лишь к скалке рука?

Не осудите, родимые, строго!
Да пожелайте удачи в дорогу,
Ведь унывать нам никак не годится,
Матушка-шашка да прялка-сестрица!

* * *

Царевщина, примай-ка на постой!..
Ведь я готова гостевать по-царски.
Здесь зелень проросла сквозь сухостой,
И русский клён не побеждён канадским.

Горящая багрянцем октября,
Горчащая рябиновою гроздью,
Царевщина-царевишна моя,
Почто зарделась в царском взоре грозном?..

Ай, ты гостям не рада? Не лукавь!..
Они ль не покуражились на славу?
И листьев позолоченная ржавь
Навек сроднилась с отсветом кровавым...

Здесь вьюги – дебютантки декабря
И февраля шальные фаворитки –
Имперские подарят соболя
Тебе, допрежь обобранной до нитки.

Здесь сквозь века обнимет речка Сок
Сокольих гор воздушную громаду.
И небосвод пронзительно высок:
Взмахни крылом и – обожжёшься взглядом.

Здесь я пою с ветрами в унисон,
Учусь у них быть вьюгой и подругой.
…И в небо, словно сокол, вознесён
Царёв Курган, парящий над округой.

* * *

Да как же это, как же это вышло –
Что ты, который Богу присягал,
Превыше Бога и превыше ближних
Вдруг возлюбил Интернационал?..

Бескрайняя Сибирь лежит под снегом.
Метель надрывно стонет, плачея...
Пробьётся ссыльно-каторжным побегом
Цветущая империя твоя.

Хоть слышится порой в метельном плаче
Печальный зов отвергнутой зурны,
Побег твой обречён был на удачу –
Победное цветение весны!

Железный Коба! Ты сражён печалью,
Про все невзгоды зная наперёд…
Железо, чтобы стать поющей сталью,
Должно пройти сквозь пламень и сквозь лёд.

Знать, Бог судил – и никуда не деться! –
В плену провалов, ссылок, неудач
Суметь постичь стальным кавказским сердцем
Метелей русских горький бабий плач.

* * *

Блинный дух и дух былинный
Поизветрились Постом…
Раскалённая калина
Кровянеет под окном.

Раскалилась, словно печка,
Всласть отведавшая дров.
Бабка Настя теплит свечку,
Взгляд серьёзен и суров.

Свежей сдобой тянет сладко.
Скоро Пасха. По ночам
Непоклонистая бабка
Бьёт поклоны куличам.

На муку слегка подует.
Бухнет масла дюжий ком.
И колдует, и волхвует,
И орудует пестом.

На пасхальной на неделе
Не из нашей ли печи
Куличи в трубу летели,
Золотые куличи?

…С бабой Настею не спорьте,
Хоть она добра на вид.
«Масло печива не портит!» –
Баба Настя говорит.

Из печи кулич достанет.
Цыкнет: «Рученьки уйми!»
И, возрадуясь устами,
Опечалится очми.

Ах, как пахнут сладко-сладко
Золотые куличи…
Что ж печалуется бабка,
Пригорюнясь у печи?..

Почему она печальна,
Если с самого утра
Благолепно-величально
Льют елей колокола?..

Не с того ли, что былинный
Дом вот-вот пойдёт на слом?..
…Сгустки ягоды калины
Кровянеют под окном.

* * *

Я запомню себя в заповедном забывчивом мае,
Где никак меня звать, где ещё я никто и ничто,
Где собака не лает, рябина косой не играет,
Где плетусь я понуро с тетрадью стихов на лито.

А собаки притихли в форштадтских резных палисадах,
И прижухли рябины, грядущую чуя беду…
Говорила мне мама: «Оно тебе, доченька, надо?..»
Не послушала маму, не ведая, что на Голгофу иду.

Говорила мне мама с глухим материнским укором:
«Что стихи? Сущий вздор!.. Ты в торговый бы шла институт…»
Только что я могла, коль докучнее всех ухажёров,
Всюду-всюду меня карауля, стихи начеку – тут как тут?..

Я направо пойду – обжигаюсь молвою досужей.
А налево сверну – ухажёров назойливых рать…
Ну, а мне-то, а мне-то всего только в жизни и нужно –
То, что вздором считают, в тетрадь поскорей записать.

Пусть мутузят друг друга, отвергнуты мной, ухажёры.
Пусть не сходит с лица моей ласковой мамы укор…
Ну, а мне бы укрыться от всех за высоким
форштадтским забором
И нести, и нести, и нести восхитительный вздор!

Отцветут по форштадтским резным палисадам рябины,
Напитаются гроздья голгофскою кровью Христа.
И зажгутся на ветках воскресших созвездий рубины,
Чтоб до первых морозов у смертных горчить на устах.

«Эко я, как рябину, судьбину свою обломала!..
Ведь без вздора теперь не прожить мне ни часу, ни дня…»
Но пока я слова для стихов, как рубины рябин, подбирала,
Беспощадное вещее Слово прицельно стреляло в меня.

Заповедный забывчивый май, твою заповедь я не забуду!..
Хоть уже никогда ни за что не сумею вернуть
Тот единственный, жуткий, подобный Голгофскому чуду,
Тот прекрасный, лучистый, тернистый, изменчивый путь!

Нет в помине уже тех форштадтских резных палисадов
Нету мамы давно… Но всё слышится, словно в бреду,
«Что стихи? Сущий вздор! А оно тебе, доченька, надо?..»
…Не послушала маму и вот на Голгофу иду.

Сколько ж можно идти, непутёвая мамина дочка?..
Говорила же мама!.. Её не послушала я.
…Написала не я золотые заветные строчки –
Это сами они написали и переписали меня.

* * *

Медной горы хозяйка!
Где же твоя гора?
Или ты просто зазнайка
И поумнеть пора?

Где твой Данила-мастер?
Каменный где цветок?
Эвон, какие страсти
Бьются тебе в висок!

Жить бы, не беспокоясь,
Не замечать обид…
Где он, твой Каменный пояс?
Что ж он тебя не хранит?

Мерцают твои самоцветы
Тысячи долгих лет…
Чёрт догадал поэтом
Родиться на Божий свет!

И самоцветные фразы
Разбрасывать напоказ…
Светятся хризопразы
Лунных усталых глаз.

Слёзы в каменья отлиты…
Знает о том одна
Чара из чароита,
Выпитая до дна.

* * *

Спой обо мне, обманутая Тоска!..
А я, так и не понята никем,
Вздохнув, запью печаль шампанским Боска
За неимением шато-икем.

Не то, чтоб вдруг. Не то, чтобы некстати.
Не то, чтобы надрыв или надлом.
Не то, чтоб я продрогла от проклятий.
Не то, чтобы вся жизнь пошла на слом.

Не то, чтоб мне сегодня было плохо…
Сегодня мне, пожалуй, всё равно!
Мерцает недопитая эпоха,
И не таковских утянув на дно.

Не то, чтоб потаскухой обозвали…
Не то, чтоб в этом не моя вина:
Потосковав наедине с бокалом,
В холодную постель ложусь одна.

Не то, чтоб стервой оказалась слава.
Не то, чтоб прикурить не дал никто.
Не то, чтоб у вина видок кровавый…
Не то, не то, не то, не то, не то!..

А просто дерзкой юности обноски
Вдруг стали обветшалы и тесны…
Не пьёшь – так пой, обманутая Тоска,
В объятиях несбыточной весны!

* * *

Здесь время течёт иначе.
Здесь суетное не в счёт…
Под окнами старой дачи
Крапива вовсю цветёт.

Цветёт, не ведая скуки,
С повадками злой снохи.
И, словно к бабуле внуки,
К землице льнут лопухи.

Здесь время течёт, как Крымза
Несуетная течёт…
А то, что свекровку грымзой
Здесь кличет сноха – не в счёт!

Не в счёт, что сноха сварлива.
Крапивный у сношки нрав.
Уварится в щах крапива,
Судьбою-едьбою став.

Здесь времени и пространства
Навек неразрывна связь…
Твоим тридевятым царством
Отверженным становясь.

* * *

Караван-Сарайская – не райская!
Улочка горбата и крива.
Но цветут на ней сирени майские –
Так цветут, что кругом голова!

А неподалёку Растаковская
(Баба Настя так её звала) –
Улица с названьем Казаковская
Муравой-травою поросла.

Так живут – без лести, без испуга! –
Приговорены, обречены,
Улочки, что в центре Оренбурга
Детские досматривают сны.

Им не привыкать! Иль это снится мне:
Жили-выживали, кто как мог,
Хлопавшие ставнями-ресницами
На ветрах неласковых эпох?..

…Дерзости училась я у робких
Улочек, знакомых наизусть…
Железобетонные коробки
Вытесняют из России Русь.

Сторона моя обетованная –
Оренбуржье! Всё ты тут, как есть!
Дремлющая Азия саманная
И казачья яростная спесь.

* * *

Я узнаю твой знаменитый зной…
Ты не забыл, что я тебе родная?
Но ты, такой красивый и чужой,
Глядишь в упор, своих не узнавая.

Мол, ну, какой же ты, Диана Кан, поэт?
Разбойница, драчунья и бандитка!
А ты, хоть и моднее стал одет,
Не городок, а сто рублей убытка!

А если так, то нечего в упор
Смотреть на то, как я вернулась в детство,
Где был мне тесен душный твой простор,
Где зной знобил доверчивое сердце.

Не здесь ли – послушание само! –
Я постигала септаккорды-гаммы?
Здесь мной разбито не одно окно
И спичек уворовано у мамы!

…Ответь же мне без горестных надсад –
И более я не задам вопросов! –
Куда ты подевал Татарский сад –
Отчизну лучших в мире абрикосов?

Там спелых яблок восковая спесь
Не раз подверглась моему набегу.
Там на любое дерево залезть
Умела я с хорошего разбега…

Ты это всё на новенький проспект
Сменял, чтоб стать, как щёголь на картинке?..
…Мой древний город, дервиш и поэт,
Не мне судить тебя, твоей кровинке!

В полночной луноликой тишине
Дожить бы, дотянуть бы до рассвета!..
От щедрых предков перепало мне
Лишь это огнедышащее лето.

* * *

Январской вьюги чувственные стоны.
Разбитого окна сквозной оскал.
Вновь вовремя явилась только полночь.
А ты опять – ты снова! – опоздал.

И не надеясь, видимо, на чудо,
(А ведь оно бывает иногда!)
Услышать предпочёл: «Иди отсюда!»,
Хоть прозвучало: «Идиот, сюда!».

Я не просила твоего вниманья
Вдали от злой насмешницы-мечты –
В том городке, которого названье
И не пытался выговорить ты.

Однажды попытался и – запутался…
Чуть не сломал язык, махнул рукой...
И – прочь побрёл ухабистою улицей
По городку над Волгою-рекой.

По городку, что местными хабалками
В дым обкумарен смрадом сигарет.
По городку, где фонари фингалами
Веками зверовато смотрят вслед.

По городку, где вьюжная метелица
Вскипает в подворотнях, как змея…
По городку, где очень слабо верится
В небесный смысл земного бытия.

По городку, где в списках ты не значишься
И значиться не будешь никогда…
…И городок вослед тебе таращится
Окном, разбитым вдрызг и навсегда.

* * *

Пью за здравие бывших мужей!..
Здравы будьте, мужья мои милые!
Опьяняйтесь свободой своей,
Жизнь любите с удвоенной силою!

Никого и ни в чём не виня,
В женских душах блистательно властвуйте!..
Ну, а что не любили меня –
И за это, мужья, благодарствуйте!

И за это, и даже за то,
Что в своей поэтической удали
Вы, как, видимо, больше никто,
Юность с вечностью намертво спутали.

Не ищите такую нигде –
Во хрустальном гробу почивавшую,
Выживавшую в мёртвой воде
Из трубы на метле вылетавшую.

Убедившую – путь ваш высок!..
Обманувшую всех и минувшую…
… Всех созвавшую на огонёк –
Лёгким дымом в трубу улизнувшую.

* * *

Пока ещё ты славой не заласкан,
Хотя уже, похоже, взят в прицел,
Несмешливо возьму тебя за лацкан,
Покуда высоко не улетел.

На лацкане медаль лауреата
Соперничает с розою любви…
Соседство их не то, чтобы приятно,
Но устоял хоть кто-то? Назови!

Из тех, кто славой искушён-услышан,
Никто не озаботился всерьёз,
Что на пути, какой суждён нам свыше,
Шипов куда поболее, чем роз.

Твой путь – высок, ведёт тебя далече.
Огонь и воду ты перепластал.
Но предстоит она – со славой встреча
И медных труб обманный драгметалл.

Драк и метаний истинным итогом
Да будет вдохновения полёт!
Лишь этим оправдаемся пред Богом,
Который всё простит и всё поймёт.

* * *

Небритый неприкаянный уставший
Опальный выдающийся поэт!
Забудь про наш, давно дуэлью ставший,
Трагический и творческий дуэт.

Ты снова приволок букет претензий,
Не в силах суету сует избыть.
А мог бы – мог бы! – мне букет гортензий
Хотя бы напоследок подарить!

Не мне клонить главу повинно долу.
Лелеять не тебе глухой укор,
Ведь всяк поэт своё выводит соло
Из зябкого забвенья на простор.

Когда звучат стихи, стихают звуки
Житейской неизбежной суеты…
…Подаждь нам днесь возвышенные муки
Позволивший нам звать Себя на Ты!

* * *

Россия, Русь… А дальше многоточие…
Что ж, в этот скорбный судьбоносный век
Обочину мы приняли за отчину,
И побрели по ней и в дождь, и в снег.

Мы люди Божии, калики перехожие.
Мы эмигранты в собственной стране…
Но, как ни тщились, нас не изничтожили
Все те, кто мимо мчались на коне.

Все те, кто напылили-накопытили.
Все те, кому чертовски повезло.
Все те, кто записались в небожители
Родной земле отверженной назло…

…Под вопли автострадные-эстрадные,
Летящие в лицо нам пыль и грязь,
Идём-бредём пообочь, невозвратные,
На купола церквей перекрестясь.

И нам не надо с отчиной сцепления
Шипами ощетинившихся шин,
Когда у ног почти в благоговении
О вечном шепчет скорбная полынь.

* * *

«Рус…» – читаю нынче на заборе.
Время удивляться, не шутя.
Помнится, писали тут другое,
Три весёлых буквы приплетя.

Нынче вспоминается с улыбкой,
Как в кратчайшем из возможных слов
Ухитрялся допустить ошибку
Некий вольнодумец-острослов.

Нынче все мы вроде вольнодумцы.
И на всё у нас готов ответ.
Скажешь: «Русь» – тебе в лицо смеются,
Словно слова неприличней нет.

Мы не то, чтобы умом не вышли,
Но живём-то, братцы, однова!
От избытку чувств-с порою пишем
На заборе всякие слова.

Вроде никого не порицая,
«Русский» написать пыталась ты.
Тут же подоспели полицаи,
Извиняюсь, бывшие менты.

Всю Россию превратив в казарму,
Наводя кладбищенский уют,
Хорошо ещё хоть не жандармы
Нам урок грамматики дают!

* * *

Собирай, зима, котомку
Ледяных напрасных слёз!
Трясогузку-ледоломку
На хвосте журавль принёс.

И, верна своей привычке
Быть первейшей в деле том,
Эта птичка-невеличка
Разбивает лёд хвостом.

В поднебесье не летает,
Но усердием её
Лёд, сковавший сердце, стает
И стечёт в небытиё.

Припасла для всех подарки,
Несмотря на суету –
Юной яблоньке-дикарке –
Подвенечную фату.

Речке-старице – свиданье
Со стремниной молодой.
Иве-брошенке – страданья
Над высокою водой.

Снежной бабе-несложёнке
Солнечной любви оскал…
…Всё, что мне, дрянной девчонке,
Ты когда-то обещал.

* * *

Ты долго по миру блукал,
Всемирности русской заложник.
Среди иноземных лекал
Себя отыскать невозможно!

Ты счастья отнюдь не просил.
Ты классика принял на веру,
Который не раз говорил,
Что счастье – земная химера.

Что все мы под небом седым,
Где ветры вселенские свищут?..
Невольно о воле скорбим.
Покой, беспокойные, ищем.

Выходим один на один
С пропахшим степями култуком[1]...
Но – вал повернёт баргузин,
Нам став и собратом, и другом!

[1] Култук – северо-восточный ветер на Байкале

…Ты всуе так долго искал
Покоя. Созвучья. Участья…
…Россия. Распутин. Байкал…
Ну что ещё надо для счастья?

* * *

Событий смутных нам темно значенье,
Но Судный день грядёт:
Исполнится библейское реченье,
И гада гад пожрёт.

И, не суля безоблачного рая,
К нам, наконец,
Овец от злобных козлищ отделяя,
Придёт Творец.

Господь придёт пожар лечить потопом,
И – ной, не ной! – библейский ладь ковчег.
На скорбном стыке Азии с Европой
Ты призван свыше, русский человек!

Пусть неоглядна матушка-Расея –
Пожар, потоп, поклёп, сума, тюрьма…
Но даже на семи ветрах Рифея
Живи, не выживая из ума!

Живи – от Бога в вековечном шаге,
Что одолел за несколько минут!..
…Пусть вострубит пикирующий ангел,
Призвав земное на небесный суд.

г. Новокуйбышевск Самарской обл.

Александр Унтила

НОГА

рассказ

Третий сводный отряд специального назначения от 54 отдельного разведполка ВДВ выходил на боевую задачу. Отряд отвечал за всю горно-лесную часть Веденского района до самой Грузии, и ранней весной 2001 года работы разведчикам хватало. Закопошились зимовавшие в селах под легальными документами боевики, разномастные воины ислама потихонечку попёрли со стороны грузинской границы – кто на заранее оборудованные лесные базы, а кто просто – подкалымить, где придётся. Набирал обороты очередной сезон затянувшейся войны, которую с крайней подачи руководства приказано было именовать контртеррористической операцией. Офицеры в отряде быстро переименовали ее в контрацептивтическую, давно махнув рукой на стратегические цели и идеи и сведя насущные заботы к минимуму – сберечь солдат и, по возможности, собственное здоровье, без потерь дотянуть до конца очередной командировки.

Без потерь, правда, не обходилось. Мало того, что многодневные сидения в засадах и пешие прогулки по зимним чеченским горам в поисках окопавшегося или выдвигавшегося на очередной промысел душья никому не прибавляли жизненного тонуса. Из без того немногочисленного списка личного состава жёлтыми зубами выгрызал свою долю гепатит, от дистиллированной воды из горных речек сыпались зубы. Содержимое сухих пайков, неизвестно по какому принципу скомплектованное, то цементировало наглухо содержимое желудков, то дружно подсаживало бойцов и командиров на жидкую струю. Обморожения, потертости, фурункулы считались личным недосмотром их обладателя, за такую напасть от начмеда можно было получить разве что пинок под зад в плане профилактики на будущее, да временный титул дежурного чухана.

23:00, 03 марта 2001. Колонна пошла. Тихо, без света, почти на холостых. Три БТРа с личным составом на броне, «Урал» с

боеприпасами и командно-штабная «шишига»[1]. Не болтать, не курить, наблюдать во все стороны. Головной БТР ведёт колонну на ощупь – ни звёзд, ни силуэтов гор на чуть бледном небе. Со всех сторон моросящая снегом непроглядная темень. Раскисшая ледяной глиной колея осталась слева, движение – по обочинам. На инженерную разведку времени нет, к рассвету надо быть под Элистанжами, встать, закрепиться, замаскироваться. Первая группа спецназа сходу выдвигается и садится на засаду, остальные тихо налаживают временный быт передвижного командного пункта – с этой точки 14 дней отряду работать по окрестным горам. Не дай Бог засветиться на марше или при оборудовании временного лагеря: духи в лучшем случае – затаятся, отойдут, и вся работа пойдёт прахом. В худшем – понаблюдают, подтянутся и накроют. Хоть и малочисленный, отряд специального назначения – желанная добыча для любого полевого командира, и подставляться никому не хочется.

Две недели при минимуме тепла и пищи. Фонарями не пользоваться, костры не жечь, одежду сушить на себе. Сон – урывками. Две группы на засадах или в разведке, одна в охранении. Позади остался базовый лагерь – более-менее обжитый «Шанхай» с нехитрым уютом, печками, самодельными банями и чахлым, вечно больным электричеством от дизель-генераторов.

02:20, 04 марта 2001. Подморозило, небо очистилось. Глиняная жижа схватилась коркой, хрусталём лопается под скатами крадущихся БТРов, глушит ровный тихий свист турбированных дизелей, демаскирует.

На посветлевшем своде проклюнулись ночные светила, обрисовались силуэты гор. Ориентироваться стало легче.

– Омич – Палычу.

– Связь.

– «Две тройки».

Палыч – командир механизированной группы и замполтех отряда. Колонну ведет он. Капитан, 24 года, тянет уже третью командировку. У Палыча давно нет имени и фамилии, для офицеров – и воинского звания. По отчеству, ставшему позывным, к нему обращается даже командир отряда – грозный подполковник Шувалов, он же «Омич».

Опытный, знающий, надёжный и невозмутимый офицер, чемпион округа по боксу, внушал благоговейный уважительный ужас солдатам. Палыч мог днём и ночью провести колонну вне дорог в любом направлении. При полном отсутствии запчастей починить БТР. За два месяца из любого сопливого призывни-

[1] Шишига – ГАЗ-66

ка, которого мама перед армией не научила умываться, подготовить хорошего механика-водителя или пулеметчика. Он не орал, не топал ногами, не раздавал зуботычины и практически не наказывал бойцов за их многочисленные «косяки». Провинившемуся десантнику он смотрел в глаза и бросал одну только фразу которая надолго делала несчастного посмешищем. Самой большой катастрофой для солдата было попасть к капитану на профилактическую беседу с глазу на глаз – общался с «преступником» Палыч в этом случае почти на равных, угощал чайком и сигаретами, но даже у самого отчаянного раздолбая в итоге долго шевелились от ужаса пеньки волос на голове, холодный пот тёк за шиворот. Воин икал и пускал газы, трясся от стыда и осознания собственной ущербности.

«Две тройки»: колонна стой! Метрах в сорока по курсу – две пары зелёных угольков. Палыч поднял «Вал»[1], приник к ночному прицелу. Волки. Две матёрых тени с горящими светодиодами глаз. Стоят, не уходят, не шевелятся. Капитан чуть повёл стволом, потянул спуск. Тихонько чавкнул затвор, между передних лап первого зверя зеленоватым облачком взметнулся фонтанчик мёрзлой земли. Второй волчара – видимо, помоложе или самка – резко присел, подогнув хвост между задних ляжек. Вожак невозмутимо потряс передними лапами, досадливо стряхивая стегнувшие по ним льдинки. Звери продолжили путь.

– Омич – Палычу.

– Да.

– «Две пятёрки».

«Две пятёрки»: можно двигаться дальше. Колонна пошла.

05:30, 04 марта 2001. Вышли на место. В галогеновом мерцании увязнувших в дымке звёзд наметились очертания небольшой поляны с провалами старых капониров под технику. Когда-то, еще в первую кампанию, на этом месте стоял артиллерийский дивизион, стоял основательно и плотно. Вгрызшись в землю, обложившись мешками с песком и окутавшись паутиной колючей проволоки, дивизион контролировал гаубичным огнём добрую треть Веденского района. Поляна чуть возвышалась над рельефом, была замаскирована подлеском, имела хороший обзор.

– Странник – Омичу.

– Связь.

– Проверь… Грач, охранение.

---

[1] Вал – автомат специальный, калибр 9 мм, имеет интегрированный прибор бесшумной и беспламенной стрельбы

Приступили к работе сапёры, проверяя место будущей стоянки. Солдаты поминутно останавливались, присаживались, поднимая левую руку, и осторожно ковыряли поляну щупами и пехотными лопатками.

06:30, 04 марта 2001. Омич собрал командиров. Вытирая пот, подошёл Странник. Над командиром сапёров колыхался светлеющий воздух, от БЗК[1] шел пар.

– Долго ещё?

– Звенит всё, товарищ подполковник. Банки, гильзы, колючка ржавая… Если всё копать – часа два как минимум.

Шувалов на секунду задумался, потёр кирпичный подбородок.

– Так, хорош, не успеваем. Палыч, распредели технику по капонирам и загоняй. Грач, готовь группу на засаду. Татарин, с тебя охранение. Ставь аккуратно, в кусты пусть не лезут. Странник, как рассветёт, вокруг лагеря проверишь, могли растяжек понаставить.

В самый глубокий капонир Палыч загнал «Урал» с боеприпасами. Подошёл к Страннику:

– Николаич, капониры проверял?

– Не все успел, Палыч. Там всё звенит, мусора накопали кучу.

– Эх…

На рассвете Странник снял в кустах вокруг лагеря четыре растяжки. Гранаты были относительно свежие, не проржавевшие. Свежими были и накопанные гильзы и банки, как будто специально принесённые и насыпанные вокруг да около для усложнения работы сапёров. Сомнения, возникшие накануне, заворочались, как упитанные ежи в корзине, закололи душу.

– Местечко-то наше засвеченное, Странник.

– Да я уж понял… – сапёр досадливо сплюнул – ждали нас тут, или предусмотрительные очень. Странно, что на въезде фугасик не поставили. Видимо, очень хотели, чтоб мы въехали.

– Что командир?

– Согласен. Думает, спалили нас. Скорее всего, у душья за такими местами постоянное наблюдение. Какой-нибудь бача раз в два-три дня делает обход, смотрит, не ведут ли свежие следы к местам старых стоянок.

– Думаешь, подтянутся? – Палыч щелчком стряхнул с плеча снежинку.

[1] БЗК – Боевой защитный комплект. Включает противоосколочный комбинезон, бронежилет 5 уровня, защитный шлем.

– А хрен их знает! Могут. Может, так из минометов постреляют…

Шувалов принял единственно возможное в сложившейся ситуации решение – доложив в Ханкалу о случившемся, отправил все три группы на засады, на пути возможного подхода боевиков. В лагере оставили броню и минимум личного состава. Организовали круговую оборону, наблюдение за дорогами. На случай возможного обстрела из минометов или эрэсами[1] решено было восстановить старый блиндаж. Им занялись саперы. Расчистив вход, Странник послал бойца на разведку. Воин сунул в жерло укрытия миноискатель, и тот сразу истошно завопил зуммером. Осторожно потыкали щупом. В блиндаже было по щиколотку воды, схваченной ледяной коркой, из которой, как остовы затонувших кораблей, торчали пустые цинки из-под патронов. Посветили фонариком на сочащиеся влагой стены, под покрытый сосульками и мёрзлыми поганками бревенчатый потолок… Есть. Еле заметная проволочка, на уровне глаз. Грамотно, ничего не скажешь. Заходя в незнакомое помещение человек обычно светит по сторонам и себе под ноги, не замечая того, что находится перед его носом. Снимать растяжку пока не стали – кто его знает, сколько раз и где этот фугас продублирован. Рассеялись последние сомнения. Духи упорно ждали, когда кто-нибудь встанет на это место, ждали и готовились.

Омич приказал в случае обстрела прятаться в БТРах и сразу же выводить машины с площадки, и теперь сидел над картой, грыз карандаш и ломал голову, куда уводить отряд. Двигать в базовый лагерь тем же путём было опасно, просить пехоту выставить блокпосты – окончательно запороть всю операцию.

Тянулся пасмурный день. Группы мёрзли на засадах, потихоньку жевали галеты и холодную тушенку. Редкие снежинки кружили белыми мухами, ныряли в стылую грязь.

16:46, 04 марта 2001. – Омич – Татарину. Три двойки, по руслу. Вижу восемь. Вижу десять… двенадцать…

Духи шли по руслу. Шувалов быстро прикинул расклад. Нормально. Направление подхода угадано, мины выставлены, группа успела окопаться. Грач чуть сместился, отрезая боевикам пути возможного отхода. Отряд был небольшой, двенадцать «чехов», вооружение стрелковое, два пулемёта, гранатомёт – наверняка разведка. Шли грамотно, головкой, боковые дозоры и тыл, но уж больно торопливо – видимо, не терпелось засветло выйти к лагерю и организовать наблюдение. Здоровенькие,

[1] РС (Эрес, Нурс) – неуправляемый реактивный снаряд.

упакованные, видно, что не первый год воюют, а вот дисциплина в подразделении хромает, идут вроде осторожно, а веточками похрустывают, стволами кусты цепляют, в ядре еще и ругаться умудряются полушёпотом.

Головной дозор сняли из двух снайперских винтовок и сразу растащили по кустам, забрав радиостанцию. Русло ручья в этом месте делало небольшой изгиб, остальные «бородатые» держали дистанцию метров в сорок и не услышали и не увидели случившегося. На духовский запрос по станции ответили двумя щелчками тангенты – заблаговременно подслушанный условный сигнал. Главные силы противника двинулись дальше, дошли до поворота, Татарин произвел подрыв установленных мин. Четыре осколочно-заградительные мины разом грохнули, разметав клочья по деревьям. Боковые дозоры и тыл боевиков тут же залегли, открыв стрельбу во все стороны, но группа Татарина вжалась в отрытые окопчики, слилась с мёрзлым мхом, отмолчалась. Не получив ответа, духи успокоились. Решив, что заминированное русло никем не прикрывалось, завыглядывали из укрытий, закаркали гортанными голосами. Наконец двое полезли в ручей, осмотрели тела подорвавшихся, собрали оружие и закарабкались вверх по склону. Тихо всхлипнули бесшумные винтовки, два трупа, бряцая оружием, покатились на дно. Немногочисленные остатки банды, уже не прячась, ломанулись назад по руслу, прямо на пулемёты Грача. Тут уже деликатничать не стали, бойцы прилежно отработали по патронному коробу.

Шувалов был доволен. Минусы обернулись плюсами, среди разведчиков раненых и убитых нет, результат впечатляет. Шуму, конечно, наделали, но тут уж не до жиру. Забито двенадцать «бородатых», если их основные силы где-то на подходе – вряд ли сунутся, услышав звуки боя и потеряв со своими связь. Трофейная станция пару раз что-то обеспокоенно спросила на чеченском и замолкла – «духи» ушли на другую частоту. Сейчас ноги в руки и сваливать отсюда. Жаль, погода хреновая, вызвать бы вертолёты, может, получилось бы засечь остальных и грамотно навести артиллерию… Надо спешить. Пока светло, есть шанс проскочить.

18:00, 04 марта 2001.

– Палыч – Омичу.

– Связь.

– Всё, отход, «ленту» на дорогу.

БТРы и «шестьдесят-шестая» выползли на дорогу, построились в походный порядок. Наводчики хищно поводили жалами крупнокалиберных танковых пулеметов, обшаривая в прицелы

стремительно темнеющие склоны. Гружённый «Урал» беспомощно елозил в своём укрытии – за день жирная глина подраскисла, солидолом забила протекторы колёс. Из леса потянулись разведчики – пыхтящие, нагруженные трофейным оружием и снаряжением. Развернули охранение, полезли на броню. Водитель «Урала» – бритоголовый, с оттопыренными ушами боец по фамилии Клюков, смешно пучил глаза и вытягивал шею, отчаянно газовал.

Палыч подошёл к «Уралу», глянул в капонир, открыл дверь в кабину:

– Слушай сюда, Клюква. Я тебя сейчас бэтээром зацеплю, как трос натянется, дашь на первой полный газ, как вылезешь – сразу нейтралку и по тормозам. Понял?

– Так точно…

– Давай…

Палыч выдернул из колонны замыкающий БТР, подогнал задом, завёл буксирный трос. Отошёл метров на двадцать – не дай Бог лопнет – срежет, как бритвой. Махнул механику. БТР пыхнул соляркой, потянул, Клюков дал газу, «Урал», поднимая фонтаны жидкой грязи, полез из своей ловушки…

18:10, 04 марта 2001. Земля встала вертикально и с размаху ударила Палыча по затылку. Пропали звуки, смазалась картинка. Капитан попытался вдохнуть – не смог. Подвигал челюстью, выплюнул что-то солёное, дунул в нос, прочищая ходы. Поморгал глазами. Прямо по курсу было пасмурное небо, под ногами пустота. Наконец, до него дошло, что он лежит на спине, впечатавшись в огромную лужу, ледяные струйки уже весело текут за шиворот, холодят гудящий затылок. Сразу встать не получилось, Палыч перевернулся на живот, встал на карачки, утопив в жиже ладони. Закашлялся, выхаркивая из лёгких комья глины. Все действия казались невообразимо затянутыми, как при замедленной киносъёмке.

Так, «Урал»… Где он? Поднялся, помотал головой…

Грузовик скатился назад, в капонир, кабина была разворочена, левое переднее колесо залетело в кусты.

На выезде из укрытия чернела воронка, над которой всё ещё висело в воздухе сизое облако, напоминающее небольшой ядерный гриб. Возвращающееся обоняние резала вонь солярки и тротиловой гари.

«Оружие?» – обожгла мысль. Палыч поискал вокруг себя. Автомат оказался в руках, только держал его капитан как будто двумя кусками дерева. Забросил оружие за спину и, шатаясь и потирая отсушенные ладони, побежал к «Уралу».

Грузовик наклонился на левый безколёсный бок, крыша вздыблена, искорёженную дверь заклинило. Срывая ногти, потратив бесконечные секунды, удалось её открыть. Палыч встал на подножку, хрустнул стеклянным крошевом. Урал накренился ещё, застонал рваным железом. Вот он, Клюков, как обычно, выпучил свои глаза, затянутые красной сеткой полопавшихся сосудов, пялится с ужасом и непониманием.

Секунда на оценку обстановки. Боец зажат между сиденьем и рулём в районе таза, голову держит, значит, шея не сломана. Странно, потолок кабины над его головой вмят, явно здорово припечатался. Правая рука сломана и неестественно вывернута, ниже локтя вообще сплошное месиво, а дальше… Дальше. Левую ногу не видно, теряется где-то под остатками приборной доски. Пах разворочен, лоскутья и клочья ваты – остатки штанов – густо пропитаны кровью. Правая нога… Правая разбита в районе бедра, явно разорвана артерия – кровь хлыщет пульсирующими толчками, скатывается ртутными шариками по снежно-белому обломку бедренной кости.

Клюков пялится необыкновенно осмысленным взглядом, но явно не понимая, что с ним произошло и что ему делать – боли он, по всей видимости, еще не чувствовал из-за шока. Палыч глянул на него построже, тихо сказал:

- Рот закрой, воин. Нормально всё.

Боец немедленно захлопнул отвисшую челюсть, длинно, со свистом выдохнул, пустив из угла рта кровавые пузыри, и вдруг обмяк, мешком сполз на сиденье.

Всё. Надо вытаскивать его отсюда. Палыч обернулся, хрипло проорал через плечо:

– «Жгуты и промедол!»

Правая нога солдата оказалась обмотанной вокруг рычага переключения передач, держалась на лоскуте кожи и лохмотьях ватных штанов. Не долго думая, Палыч вытащил нож и обрезал всё это. Дернув вниз остатки штанины, проткнул её сбоку лезвием, пару раз крутанул, затягивая импровизированный жгут. Водительское сиденье со своих креплений было сорвано. Капитан вышиб его пинком вглубь салона, потянул молчавшего Клюкова на себя. Левая нога выскользнула из своего плена, изгибаясь в тех местах, где ей совсем не положено. Всё ясно, тоже раздроблена. Пачкаясь в липкой крови, подхватил бойца под тощий зад, передал кому-то в подставленные руки.

Стали подходить разведчики, прибежали командиры групп. Доставали промедол, потрошили свои индивидуальные перевязочные пакеты. Кто-то не сдержался, запричитал:

– Ой, бля…

– Ой, ё…

Клюков задышал, оглянулся безумными глазами и заскулил.

– Тихо все! На хрен ушли отсюда! – Палыч поймал взглядом вытаращенные глаза первого попавшегося разведчика. Тихо и внушительно сказал:

– Сейчас жути нагоните, он запаникует и умрёт. Всё нормально, всем улыбаться, ясно? И вообще, дуйте по своим местам, не дай Бог обстрел начнётся.

Подошёл Омич, разогнал разведчиков.

– Ты как сам-то, Палыч?

– Нормально…

Капитан дошёл до БТРа, постучал в броню прикладом.

– Тимоха, цел?

– Так точно…

– Воды умыться дай… И бушлат чистый.

Пока механик возился внутри машины, Палыч повернул на себя зеркало заднего вида, глянул… Да уж, ну и рожа. Весь в крови и глине, на чёрта похож. Скинул бронежилет, бушлат, ставший комком сырого теста. С пятилитровой пластиковой баклажкой подскочил Тимоха.

– Вот, товарищ капитан… Из силового, тёплая…

– Полей…

Палыч умылся, стуча зубами, «тёплой» водой, натянул чистый бушлат и пошёл помогать доктору.

Клюков, обколотый лошадиной дозой промедола, наконец, потерял сознание. Доктор уже навертел из бинтов целый футбольный мяч и затолкал его солдату в пах, наложил нормальный жгут на оторванную ногу и теперь накладывал шины на переломанные конечности.

– Как он, Док? – мысли тяжело ворочались в гудящей голове, заплетался язык.

– Хреново… Крови потерял много, если внутренние повреждения есть – вряд ли довезём. Омич вертолёт пошёл вызывать… тут и так целый набор, ещё и нога…

«Нога!» – мысль молнией мелькнула в разжиженном контузией мозгу.

– Тимоха!

Примчался Тимоха, вылупился на распростёртого Клюкова, отвалил челюсть и завис. Палыч вывел его из ступора подзатыльником, отвёл в сторону.

– Тимоха, лезь в «Урал». Там осталась нога Клюкова, возьмёшь её, ботинок и штанину снимешь, родишь чистого снега – вот с этой горки, дальше не лезь. У тебя две РШГ лежат в десанте, снимешь с них целлофан. В один замотаешь ногу, вложишь в другой, а промежуток забьёшь снегом. Если лётчики быстро прилетят, может, еще и пришьют. Понял?

Тимченко умчался, Палыч, превозмогая тошноту и мотая головой, помогал Доку. Начмед что-то говорил, но пчёлы, свившие улей в черепной коробке и отчаянно гудевшие, мешали его слушать.

– Слушай, Док, сустав у него цел тазобедренный?

– Да вроде…

– А яйца?

– Там всё всмятку, Палыч. Мягкие ткани все в лоскуты. Как он жив-то ещё, не пойму. Я вот помню…

– Слышь, Димон, а ногу ему можно пришить? Я сказал, чтоб её в снег замотали. Ну, я читал где-то, что так можно сохранить оторванную часть…

– Не знаю… вряд ли. Судя по всему, ему с бедра вынесло кусок, я из-под бушлата две горсти обломков выгреб… Хотя можно вставить штырь металлический, а кожу и мышцы со спины вырезать… Ты сам-то как? Ого, у тебя кровь из уха… Доктор опять затрепал языком, видно, ему необходимо было говорить, чтобы отвлечь себя от страшной работы.

Опять заморосило. Клюкова бережно перетащили в БТР, накрыли одеялами. Док с трудом нашёл у бойца вену, воткнул иглу, подвесил под броневой потолок какой-то пакет.

Снаружи забарабанили:

– Палыч!

– Чё…?

– Не «чё», а «я»… вылезай.

У БТРа стоял Омич.

– Как боец?

– Жив пока…

– Я с Ханкалой связался. Двигаться нам нельзя, и вертушка придёт только утром. Темно уже и погоды нет… – комбат выругался. – Расставь бэтээры по периметру охранения и иди к бойцу. Продержи мне его до рассвета, слышишь, Палыч? Тебя солдаты слушаются, вот и прикажи ему, чтобы не умирал…

– До рассвета… Ногу не пришьют, поздно будет.

– Какую ногу? – не понял Шувалов. Палыч рассказал ему про ногу.

– Ничё… Снег чаще меняйте. Бывают исключения, – обнадёжил комбат и, развернувшись, ушёл в темноту.

23:05, 04 марта 2001. Палыч полез в десант. Клюков очухался, застонал, разлепил глаза.

– Товарищ капитан… Товарищи капитаны… где я?

– В БТРе ты, Клюков. Спи давай, чего проснулся?

– Я подорвался, да?

– С чего ты взял…

Клюков с трудом сглотнул, хотел кашлянуть, но не смог.

– Я знаю, подорвался… Сильно?

– Зацепило маленько… Меня самого тряхнуло, голова гудит. Жить будешь. Не истери мне тут!

– Не, я нормально… Я только вот одного не пойму, товарищ капитан…

Клюков зажмурился, из глаз ручьями потекли слёзы – промедол отпускает, догадался Палыч.

– Почему я, товарищ капитан? Ну почему я? Столько народу, командировка, считай, к концу подходит и все целы, почему я-то? – Губы водителя задрожали, в глазах вспыхнуло отчаянье… Всё, сейчас сорвётся, понял Палыч. Ему жалко, невообразимо жалко было Клюкова, но он понимал – пожалей сейчас бойца – и тот зарыдает, забьётся, замечется, выдерет сломанными руками капельницу, разорвёт бинты. Надпочечники выплеснут в кровеносное русло адреналин, повысится давление, сердце закачает – погонит и без того скудные остатки крови из сочащихся ран. Жалость поставит их на один уровень, а Клюкову сейчас нужен командир. Он должен чувствовать рядом силу, бояться и слушаться её, не позволять себе расслабиться. Палыч поймал мутный взгляд Клюкова, спокойно и зло сказал:

– Ты охренел, мартышка? Ты что, хотел, чтобы Тимоха подорвался или я? Тебе легче было бы, воин?

– Да нет, я не о том…

– Вот и помалкивай лежи, силы береги. И вообще ты у нас везунчик, лежишь тут живой, болтаешь всякую хренотень. Починят – плясать будешь. Нам еще два месяца корячиться, а ты сейчас домой улетишь, к подруге, она тебе, герою, плюшки будет в госпиталь таскать...

– Подруга… – Клюков вылупил глаза. – Товарищ капитан, а у меня… ТАМ… цело все?

– Ясен пень, – соврал Палыч, поняв, что с подругой допустил осечку, – ты вон на доктора так возбудился, что ему пришлось твоё полено к ноге примотать. Ты, может, у нас нетрадиционный, а, солдат?

Клюков попытался улыбнуться, его перекосило.

–Тебе больно, воин? – встрял доктор. Палыч зыркнул на него, сильно пихнул локтем в бок. Не хватало еще, чтоб солдат сконцентрировался на своих ощущениях.

– Больно…

– Док, на хрена ты спросил? – зашипел Палыч. – Коли теперь промедол.

– Нельзя, и так уже шесть тюбиков.

– Ну а на хрена спросил тогда? Клюков, ты терпи, понял? Сейчас вертолёт придёт – и всё, конец. Госпиталь, белые простыни, медсёстры…Терпи, родной... Терпи, с-сука !

Боец заметался, пошёл испариной. Впал в забытьё, заскулил. Вкололи еще промедол. На возражения доктора Палыч резонно заметил, что допустимые дозы рассчитаны с большой перестраховкой, а если боец помрёт от боли, то доктор ляжет рядом с ним.

05:30, 05 марта 2001.

Клюков то терял сознание, то просыпался, бредил и стонал. Палыч то материл его последними словами, то успокаивал, смачивал распухшие горячие губы водой и чаем, выдавливал их по капле из ватного тампона солдату в рот. Он рассказывал ему байки и анекдоты, заставлял слушать, смеяться и смотреть в глаза. То называл Клюкова братом, то уродом маминым, плаксивой тёлкой, макакой и позором ВДВ… Заставлял рассказывать про свою деревню, читать стихи, исполнять Гимн России… Палыч тянул его на тросах нервов, на канатах сухожилий, усилием воли выдирая и сплетая их из собственной плоти, физически ощущая, как звенят они от натуги, дрожат, перетянутыми струнами, удерживая ускользающее сознание солдата, как потрескивают, рвутся, кучерявятся кольцами их отдельные пряди.

Тросы жгли руки, резали ладони, капитан наматывал их на локти и тянул, так сжимая челюсти от напруги, что скулы, казалось, вот-вот прорежут кожу, раскрошатся зубы, лопнут мелкие сосуды и вены на руках.

Клюков жил, держался, цеплялся за капитана. Он боялся умереть, зная, что нарушит его, командира, волю, и Палыч будет недоволен им, может, даже назовет солдатом-обезьяной. В его обескровленном, изломанном теле теплился уголёк духа и твёрдая вера в командирское слово. Если Палыч сказал, что Клюков выживет, значит, так оно и будет. Не может не быть.

Дважды заглядывал Омич. Приходил Странник, рассказал про фугас. Безоболочечный, замыкатель прикопан и засыпан гильзами сантиметров на семь. Когда загоняли «Урал» земля

была подмёрзшая – он и не сработал, а за день подтаяло… Да Клюков еще, как назло, буксанул, колесами сверху поелозил. Источник питания – японский аккумулятор большой ёмкости, вынесен далеко в сторону, закопан на метр и утеплён. У фугаса была и вторая часть, гораздо более мощная, и рвануть она должна была прямо под кузовом гружёного боеприпасами «Урала». Части устройства соединял детонирующий шнур, но он почему-то не сработал.

06:30, 05 марта 2001. Забрезжил рассвет. Клюков уже ничего не соображал. Он осунулся, посинел, ничего не говорил и не слышал, только чуть шевелил побелевшими губами. Палыч уже просто сжимал его единственную целую руку, пытаясь через кожу перекачать из себя жизнь в тряпичное тело солдата. Усилием воли подгонял неторопливые секунды.

Пришёл вертолёт, грузно коснулся колёсами поляны. Поднял ледяную пыль, змеями погнал по земле оранжевый дым пирофакелов, обозначавших место посадки. Два «крокодила»[1] сопровождения кружили в воздухе. Клюкова погрузили, за него тут же взялись ханкалинские врачи – воткнули плазму, надели маску, еще что-то…

Палыч шёл от вертолёта к БТРу. Поднял глаза, увидел, что навстречу ему, скользя по грязи, бежит Тимоха, прижимая к груди пакет.

– Товарищ капитан, нога, ногу забыли!

Ё-маё… Палыч вырвал у солдата пакет, бросился к вертолету. «Восьмёрка»[2] уже закрыла боковую дверь, готовясь к взлёту.

– Стойте, стойте, черти! – Кричал капитан. – Ногу заберите!

Дважды его сбивало воздушным потоком, Палыч падал и снова бежал. Наконец, вертолет оторвался и, заложив с места крутой вираж, полез в светлеющее небо.

07:05, 05 марта 2001.

Палыч сидел, прислонившись к колесу БТРа, злые слёзы текли по лицу. Дикое напряжение крайних суток отпускало, выходило нервной электрической дрожью. Капитан вдруг обозлился на себя, встал, размазал копоть рукавом. Подошел доктор, принёс в железной кружке граммов сто спирта. Палыч, молча, проглотил, запивать не стал.

– Доктор, а ногу-то не забрали. Не успел я отдать. Теперь всё, не сохраним? Может, с колонной центроподвоза отправить?

– Не, Палыч, теперь всё. И так-то шансов мало было.

– Эх, баран я, надо было её сразу у Тимохи забрать!

---

[1] «Крокодил» – боевой вертолёт МИ-24.

[2] Восьмёрка» – транспортно-боевой вертолёт МИ-8.

– Разверни, давай хоть посмотрим, – предложил Док.

Разрезали верхний пакет, вытряхнули снег. Внутренний пакет оказался неестественно маленьким и мягким. Развернули, высыпали… Кусок ступни с пальцами, пятка, куча разрозненных лоскутов плоти и отломков кости, самый большой величиной с ладонь.

– Тимоха! Что это за херня, воин!

– Нога, товарищ капитан… – Испуганный Тимоха таращил из люка заспанные глаза, – я в «Урале» окошки позавешивал и всю ночь собирал с фонариком. Всё собрал, до последней крошки… Не пришьют?

Палыч, молча, на автомате сгрёб ногу обратно в пакет, бережно положил в БТР.

– Нормально всё. Заводи давай и вставай в замыкание. Мабута[1] уже до нас блокпосты выставила, двинемся сейчас.

07:45, 05 марта 2001.

– Палыч – Омичу.

– Связь.

– Готов?

– Да.

– «Три пятёрки».

– Понял.

Колонна пошла…

ЭПИЛОГ

Клюков выжил. Из Ханкалы его перевели в Ростов, потом в Москву, в госпиталь Бурденко. Солдату пришлось, помимо оторванной правой ноги, ампутировать левую ниже колена и правую же руку выше локтя. Заштопали лёгкое, удалили селезёнку и еще Бог знает сколько всего. Клюков на удивление стойко переносил тяжелейшие операции, держался и даже пытался шутить. Когда же его, наконец, перевели в палату и разрешили посещение родными, боец сломался под их сочувственными взглядами и похоронным нытьём. Он причитал и капризничал, как маленький, размазывал по лицу сопли и слёзы, ревел сутки напролёт. Бился в истерике, швырялся посудой и ничего не ел. После дикой дозы успокоительного впадал в жар, липкий бред, всё стонал, грозил какому-то Палычу, обещал найти его и убить за то, что не дал ему, Клюкову, умереть, заставил жить

[1] «Мабута» – общее название, придуманное десантниками для подразделений, не относящихся к ВДВ. Интонация при использовании – от снисходительно-ироничной до презрительной

обрубленным кастратом с привязанной до конца дней к культе бутылочкой…

Как-то, месяца через полтора, уставшая, перепуганная мать бочком протиснулась в палату. Клюков лежал и, безучастно уставившись в потолок, изучал трещины в побелке.

– Опять ничего не ел… Осунулся-то как, сынок, кожа да кости, прям светишься весь. Тебя лекарствами пичкают, кушать надо…

За окном шумела буйная молодая листва, верещали птахи. Четвёртый этаж. Сегодня ночью он сделает это, лишь бы окно не закрыли. Любой ценой, на руке и зубах, перелезет через дужку кровати на подоконник, совершит свой последний в жизни прыжок. Не крайний, как говорят в ВДВ, а именно последний.

– Письмо тебе, сынок… Из части, что ли. Москва-400, капитану Путилову. Прочитать тебе? Клюков заморгал, оторвал глаза от гипнотической трещины в потолке.

– Дай сюда… Сам я.

С трудом разорвал конверт, вытащил исписанный с одной стороны листок.

Солдат читал письмо и менялся на глазах. Обрисовались скулы, появился блеск в глазах. Он живо пробегал глазами строчки, уже не в первый раз перечитывая написанное. Наконец опустил листок на грудь, вытянулся, подобрался. Казалось, он сейчас стоит в строю – только почему-то лёжа. В глазах – деловая озабоченность, на впалых щеках – впервые румянец. Вошла старая докторша, осеклась на полуслове, оторопело уставилась на пациента.

Клюков расправил на груди тельняшку, перевёл на мать повеселевший взгляд.

– Мам, принеси воды тёплой, бритву, щётку зубную. Я тебе сейчас адресок черкану, сходишь в Союз ветеранов. Скажешь, капитана Путилова солдат, пусть помогут, чем смогут. И книжек принеси – в институт восстанавливаться надо. Скоро командир приедет…

Будем жить!

P.S.

Как мать не просила, письма ей Клюков так и не показал. Сын часто его перечитывал и хранил как величайшую драгоценность. Она ревновала и не могла понять – какие такие неведомые слова смог найти командир, и почему их не подсказало ей материнское сердце. Матери однажды удалось случайно разглядеть только первую строчку. Письмо начиналось словами:

«Клюков, обезьяна…»

Гарри Лебедев

НЕ ЗАСТИТЕ ДРУГ ДРУГУ СВЕТА

* * *

...что ж забываем мы про это?
У предков наших был закон:
«Не застите друг другу света
с любой из четырёх сторон!».

На Ильмень-озере преславном,
по берегам с любой руки,
закон тот почитался главным
и с красной писан был строки...

* * *

...разлюли-люли, малина,
кот наплакал, ёрш сказал...
Нету счастья половины –
я же, дурень, это знал.

Я же знал, и строил плаху,
и, смеясь, мостил костёр,
так картинно рвал рубаху,
ногтем пробовал топор.

Всё-то думал: шутки ради
филин кликал мне беду.
Развернусь, как на параде,
от тебя легко уйду...

Ветром сорвана рубаха,
сыплет искрами костёр,
холодит смертельно плаха –
опускается топор!..

* * *

...я кольцо обручальное двинул
перекупщице Верке рябой.
Застолбив с уркачами малину,
пили вермут ночною порой.

На продавленном сидя диване,
словно каясь попам за грехи,
сам поддатый, читал этой пьяни
мной сожжённые раньше стихи.

И под лампою без абажура
в конопляном тяжёлом дыму
я вещал им, что нету ажура
в сумасшедшем российском дому.

О папаше, вином обуянном,
и о маме, что бита стократ.
Как стихают любви ураганы,
что она не приходит назад.

И, повиснув на мне – на артисте,
смутно вспомнив про жалость и стыд,
отработав своё в "Интуристе",
две шалавы рыдали навзрыд.

Под глазами чернели подтёки –
тушь смывалася пьяной слезой.
Сквозь румяна светились их щёки
диспансерною белизной.

Костя – бес Богатяновки нашей,
восемь ходок ему нипочём! –
на столешнице перед Наташей
“Я люблю!” резанул финарём.

Синью глаз распахнулись две щёлки –
осветилось у Верки лицо.
И, взглянув на подруг из-под чёлки,
мне на палец надела кольцо...

* * *

…я видел – такого давно я не видел,
как серые цапли застыли на отмели,
а кряквы сторожкие, в зарослях сидя,
от крика парящего сокола обмерли.

Я слышал – такого давно я не слышал,
как рыба в затоне вскинулась гулко
и эхо катилось по шиферным крышам
и замирало в станичных проулках…

И новость! Важнее, поверьте, не знаю,
хочу, чтоб об этом услышали сразу:
за новым мостом – он идёт от Аксая,
чуть-чуть не доедешь до крайней турбазы,

на первом пруду (он левады левее)
я лебедя видел на водной рогоже!..
Наверное, стали мы с вами добрее.
И, может, умнее становимся всё же?

ПРОЩАНИЕ С МОЛОГОЙ

Сергею Королёву

1.

...не суди меня ты строго:
не судьба, не повезло.
Разделила нас Молога,
и не выгребло весло.

По ромашковому лугу
ближе к вечеру не нам
всё бродить вдвоём по кругу
на потеху кликунам.

Нам вослед трубили длинно:
“Чем постыло вам село?”
Это птицам всё едино,
было б сыто да тепло.

От рассвета до заката
от одной к другой воде
им весной торить обратно
путь по северной звезде.

Не любовь им заманихой!
Жизнь скроила птиц хитро –
им над каждой речкой тихой
обронить легко перо.

Было всяко, было много.
Но куда б ни завело,
всё на памяти Молога,
Толстокосово село...

2.

...ой, вы, гуси! Гуси-лебеди!
Ваш призыв – из края в край!
Вся земля в зелёном лепете –
это цветородный май.

Небо – гусли, струны – лучики,
ветер – озорной игрун.
Плясовую грянь, да лучше-ка
перебором красных струн!

Чтоб река, от лилий белая,
всколыхнулася волной.
Было б всё, что в жизни сделаю,
вровень с яростной весной!

И поклон-благодарение
за науку и показ
людям – тоже по-весеннему
сердце б радовал и глаз.

А земля – в захлёбе ветреном,
в шуме клёнов и берёз
миром добрым и приветливым
всем мила была б до слёз...

3.

...от зари до зореньки –
как единый вздох.
Гляну на узор реки –
на сердце сполох.

За излучиной излучина,
петлястая река.
Вёсла на уключинах –
скрип издалека.

За корягою коряжина,
дно –морёный дуб.
Петушком украшенный
на юру сруб:
брёвнышко на брёвнышко.
Крыша – тонкий тёс:
жёлтая под солнышком
череда полос...

Топаю по тропке я
в рослой лебеде:
“Лада неторопкая,
где ж ты, где?”

Кнопочка да кнопочка –
певучая гармонь.
А в гармони стопочкой
звуки – только тронь!

Я тебе, стыдобушка,
напою о том:
“Лебедь – за лебёдушкой,
за сомихой – сом!”

4.

...тесовые крылечки,
наличники резные...
Теперь далече
парни разбитные,
мастера старательные,
умельцы плотники...

Спросил бы обязательно
у тех работников:
«Ой, вы, парни русые,
парни-хваты,
мастера искусные
украшать палаты,
резать по наличникам

негорластых
петушков чистеньких
выводком частым, –
чтоб в домах приветных,
разукрашенных
души были светлыми
дедов наших?»

Топорики острые,
стамесочки точёные...
Ночами звёздными
гуляют влюблённые,
гуляют, не тревожатся,
что счастье тонко.

А петушкам не можется
крикнуть звонко...

5.

...место где такое ты сыщешь?
Это здесь, ну немножко южней,
на Торжок проезжал Радищев.
А ещё – это край лебедей...
А лебедей, Серёга, много
на реке Мологе!..

У щербатого дядьки Пахома
можно лодку достать за трояк.
На весь день умотать из дома –
и гуляй, непутёвый примак!

Это ж чудо! Один-разъединый –
сам на сам! Нет обид и ругни...
Пахнут вёсла столетнею тиной,
а тонки как – хоть в дуги согни!

На корме в мешочке холщовом
пара луковиц, соль, каравай,
самогонка, махорка... Ну, словом,
дом, прощай, моя лада, прощай!

Сторона ржаная, льняная
уплывает за острой кормой.
Зазвенели, с вёсел стекая,
капли, споря с речной тишиной.

Полыхнули озёрец оконца,
из села потянуло дымком...
Над скирдами лохматыми солнце
прилепилось красным блином.

6.

...как слова твои горчат,
ягода-морошка...
Пляшем целый час подряд
под гармошку.

Расплескала перебор
под ноги гармоника.
И с каких же это пор
сердце ноет тоненько?

Не о том ли весной
плакали капели?
Ах, твой взгляд голубой –
с отсветом метели!

Нелюб так нелюб,
напоследок спляшем!
Пусть расскажет старый клуб
и нашим, и вашим,
как любовь дробили мы –
ты зло, я отчаянно,
словно нам она взаймы
досталась случайно.

Словно не было того,
о чём и не скажешь.
Отчего же, для чего
ты со мною пляшешь?

Чтобы горше и больней
мне была разлука?
Веселей так веселей!
Ну-ка!

7.

...белоголовые ромашки
волной взбегают на бугор.
Стою я, комкая фуражку, –
не отвести от дола взор.

Там, за рекою, в пересвистах
и мельтешении пичуг,
в сиянье солнечном пречистом
плывёт избы столетний струг.

Изба, изба! В потёках брёвна,
в щелях дождём белёный мох...
Как лихо я зимой на дровнях
к ней подкатить под вечер мог!

Так основательно стояла
изба на розовых снегах –
душа совсем не замечала
разлада в девичьих словах...

Стою, шепчу как заклинанье:
«Печаль вовек тебя не тронь...»
И машет, машет на прощанье
мне ставни белая ладонь.

г. Ростов-на-Дону

Николай Железняк

ГОСТЬЯ

Рассказ

Раздался звонок в дверь. Ожидаемый, но она вздрогнула.

Она сидела на диване в напряженной позе, немного наклоняясь вперед, с прямой спиной, опираясь локтями на сжатые колени, и смотрела прямо перед собой. Надо идти открывать.

Вальяжного кота, выставившего балетную заднюю ногу вверх для облизывания, спугнула шустрая йоркширская терьерша. Сделав круг в холле, животные скрылись по направлению к передней.

Неся перед собой пышный букет калл, Татьяна вошла в зал и рассматривала интерьер, поводя глазами.

– Ой, твоя живность всех встречает?!.. Какие милые, кот такой пушистый… Трётся сразу… – Татьяна продолжала смотреть поверх цветов.

– Он тебя выделил. Обычно он к посторонним не подходит даже. – Ирина стояла позади своей гостьи.

– И собачка симпатичная… Девочка?

– Ее зовут Люся.

– Прекрасное имя. Рычит, прямо, защитница…

– Это она при мне.

– Как они тебя любят, – Татьяна обернулась и впервые посмотрела Ирине в глаза.

Взглянув в окно, Ирина с лёгкой усмешкой произнесла:

– Гулять сразу убежали…

– Ирочка, привет, дорогая!..

Татьяна отвела букет в сторону, и женщины поцеловались. Чмокнули воздух, прикоснувшись друг к другу щеками.

– Давай цветы. Зачем ты их принесла?

– Неудобно как-то в гости идти без ничего…

– К чему… Таня?.. – Ирина приняла букет, положив его на предплечье, как конверт с грудным ребенком. – Присаживайся, я отнесу.

– Не здесь поставишь?

– В кабинете. Не выношу запаха. Ему нравится.

– Я в спальне люблю. – Татьяна посмотрела за окно. – Мило у вас. В лесу, прямо, живете.

Ирина унесла цветы. Возвращаясь, в холле она задержалась, постояла перед зеркалом, так ничего и не поправив.

– Ну, как у вас? Как живёте? – встретила её Татьяна.

– Как кошка с собакой. – Ирина склонила голову на бок, словно уходя от вопроса. – Как кот… с собакой. Да нет, мирно сосуществуем. А у тебя как?

– Я про твоих четвероногих, – Татьяна коротко улыбнулась.

– И я. Вооруженный нейтралитет у них. Вообще, кот её контролирует, он постарше… – Ирина ответила на улыбку.

– Мужчина… – Татьяна приподняла указательный палец, утверждая характеристику. – Я хомячка когда-то держала, помер, ревела как дура. Похоронила, прямо…

– С ними веселей. Работа у Паши тяжёлая, ездит много. Устаёт… Ты одна? – спросила Ирина.

– Лучше одной, чем плохо жить! – воскликнула Татьяна. – Знаешь, как часто бывает, живут вместе, а счастья совсем нет…

– Это если детей нет.

– У тебя много? – полуутвердительно задала вопрос Татьяна.

– Сын. В кино поздно с друзьями собрался… Потом к бабушке.

– Молодой человек уже… – быстро согласилась Татьяна. – Хорошо, что я тебя дома застала!.. Может, второй раз не решилась бы позвонить.

– Я тоже к маме собиралась. Давление у неё. Попросила прийти. Мнительность, конечно, но, всё же, возраст. – Ирина сделала приглашающий жест, указывая на кресло, и подошла к дивану. – Да и одной оставаться не хотелось.

Татьяна присела. Кресло было очень мягким, но Татьяна не провалилась в него. Собранная, она медленно опустилась в раздавшуюся плоть бархатного сиденья.

– Боишься?.. – Татьяна положила руки на широкие подлокотники.

Ирина присела на край дивана и скрестила руки на коленях.

– Нет, у нас тут спокойно.

– До вас легко добираться, недалеко от города, а воздух какой!.. Красиво. Завидую тебе, после наших каменных мешков… Мне у вас очень нравится. – Татьяна, медленно пово-

рачивая головой, ещё раз осмотрела зал, будто, впервые его увидела.

– Мы последний год только живём, сбежали из квартиры, от машин этих.

– Ну, теперь приходится ездить-то в город…

– Паша ездит, я почти не выезжаю, всё есть неподалеку.

– Мне Варвара телефон твой дала, – после паузы сказала Татьяна.

– Интересно… – почти бесстрастно удивилась Ирина. – Откуда он у неё?..

– Мы с ней поддерживаем отношения… – слегка развела руками Татьяна. – Ну, она всегда всё обо всех знала… Ты ж её знаешь… Ремонт у вас…

– Это состояние… Заезжали, дом ещё не был готов, скорее хотелось, столько ждали, долго строили… так и тянется.

– Надо же, сколько лет с тобой рядом живём, ну, все же в одном городе, и ни разу не встречались!.. Где твой?!..

– Уехал. Завтра должен вернуться. Хотя еще ничего не решено, но уже вероятно. – Ирина поддержала некоторое оживление в речи гостьи. – Командировка.

– Думала, познакомишь, пообщаемся… – Татьяна надула губы. Губы были тонкими и от этого только кривились. – Представишь мужу старинную подругу. Сколько это лет мы не виделись? Или десятилетий лучше сказать?

– Ну, увидитесь еще… – выбрала из тирады предложение для ответа Ирина.

– Наверное, не вспомнит меня… – посетовала Татьяна, поправив длинный локон, заведя за ухо.

– Разве можно тебя забыть.

– Слушай!.. – Татьяна всплеснула руками, не отрывая локтей от подлокотников. – Пойдём вечером… Пойдём! Ночной клуб интересный, вечер встреч: «Кому за…» Ну, в общем, для нас… Парень знакомый сегодня познакомил с другом. Симпатичный, вроде. Отдаю!..

– Если познакомил, зачем идти?

– Да нет, представил только, показал… – Татьяна произвела кистями рук вращательные движения. – Пойдём, развеешься, – разведёшься… Шучу. Сидишь одна!.. Ну?! Потанцуем… Как мы на дискотеки бегали… – Она рассмеялась.

– Как выглядит? – спросила Ирина и бросила на неё беглый взгляд.

– Мой?

– Друг.

– Импозантный такой. Лысоват, правда, кажется… В машине сидел, не рассмотрела. Но это ничего, мужик, значит. Гормонов много. Тестостерона. Мне такие нравятся! – Татьяна закончила, отрубив движением ладони фразу.

Ирина снова мельком взглянула на Татьяну.

– А как же твой знакомый?

– У нас с ним так… – Татьяна расправила волосы, приподняв их на затылке. – Могу и его подарить! Ой, неужели ты внимание не любишь?! Перестань!

– У тебя раньше были другие вкусы, – сказала Ирина.

– В смысле?

– Насчет лысых.

– Тогда-то, конечно! – Татьяна закинула голову на спинку кресла. – Я развиваюсь! И потом – это когда было?.. Настоящий мужчина должен лишь слегка отличаться от обезьяны! В нашем возрасте и в наше время и женщины, бывает, лысеют. Категоричность суждений нам не к лицу.

– Ты права.

Сделав неопределенный жест пальцами, Ирина вышла из зала. Татьяна подобралась. Возвратилась Ирина с бутылкой коньяка и двумя бокалами; поставила их на подоконник.

– Извини, не всю мебель купили. Столика нет.

Татьяна тоже подошла к окну.

– Французский… – Татьяна отклонила бутылку и издалека рассматривала этикетку.

– Выпьем?

– За встречу?

– Я о тебе недавно думала… – Ирина не забывала следить за наполнением бокалов.

– Вспоминала?.. Как у тебя с ним?..

– Живём, – ответила Ирина. Она подлила в бокал, предназначавшийся Татьяне, коричневой жидкости, чтобы выровнять объём со своим. – Если бы ты знала, как я счастлива.

Татьяна приняла свой бокал на ладонь, пропустив ножку между пальцев.

– Ну да. Везучая.

Ирина тоже подняла бокал, посмотрела на свет цвет напитка.

– Мне перед тобой так совестно, по правде сказать.

– Перестань. Я тебе не завидую… Если и завидовала когда, то белой завистью, поверь. Ты не куришь? – Татьяна постави-

ла бокал на импровизированный стол, порылась в сумочке, доставая сигареты, прикурила. – У-у-у, нехорошая, за Пашу моего вышла?!.. – погрозила она сигаретой и поискала, куда сбивать пепел.

Ирина подвинула ей блюдце, стоявшее в углу подоконника, отошла с бокалом в руке и остановилась лицом к стене. Помолчав, произнесла, не оборачиваясь:

– Знаешь, я поначалу думала, ты ничего не знаешь.

– Знаю. – Татьяна провела средним пальцем по острой каёмке бокала, но не взяла его. – Знаю, и что развелась ты с первым твоим, бывшим, как его?.. Из параллельной группы?.. Максим?.. Потом с Пашей, знаю вы… Ну и как тебе с ним? С Пашей Ракитиным.

– Мы с ним походили тогда, после того вечера, месяца два, потом он диплом защитил, он же на два года старше нас, уехал по распределению на север. Я замуж вышла, за Максима… Сын у меня родился в браке уже. – Ирина пригубила и повернулась. – Паша не знал… Он там женился. Потом вернулся. Через десять лет… Вот так…

Татьяна оперлась позади руками, слегка подпрыгнула и села на подоконник.

– Да, зигзаг… Искал тебя… Прямо, встреча через столько лет.

– Дочь еще у нас родилась с Пашей. Тяжело она мне досталась. Выносила… Слабенькая.

– На сохранении лежала?..

– Годика ей не было, умерла. Потом всё не получалось. – Ирина сделала еще глоток. – Жаль, что мы столько времени не виделись, правда?..

– Жаль… Но жизнь по-другому бы не сложилась… – Татьяна поводила пальцем по верхнему краешку бокала, совершая круги, соскользнула на пол, медленно прошлась по залу.

– А-а… Я думала, тебе… не знаю… Почему? Всё могло совсем не так… Я… Если бы ты тогда села на тот подоконник, жизнь могла бы сложиться по-другому… – Ирина резко обернулась к подошедшей сзади Татьяне.

– Ты же не виновата, что он к тебе подошёл. Я тебя не виню. Сама же попросила.

– Ты бы здесь жила…

– Да, у вас красиво. Перестань. Быльём поросло всё… – Татьяна отмахнулась.

– Ты вспоминаешь?.. – спросила негромко Ирина.

– Нет. Красивый он парень был?!.. Дура я. – Татьяна громко, на одной ноте, рассмеялась. – Я его как первый раз увидела на танцах, он мне сразу понравился, влюбилась, прямо… Ракитин! Звучит, да?

– Красивая фамилия…

– Всегда свою хотела поменять. Выйду замуж!..

– Выйти за муж… – раздельно протянула Ирина.

– Была б парнем, сама пригласила танцевать… Почему тогда это считалось не удобным? Девушка не может… Молодые?.. Белый танец… Всегда я этих очков стеснялась. – Татьяна хотела потереть ладонью лицо, содрав с него что-то невидимое. – Смешно, наверное, мы выглядели?! По залу бегаем с тобой!..

– Вряд ли. Кто что-нибудь понимал?.. – Ирина замерла, смотря вдаль, вспоминая.

– Он-то разобрался.

– А я сижу на посту, на подоконнике том… – Ирина прыжком взобралась на подоконник.– По твоей просьбе! Выглядываю на него, слежу… Танцует с кем. Они в круге с парнями…

– Да, близорукость моя…

– Наблюдаю, как впередсмотрящая. – Ирина улыбнулась. – Сообщаю тебе, что он делает, куда смотрит. Смотрит на нас или нет, заметил наше присутствие… По-моему, он нас сразу просёк. Сколько раз мы до того пробегали мимо них, типа, в туалет, причесаться?

– А он пришёл и тебя пригласил.

Татьяна дунула вверх на чёлку и, наклонив голову, пригласила Ирину на танец. Ирина спрыгнула с подоконника. Они сделали круг. Татьяна вела, потом внезапно остановилась. Подруги посмотрели друг другу в глаза.

– Ты танцевала с ним, – Татьяна держала Ирину за плечи, – он тебе что-то говорил на ухо, а я стояла у стены и плакала, слезы бегут, тушь течёт… Кофточку новую надела, с рюшиками…

– Я ведь на него так таращилась, вот он и подошёл ко мне… Пригласил… – Ирина закусила нижнюю губу. – Мы с ним потом всю ночь гуляли… Ты их так и любишь, рюшики… – Она расправила оборку на рукаве кофточки партнёрши.

– Романтик я, – Татьяна подняла голову и шмыгнула носом.

– Кофточку, между прочим, ты у меня брала.

– Гадкая ты, увела парня у лучшей подруги. Дура я, конечно, что тебя попросила. Тебе ведь он тоже нравился…

Ирина отстранилась и отошла.

– Ну, тогда не так уж…

– Разлучница! – Татьяна усмехнулась. – За тобой всегда парни бегали. И этот, как его, был у тебя… Как его?

– Не помню. Да ну их. – Ирина смотрела в окно.

– Вокруг тебя вились, табуном… Ну, тряхнём стариной сегодня?! Ой, страшно, да?! Стариной, – ужас! – Татьяна встряхнула волосами. – Старые перечницы! Песок скоро сыпаться будет… Или из перечниц – перец?!.. Чего стоять, чахнуть у окошка, вспомним молодость! Сына к матери отправила: свобода, пусть временная… Нового мужа пойдем тебе искать! Что ты замуж выходила за него? Чтоб ждать из командировок, пока он шастает? Думаешь, он баб там не встречает?..

– Я об этом не думаю… Себе поищи.

– Ищу. Держу стойку. Что делать, приходится, расслабляться нельзя!

– Ты изменилась, смелая стала, разбитная, – обернулась Ирина.

– Я и была!.. Поживёшь одна, станешь.

– Дома лучше посидим, поговорим…

– Всегда успеем…

– Так ты замужем и не была? – тихо спросила Ирина.

– Наверное, жизнь пошла бы по-другому… Но я довольна. Небось, постарел, обрюзг, лысый… – Татьяна подошла и запрыгнула на подоконник.

– На нас посмотри. – Ирина в упор смотрела на Татьяну.

– Мы тоже не помолодели… Ой, я на ревитализацию ходила, процедура, лазер, потом токи какие-то, водят, прямо, каким-то аппаратом так, отпад. Коллаген восстанавливается, тургор кожи. Пробовала?

– Нет.

– Хочешь сказать, тебе не надо? Ты ж у нас да… красавица… Пластику делала?.. Нет, хорошо выглядишь, конечно, усталая только… Волнуешься?

– Всегда переживаю, когда его нет.

– У окошка?.. Он тебе изменяет? – Татьяна повернулась, посмотреть, куда смотрит подруга.

– Молодая была, об этом думала. Сейчас – нет… Зачем?

– Наверное, ты права, – не сразу согласилась Татьяна. Она, сощурясь, оглядела Ирину. – Пойду я.

– Куда ты заторопилась?

– Опоздаю. Вечер со мной ты провести не хочешь…

– Ты шутишь. В гости пришла, нет, я тебя не отпускаю. – Ирина взяла блюдце с окурком.

–Пропал наш поход. Наверное, муж твой пришёл… Еще кто-то с ним. Симпатичный, вроде. – И Татьяна постучала ногтем по стеклу.

Ирина обернулась.

– Очки так до сих пор не носишь, чего операцию не сделала?

– Боюсь. Откуда он взялся… Муж этот твой.

– По-моему, он тебе нравился раньше.

Татьяна откинула голову и заулыбалась.

– Да! Вот отобью, будешь знать!

– Вот и познакомишься, посмотрим, узнает… В баню зашли, – сама себе сказала Ирина.

– Увидеть хочется, конечно. Чего ты нервничаешь?

Ирина поставила блюдце обратно на подоконник.

– Подожди, пожалуйста, я сейчас сбегаю.

– Что ты так волнуешься? – Татьяна вновь прищурилась.

– Нельзя ему.

– Что-то серьёзное?

– Я сейчас.

– Пойду я… Ты проводи меня, у вас есть другой выход?

– Не уходи, раз пришла. Подожди. Договорились?

Ирина вышла торопливой походкой.

–Договорились… Предупреждай,–– когда подруга скрылась, добавила Татьяна.

Она поправила волосы, подвела губы. Но вошёл Валера и почесал ногтем остатки тонких волос между глубокими стремительными залысинами.

–Ты как здесь оказалась? Пашу ждёшь? Где подруга твоя, а?!.. Мы идём гулять сегодня?! Куда ты звала?

– Здесь погуляем.

– Вот и я Паше говорю, он с этой баней носится: «протопим»… Иди ко мне… – Валера взял Татьяну за локоть.

– Если Паша зайдёт?

Валера поцеловал Татьяну в шею: она отвернулась, следя за входным проёмом.

– Вы же расстались! Ну, ходи сюда, прекрасная женщина…

– Перестань!

Грузный Паша ступал тяжело, половица скрипнула. Он вошёл, поправил галстук, затем рывком ослабил узел.

– Мы тебя ждём, – призывно зазвал Валера друга, ступая ему навстречу. – Выпьем? – Он обратился к коньяку, легко меняя направление движения на длинных ногах. – Наливаю. – Он

посмотрел на занятые бокалы. – Придётся из горла. За дам! Или за не дам?!..

– За не знаю, – добавила Татьяна.

– Где подруга, с которой меня обещали познакомить, я спрашиваю? – громкий Валера продолжал вещать.

– Еще не вечер, потерпи, – успокоила Татьяна.

– Зачем ты пришла? – прохрипел Паша, но на неё не посмотрел.

– Ну! Мы же вечером должны были встретиться…– поддержал Валера.

– Я, по-моему, ясно сказал, что я никуда не пойду, – Паша продолжал общаться с Татьяной.

–Мы с Ириной встретились, собрались развлечься… Валера обещал с другом познакомить…

– Я же не знал!.. – Валера смутился. – Сама предложила.

– Пообщаемся… – негромко сказала Татьяна.

– Паша!.. – донёсся голос Ирины из глубины дома.

– Ирина, – растерялся Валера, – в смысле, она дома… Бокалы нужны. Схожу.

Валера собрался уйти, но Паша стоял у него на пути. Он так и остался стоять у притолоки, не войдя в зал.

– Я принесу, – остановил он друга.

И вышел.

– Это, кстати, подруга… – промолвила Татьяна и кивнула указующе головой.

– Змея…

На востоке – это мудрое животное, – парировала Татьяна.

– Сжимающее в объятиях. Пришла отомстить? Не делай этого, не вздумай! – Валера повысил голос, но так чтобы его не услышали.

– Я ещё ничего не делала.

– На что ты надеялась? Он не уйдёт от Ирины. Не показывай ей, что вы с ним… не разбивай семью.

– Прямо, семья… Что это ты вдруг так заколотился? Только что забыл о нём… – Она отвела руку Валеры. – Не собираюсь, успокойся!

– Хотела ведь.

– Он чем-то болен? – быстро спросила Татьяна.

– Здоров он. С чего ты взяла? Не знаю… А что с ним? – удивился Валера.

– Займи мне денег.

– Сколько?.. У меня правило. Даю в долг не больше сотни, – Валера осклабился.

– Мне нужно больше, – не сразу внятно проговорила Татьяна.

– Намного?

– Намного.

– Извини, любое предписание техники безопасности написано кровью… – Валера выпятил губы вперёд, показывая верность принципам.

Помолчали. Шаги Паши были слышны до того, как он появился.

– Что сказала жена? – поинтересовалась Татьяна.

– На веранде посидим. Сейчас она соберёт там… Мы никуда не поедем, – бросил Паша Валере.

– Это я давно понял. Баня так баня…

– Я помогу Ирине, кухня женское дело… – Татьяна тем не менее ждала ответа.

– Ни к чему. Ты в гостях, – сказал Паша.

– Гости пришли не вовремя?.. – спросила Татьяна.

– Всё нормально.

– Что ей можно говорить, что нельзя?.. – осведомилась она.

Паша приблизился.

– Говори, что хочешь…

– Прямо, так… Как скажешь…

Валера объяснил руками необходимость покинуть помещение и удалился широкими шагами. Паша повернулся, выйти за ним.

– Не уходи. Пусть всё останется, как было, я на всё согласна. Прошу… Ты меня слышишь?.. Я же с тобой разговариваю. Что вас с ней связывает? Ведь нет ничего между вами, ведь так, прошло?.. – Татьяна торопилась.

– Оставь…

– Разве я не права?.. Чем ты болен?

– Что за глупости, кто это тебе сказал?

– Супруга твоя. На жалость давила… Мне очень нужны деньги, займёшь?..

– Не думал, что ты будешь меня шантажировать, – Паша исподлобья посмотрел на Татьяну.

– Я не хотела… но мне… Мне очень плохо. – Татьяна двумя руками поймала его широкую ладонь.

Паша освободился из силков.

– Ты уверена, что тебе так плохо, как ты думаешь?.. Татьяна, мы расстались. Это навсегда. Ничего не выйдет.

– У тебя тоже правила есть… Мне действительно надо.

– Ты меня ставишь перед выбором. Я должен заплатить? Но тебе я не хочу.

– Мне не к кому больше обратиться.

– Я не думал, что ты… – Паша не договорил.

Валера предупредительно насвистывал. Через мгновение он заглянул в зал.

– Тебя Ирина зовёт, – сказал он Паше.

Тот наклонил голову и молча вышел.

– Ты в своём уме?!.. – накинулся Валера.– Не вздумай ничего ляпнуть!..

– Успокойся, побереги сердечную мышцу, – скривила брезгливо губы Татьяна.

– Уходи лучше.

– Сказала же: не буду! В гости нельзя прийти к подруге уже? Ты тут кто такой?.. Иди ко мне!.. Ну, что же ты несмелый такой…

– Ты…

– Пойди, позови хозяйку, попрощаюсь и пойду.

Татьяна отвернулась. Валера помялся и ушёл. Татьяна подошла к окну и закрыла лицо тыльной стороной ладони.

Хриплый голос Паши раздался у неё за спиной:

– Познакомься…

Татьяна быстро повернулась. Паша стоял рядом с женой.

– Узнал… – Татьяна шутливо представилась, смотря на Пашу. – Татьяна!..

Лучшая подруга… – прибавила Ирина.

– Молодости… отмахнулась Татьяна. – Молчи уж, разлучница. – Она рассмеялась и осеклась. – Шучу я.

– Я не шучу, – сказала Ирина.

Валера продолжал свистеть, теперь он вернулся с бокалами.

– Кота вашего видел на кухне!.. Лежбище у него там? Котиков!.. Арестантский окрас! Полосатый. Отсидел уже?

– Английская порода, что ты понимаешь. Таких в стране всего несколько. – Паша улыбнулся.

– Здоров. Борец сумо. Чем вы его кормите? – продолжал юморить Валера.

Татьяна посмотрела вглубь дома на лениво продефилировавшего, то ли толстого, то ли чрезмерно пушистого, кота.

– Жора, Жорочка… У-у, хороший мальчик.

– Ну, не совсем мальчик, – сказал Валера. – На чёрный день скотину держите? Пить будет?! Или ему валерьянки? – не мог он остановиться.

– Пойдемте на воздух, – предложила Ирина, – я сейчас всё подам на веранду.

– Пойду баню проверю, – сказал Валера. – Веники замочил?

Не дожидаясь ответа, он вышел, помахивая бокалами, которые держал туловом вниз за ножки. Паша вышел за ним.

Заговорила первой Татьяна:

– Ну что ты смотришь так на меня?..

– Не смотрю… Ты смотришь.

– Смотрю…

– Я вижу. – Ирина не сдавалась, не отводя взгляд.

– Я уйду, не бойся… – Татьяна потупила взор. – Да, пришла посмотреть на счастливую подругу, которая счастлива в браке, слово какое дурацкое, ненавидела всегда… От которой не уходит муж. Что в тебе такого, что он держится за твою юбку? Чем ты лучше?

– Он любит меня.

– Тебя?.. Какая уверенность… Да он тебя не любит!

– Тебя любит.

– Мы с ним давно уже, давно, много лет, – чётко проговорила Татьяна.

– Я знаю.

Ирина села в кресло. Татьяна не сразу смогла продолжить, она провела рукой по стене, потерла пальцы, еще раз провела ими по стене:

– Давно?.. Давно?.. Ты сидела дома одна… по ночам, когда только телевизор, включишь без звука, лишь бы работал… как аквариум… и ты перед ним?.. Ты одна…

– Я ждала его.

Был в голосе Ирины вызов, или Татьяне показалось? Татьяна прислушалась, словно, ждала уточняющего эха.

– Ты никогда не была одна, никогда, – сказала она. У тебя всегда кто-то был. У тебя есть ребёнок…

– Он взрослый, – слабо возразила Ирина.

– Значит, будут внуки… А у меня нет никого, никого, и мне не к кому обратиться за помощью, когда она нужна… Ты одна в квартире, и ты сидишь на кровати и думаешь, сейчас схватит сердце сильнее, спазм, и никто не поможет тебе, ты не успеешь позвать на помощь, никто не придёт… я даже дверь не закрываю, чтобы смогли… взламывать не пришлось… Понимаешь, никому ты не нужна… Ночь… Страшно. Ночь всегда страшна. Ты спишь при включённом свете?..

– А был ли нужен тебе кто-то?

– Это ты у меня спрашиваешь? – Татьяна резко повернулась от стены.

– Ты много раз могла устроить свою жизнь, – быстро сказала Ирина.

– Тебе виднее…

– У него… Ему осталось жить месяцы.

Они застыли и замолчали.

– Он не хотел тебя бросать, – наконец, сказала Татьяна и присела на диван.

– И я его… не хочу.

– Почему ты его фамилию не взяла? Смелая?.. – Татьяна перегнулась через валик дивана к подруге. Примеряя на себя, она, артикулируя, произнесла: – Ракитина…

Заплакали они одновременно. Тихо, но не сдерживая слёз.

Такими Паша и застал их.

– Не надо, пожалуйста, – мягко попросил он.

– Мокрое царство, – бодро заметил, чтобы как-то отреагировать, вернувшийся Валера. – Вот вы женщины… Ну вы чего?.. Встретились и сразу…

– Проводи меня, – повелительно сказала Татьяна и поднялась, закрыв лицо рукой.

– Куда? – Валера глупо похлопал длинными ресницами.

– Теперь не важно… К тебе.

– Пойдём, умоемся, – пробормотал Валера, пряча взгляд.

Татьяна оперлась на его плечо, и они вышли. Придерживать Татьяну за талию Валера не решился. Так они и шли, несколько отклоняясь друг от друга телами, будто пытались идти в разных направлениях, но не могли, что-то их удерживало.

По-мальчишески порывистыми движениями Ирина размазала слёзы тыльными сторонами ладоней. И провела под носом.

– Ты был у врача? Ты вернулся раньше… Когда анализы? Что он сказал?

– Где сын?

– У бабушки. Не надо баню… Я прошу тебя…

– Всё равно…

– Ты был в клинике?

– Был.

– Спасибо… Что они сказали?

– Ничего. Ничего нового. Они ничего не говорят. Ты, наверное, лучше знаешь.

Ирина встала и, вытирая глаза пальцами, сказала, поглядев в окно:

– Она уходит. Они уходят.

– Ирина…

– Я поняла… – Ирина заторопилась, не давая Паше вымолвить. – Когда она зашла. Я сразу поняла, что это она… Что это та женщина, о которой ты говорил.

– У нас – всё. Ничего… У меня нет…

– Она говорит, с ней… годы, говорит, много лет… Правда?.. Сколько? Хотя, какая разница… И всё же – сколько? Не надо, не говори!

– Прости, я не хотел говорить про неё… – Он грузно приблизился к жене.

– Как на работе?

Он осторожно положил руку ей на плечо.

– Нормально.

Она, не оборачиваясь, прижалась щекой к его руке.

– Есть хочешь?

– Нет, не хочу. Мы перекусили.

– Чаю? – Она подняла лицо вверх к мужу.

– Чаю можно. Когда он вернётся?

– Я знаю, что ты думаешь, это твой ребёнок, твой сын, Паша, твой… – Она вжалась в него, стремясь погрузиться в него. Её маленькая голова едва доставала ему до груди.

– Пойдём на улице посидим… – сказал он и погрузился в её волосы.

– Я хочу остаться с тобой. Хочу уйти с тобой.

– Не вздумай.

Они обнялись. Постояли немного, тесно прижавшись, и пошли на веранду.

г. Москва

Ирина Баранчикова

И МЛЕЧНАЯ СПУСТИЛАСЬ НИТЬ

Ирине Баранчиковой (1954-1996) довелось родиться в венгерском городке Кёсеге, на границе с Австрией, в предгорьях Штирийских Альп, и с малых лет жить всё время в Ростове-на-Дону, затем в посёлке Рассвет Аксайского района. Однако её творчество питалось орловскими корнями. Давно не стало посёлка Муравчик, где зацвела жизнь её фамилии (баранчики, примулы, первоцветы, ключики) – война выжгла русские избы и яблоневые сады. Лишь сквозят ясные дали да темнеют леса, где партизанили дед и отец.

Орловщина, куда Ирина Валентиновна часто наезжала, была для неё родной и душевно близкой. Многие стихи навеяны посещением истинно русских мест, встречами с дорогими сердцу людьми.

Ранний уход из жизни Ирины Баранчиковой отозвался в журнале «Дон» горькими словами Виктора Петрова, первого редактора её публикаций:

«Один из поэтических сборников Ирины назывался «От света до света», и не уместилась ли в этом вся обидно короткая жизнь её. Под окнами дома растут две рябины, напоминая Орловщину. Ирина любила, жалела эти деревья, была им старшей сестрой. Осыплется майский цвет, а к осени закраснеют горькие ягоды, напомнив строки об Ирине-рябине, которые были написаны ею задолго до кончины и оказались пророческими:

Обожгусь до смерти – алым соком
До мороза вызревших рябин.
Непрощённое – прощу до срока,
Не дождавшись возраста седин».

Наш журнал знакомил читателей с творчеством Ирины Баранчиковой. Она также печаталась в «Литературной газете», в альманахе «Поэзия», издавала книги, принимала участие во Всесоюзном совещании молодых писателей, где стала членом Союза писателей России.

* * *

От света до света
Ткала я дорожку…
Стояла за окнами ночь.
Устала. Осталось
Работы немножко,
Но некому малость помочь.

Легла у печи и раскинула руки,
Цветные увидела сны,
Как будто ткала я
Без лени и муки
От осени и до весны.

Ткала словно долю,
Не что-нибудь – поле,
А сверху – полоску зари.
Из света и боли,
Прекрасно и вольно!
Попробуй теперь
Повтори…

* * *

Я уеду утром, не увижу дня.
Вспомнишь если вечером – не ругай меня.

Мурава зелёная, во поле цветы!
Я – в поля влюблённая, знаешь это ты.

Через речку Общерицу перекинут мост.
Едут, едут люди – мир и чист, и прост.

Хорошо – до боли! Ветер, лай собак!
Мне остаться, что ли?!
Да нельзя никак.

Переедем Общерицу – по мосту – вперёд.
Только переедем – солнышко взойдёт.

* * *

Не мы ли это в час свиданья.
Под той калиткою стоим?
Кому сияет мирозданье,
Что было – нам, что будет – им?

Не нам ли это – ветер, ветер!
Цветами полночи звенит…
Над кем склонились звёзды светом,
И млечная спустилась нить?

* * *

Мы пили мёд из братины широкой,
Кричали в ночь – невмочь! – перепела.
Нам всё, что есть, отпущено до срока,
Который мать-природа предрекла.

Густели тучи. Сонными лугами,
Росой – стекал к ногам прозрачный мёд.
И таял чернозём под сапогами,
И сердце отзывалось в свой черёд.

Дремотно-сладко. А могло ль иначе?
Испив, мы незаметно поднялись,
И вдаль ушли…
Но кто вослед нам плачет?
Та самая, что подарила жизнь?

* * *

Что может с тишиной такой сравниться?
Иль облако малины, иль гроза?
Неслышная, летит по небу птица,
И молча к водам клонится лоза.

И глазу не видна та нить живая,
Что связывает всё в единый круг…
И только тишина летит без края,
И связь нам открывает эту вдруг…

* * *

Свет идёт от страницы,
От звезды
И лица…
И ему раствориться
Не дано до конца…

* * *

Цветы восковые на блюде,
Пирог из сиянья снегов.
Год новый и сладок, и труден –
Метелью он соткан из снов.

Полночные звоны бокалов.
Шаги за морозным окном.
Всё так же. И всё – не бывало
И не повторится потом…

* * *

Разговора следы проступили…
На окошко – узором легли.
Может, с вечностью мы говорили?
Как, когда – говорить мы могли?

* * *

Эти рожь, конопля… За Трубичиной всюду
Застилают поля, открывают мне свет.
Бег полей, свет небес… То ли жар, то ль остуда?
Если можешь, скажи… Но не слышен ответ.

Горячо – вдалеке, без надежды на встречу –
Жить, сгорая, без ровного света во ржи.
Говорю, говорю… там не слышимы речи.
Иль негромко, не та? Ты скажи мне, скажи!

Холодею в полях, чуя сердцем пространство
Васильковых полей неземной широты.
Эти рожь, конопля… Онемела я странно…
Мне дороже всего на земле – это ты.

* * *

Охранная волна
Тревожна, изначальна.
Обрушилась она
На берег беспечальный.

Обрушится. Умрёт.
Другая народится.
Другая – в свой черёд –
Придёт, чтобы разбиться.

* * *

Обожгусь до смерти – алым соком
До мороза вызревших рябин.
Непрощённое – прощу до срока,
Не дождавшись возраста седин.

Отпущу напрасное и злое,
Источая свет в ночи, усну…
Но – проснусь и, воскресая, –
Слово
Новое от старого начну.

Иван Евсеенко

РАЗРЫВ

Роман

Впрочем, кот Трофимка заметил и, проскользнув сквозь штакетины, отправился за ними следом. Но он беглецам был не помеха, хотя отец, приметив Трофимку, вальяжно шагающего по тропинке, назидательно и сказал ему:

– Вот сейчас тебе от Жучки достанется!

– А кто такая Жучка?– не выпуская отцовской руки, спросил Алёша.

– Жучка?! – как бы удивился отец, что Алёша до сих пор ничего о Жучке не знает. – Это, брат, такой зверь, что только держись!

Алёша посильнее сжал отцовскую руку и стал с опаской оглядываться по сторонам, чтоб увидеть какую-нибудь страшную-престрашную собаку, от которой только держись… Но пока никакой собаки видно не было, и Алёша быстро успокоился: рядом с отцом он никакой, самой злой собаки не боялся. Отец вон какой большой и сильный, он Алёшу от любой собаки оборонит. Весело подпрыгивая на торной песчаной тропинке, он принялся рассматривать сад.

Никогда после: ни в детско-юношеской своей, ни во взрослой жизни не доводилось Алексею видеть подобного сада.

Посадил его, вернувшись с войны, дедушка Алексей Степанович. Причём, как умно, по всем садоводческим правилам (так отец объяснил) посадил. Посередине двумя длинными уходящими к виднеющейся вдалеке реке рядами росли самые главные деревья: яблони и груши разных диковинных для Алёши сортов. Отец, указывая то на одну, то на другую яблоню или грушу, пояснял ему:

– Это – житница, это – антоновка, а это груша – зимняя, мичуринская.

Окончание. Начало в № 1–3, 2014

Чувствовалось, что в садовых делах отец понимает ничуть не хуже дедушки Алексея Степановича, а может, даже и лучше. Дедушка был садовником, родителем и строгим воспитателем всего посаженного им сада, а Алёшин отец – его ровесником, товарищем-другом. Они вместе, наперегонки, росли, играли в разные детские игры, прятки и догонялки, доверяли друг другу все свои самые секретные секреты.

Слова, которые произносил отец, указывая на яблони и груши, были Алёше незнакомыми (и даже чуточку смешными: семеринка, житница, пепен), но очень интересными, и Алёша сразу их всех запомнил.

С левой стороны сада, по меже, словно выстроившись в затылок, стоял такой же длиннющий ряд вишен и черешен, а с правой – слив, белых, жёлтых и синих, (правда, сейчас они ещё не поспели и были просто зелёными). Внизу под вишнями и сливами росли забранные в деревянные оградки кусты чёрной и красной смородины, крыжовника и отдельной широкой ленточкой – малина, тоже белая и красная. Все стволы деревьев были выкрашены по поясок известью, и от этого сад казался белым, насквозь пронизанным солнцем и каким-то по-особому чистым, как будто в раннем весеннем цвету.

Так, узнавая всё новые и новые деревья и запоминая их названия, они дошли с отцом и ни на шаг не отстающим от них Трофимкой до середины сада, до высокого садового колодца-журавля Алёша хотел тут же обследовать этот колодец, заглянуть внутрь его (глубокий он или мелкий?) и попросить отца, чтобы тот наклонил длинный-предлинный клюв журавля с ведёрком на конце в тёмный зев бревенчатого колодезного сруба и зачерпнул воды, но тут вдруг из укромной будочки, которую Алёша вначале и не приметил, выскочила маленькая чёрно-белая собачка, привязаная на цепочку. Она несколько раз действительно сердито, но как-то смешно залаяла, а потом мгновенно замолчала и, поводя из стороны в сторону острой мордочкой, стала с удивлением смотреть на отца, на Алёшу и на Трофимку, который безбоязненно подошёл к собачке совсем близко и самовольно понюхал-попробовал в алюминиевой мисочке её еду, словно проверял – вкусно или невкусно.

– Не узнала, что ли? – присел на корточки перед собачкой отец.

Та в ответ радостно взвизгнула и, винясь перед отцом за сердитый свой лай, уткнулась мгновенно замершей мордочкой в его ладони.

– Вот то-то, – простил её отец за ошибку, отстегнул цепочку и подтолкнул к Алёше. – Это Алексей, – наставительно сказал он собачке, – новый хозяин. Смотри, не обижай его!

Собачка опять весело взвизгнула, приподнялась на задних лапках, а передние положила Алёше на грудь и вдруг лизнула его в щёку шершаво-мокрым языком. Алёша не растерялся, погладил её по спине и бокам, осторожно потрогал даже за мягкое обвислое ухо (чёрное в белых, будто бабочки-мотыльки подпалинках). Собачка обрадовалась его вниманию и храбрости и ещё несколько раз лизнула в щёку. Так они познакомились и сразу подружились с Жучкой.

Трофимка, Трофим Иванович, правда, почему-то отнёсся к их знакомству ревниво, обиженно фыркнул и взобрался на сруб колодца, как будто говоря: «Мне-то какое дело до вас; я сам по себе, хочу – сижу на колодезном срубе, а захочу – так и вовсе уйду домой к бабушке Устинье, я ведь за цепь не привязан».

Но никуда Трофимка, конечно, не ушёл, а вскоре спрыгнул на землю, потёрся вначале о ноги отца, потом Алёши, а уже после, прощая Жучке её несерьёзное поведение, замурлыкал и прикоснулся к её холодному длинному носику своим горячим и кругленьким.

Дальше, к реке они пошли уже вчетвером. Впереди отец за руку с Алёшей, следом Жучка и в конце, замыкающим Трофимка. Как и полагается замыкающему, он изредка оглядывался назад, проверял, не крадётся ли кто за их колонной-цепочкой, опасный и злой. И если бы крался, то Трофимка вступил бы с ним в смертельную схватку и со всей доблестью и отвагой оборонил бы верных своих товарищей.

Реку Алёша увидел ещё издалека. Была она очень широкой (много шире курских рек, Сейма и Тускари) и в эти предвечерние часы какой-то полусонной, тихой, как будто засыпающей. Речные берега (и левый, и правый) густо заросли лозовыми и ольховыми кустами, низко склонившимися к воде, тоже уже, казалось, полусонными. Тишину нарушали лишь редкие всплески играющей на самой стремнине рыбы, да беспокойное щебетание маленьких чёрных птичек, которые стайками и поодиночке носились над рекой, то низко и опасно припадая к воде, словно хотели нырнуть в её тёмную глубину, то взлетая высоко в небо и становясь совсем невидимыми.

– Это ласточки-касатки, – объяснил отец. – По-нашему – щурики. Они живут вон там, на том берегу в песчаных норках.

Алёша посмотрел, куда указывает отец, и действительно увидел на крутом песчаном обрыве множество ямочек-норок. Ласточки время от времени заныривали туда, бесследно терялись там и затихали. Алёша даже боялся, что они ни за что не выберутся из песчаных подземных лабиринтов, заблудятся в них и останутся там навсегда. Но ласточки всего через мгновение-другое стремительно выпархивали назад и с радостным щебетанием присоединялись к своим стайкам.

Обогнув несколько лозовых заросших понизу густой травой-осокой кустов, отец вывел походную их колонну на луговую поляну.

И там оказалась лодочная привязь. За громадную лежащую на бугорке, возле воды корягу было привязано цепями и примкнуто (так сказал отец) замочками множество лодок. Замочки были самых разных размеров и очертаний, от совсем маленьких, почти игрушечных, которые, казалось, ничего не стоит открыть обыкновенною булавкой, до неимоверно больших, старинных: винтовых и амбарных, как опять-таки пояснил отец. Они висели на цепях так тяжело и неприступно, и одним только уже своим видом говорили любому подходящему к привязи незнакомому человеку: «Не смей брать чужую лодку, иначе…»

Как могло быть иначе, Алёша придумать не успел, потому что отец вдруг указал на одну небольшую, но очень ладную, соразмерно сделанную лодку, которая незаметно колыхалась на воде в самой середине привязи:

– Это – наша!

Чуть оттолкнув в сторону остальные лодки, отец подтянул «нашу» повыше, на песчаный берег, взошёл в неё и позвал Алёшу:

– Смелей!

Алёша немного поколебался: всё-таки лодка была зыбкой, с невысокими бортами и острым, по щучьи колючим носиком, к тому же она, едва не зачерпывая узенькими этими бортами воду, колыхалась на расходящихся кругами волнах, которые поднялись, когда отец отгонял в сторону чужие лодки.

– Смелей. Смелей! – ещё раз подбодрил Алёшу отец и, видя, что тот всё-таки робеет, протянул навстречу ему руки.

Алёша преодолел свою робость, удачно перешагнул через бортик, и не поскользнулся, не упал, а сделал два твёрдых, устойчивых шага по засмолённому чёрной смолой днищу лодки – и оказался в руках отца.

Тот подхватил его очень высоко, прижал к груди и, ловко переступая через порожки и лавочки, понёс в дальний конец

лодки, который называется кормою. От упругих отцовских шагов лодка начала раскачиваться ещё сильнее, корма погружалась всё глубже и глубже в воду. Алёша опять заробел, посильнее обнял отца за шею и даже закрыл глаза.

Но ничего страшного не случилось. На корме тоже была лавочка, правда, не продольная и почти трёхугольная, зато гораздо шире двух других, устроенных посередине лодки.

Тесно прижавшись друг к другу, они с отцом сели на корме и стали весело звать к себе Жучку и Трофимку:

– Идите к нам! Не бойтесь!

Но Жучку и Трофимку и звать не надо было.

Жучка, повизгивая и почти кувыркаясь от радости, что оказалась на свободе, отстёгнутая от цепочки, да ещё со старым и новым хозяевами, в два прыжка заскочила в лодку и уселась на ближней от Алёши и отца лавочке.

А Трофимка, Трофим Иванович, и здесь повёл себя степенно и несуетно. Мерным неспешным шагом он подошёл к лодке и занял место на щучьем передке-носочке, вмиг превратившись из замыкающего во впередсмотрящего.

На реке пахло незнакомыми Алёше водяными травами (потом он узнает от отца, как они все называются: кувшинки, водяные лилии, аир, водяной буряк и ещё многие другие), лозой-красноталом, ольхой и черёмухой, куст которой рос неподалёку от привязи.

Алёша совсем осмелел рядом с отцом на лавочке, опустил руку в воду и, взбаламучивая её, поиграл в глубине ладошкой и пальцами. Вода была по-вечернему тёплой и чуточку щекотной. Тёмной она казалась только на глубине, а когда Алёша выдернул руку на поверхность, вода объявилась чистой и прозрачной, как стёклышко. Прозрачными бегущими одна за другой капельками она начала стекать по ладошке и пальцам Алёши и с гулким бульканьем падать рядом с бортом лодки.

И как только первая звонкая капелька упала в воду, так тут же в недалёкой мелководной заводи обозвалась, словно заговорила с Алёшей, первая вечерняя лягушка:

– Ква-ква-ква!

Вслед за ней обозвалась и вторая, и третья, и вскоре в заводи уже на все лады пел настоящий лягушачий хор.

– А у нас говорят, что лягушки «кумкают», – вмешался в этот хор отец. – Послушай!

Алёша послушал, и действительно оказалось, что лягушки протяжно и наперегонки повторяют:

– Ку-м-м – ку-м-м – кум!

Лягушки, наверное, квакали бы, кумкали и дальше, но их напугала Жучка. Она вдруг приподнялась на лавочке, вытянула мордочку в сторону заводи и принялась громко и угрожающе лаять.

– Ну, вот ещё чего! – пожурил её отец. – Пусть поют!

Трофимка тоже не одобрил запальчивого поведения Жучки. Он посмотрел на неё недовольным колючим взглядом и тяжело переступил с лапы на лапу, словно намереваясь перебраться к Жучке на лавочку, чтоб приструнить её уже по-настоящему. Но потом всё-таки остался на месте, несколько раз ворчливо фыркнул, как будто извиняясь за Жучку пред Алёшей и отцом, мол, что с неё возьмёшь, целым днями сидит на цепи, вот и разбаловалась от скуки и безудержно лает на кого ни попадя.

Жучка и вправду устыдилась своего поведения, перестала лаять, но с любопытством и охотничьим азартом продолжала смотреть на заводь.

Лягушки, как только Жучка замолчала, осмелели и опять подняли несмолкаемый гвалт: квакали и кумкали громче прежнего, а некоторые вспрыгнули на широкие листья кувшинок и оттуда начали дразнить и передразнивать Жучку, зведомо зная, что они ей недоступны не только в илистой, вязкой глубине заводи, но даже здесь, на зелёных плавучих листьях кувшинок.

Алёше интересно и весело было наблюдать за всем, что происходило на реке: и за игрой на стремнине крупной полусонной рыбы, и за полётом ласточек-касаток, и за соперничеством лягушек с Жучкой. Он готов был сидеть здесь до самого позднего вечера, но отец вдруг поднялся с лавочки и сказал ему:

– Завтра утром мы с тобой пойдём на рыбалку, а сейчас давай возвращаться домой – мама заругается…

* * *

Мать действительно начала ругать отца:

– Простудишь ребёнка, будет нам отдых!

Она даже подошла к Алёше и потрогала его лоб ладонью – не горячий ли? Алёша тоже потрогал свой лоб пальчиками и ладошкой – он был тёплым, но совсем не горячим.

– Да ничего с ним не случится, – принялись защищать Алёшу, а заодно и отца начавшие уже расходиться гости, – на свежем воздухе только здоровей станет. Наши вон до самых морозов босиком бегают – и ничего.

– То ваши – деревенские, – ревниво сказала мать. – А он мальчик городской – непривычный.

Пришлось вмешаться в разговор бабушке Устинье. Она забрала Алёшу к себе, приласкала его и, провожая последних гостей из дома, легко, словно малых детей, примирила отца с матерь:

– Сейчас мы с Алёшей попьём молока, помоем ноги и – спать. Утро вечера мудренее.

Чтоб больше не сердить мать, Алёша выпил полную чашку молока с хлебом, потом под присмотром бабушки почти самостоятельно (бабушка лишь чуть-чуточку помогла ему) вымыл в эмалированном тазике ноги, хотя и удивился этому обычаю. В городе он целый день ходил в колготках, сандалиях или в ботинках, и ноги на ночь мыл редко – они и так были у него чистыми, да и у матери не всегда хватало времени и терпения заниматься этим, кипятить на газовой плите воду. А здесь, оказывается, деревенские мальчишки и девчонки перед сном ноги моют обязательно, потому что целыми днями (до самого снега и мороза) бегают по улице босиком, и ноги у них к вечеру все в песке и пыли. С такими ногами родители их в постель ни за что не пустят.

Алёша, правда, сегодня ни сандалий, ни колготок не снимал, но бабушка, судя по всему, решила с самого первого дня приучать его к деревенским порядкам и обычаям, чтоб он рос закалённым, никогда не болел и тоже мог до самого снега и мороза бегать босиком.

Мягким, лохматым полотенцем бабушка сухо-насухо вытерла Алёше ноги и поставила его рядом с тазиком на заранее приготовленный домотканый половичок. Ему сразу показалось, что он стоит уже босиком на траве-мураве, на речном влажном песке или даже на снегу. Алёше захотелось побегать по этой траве, по песку и снегу, и он начал переступать с ноги на ногу и даже пританцовывать, как будто ногам и вправду было холодно или их кололи речные песчинки, камушки и прошлогодние засохшие ветки травы-муравы. Но вскоре Алёша успокоился и принялся с опаской поглядывать на мать, которая готовила ему за ширмой кровать, взбивала там подушки, что-то перекладывала и переставляла. Алёше совсем не хотелось идти за ширму, где, наверное, темно и страшно. Он испуганно посмотрел на бабушку, и та, словно догадавшись о его страхах, распорядилась по-своему. Она вдруг подхватила Алёшу на руки и сказала отцу с матерью:

– Вы тут долго ещё будете колобродить, а нам надо спать, – и унесла Алёшу в «папину» комнату.

Там она быстро разложила диван, раскинула на нём громадную пуховую перину, покрыла её белоснежной пахнущей речкой и крахмалом простынью, потом положила в головах точно такую же большую и белую подушку и весело скомандовала Алёше:

– Прыгай!

Он не стал медлить ни единой минуты, изо всех сил разбежался и прыгнул на эту воздушную похожую на белое облако перину и глубоко утонул в ней.

Бабушка прикрыла Алёшу одеялом, присела рядышком на крае дивана и то ли понарошку, то ли и всерьёз (Алёша, утопая в своей перине-гнёздышке, всего до конца не понял) пригрозила отцу с матерью:

– Пусть они сами спят за ширмой!

Потом она положила Алёше на голову руку и начала что-то тихонько, почти беззвучно шептать. (Лишь много позже, уже во взрослой своей жизни Алексей понял, что это бабушка Устинья читала над ним молитву «На сон грядущий»):

«Господи Боже наш, еже согрешихво дни сем словом, делом и помышлением, яко Благ и Человеколюбец прости ми. Мирен сон и безмятежн даруй ми. Ангела Твоего хранителя посли, покрывающа и соблюдающамя от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесам нашим, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, нынче и присно и во веки веков. Аминь»

Ничего, конечно, в этих молитвенных словах Алёша не понимал, но ему было очень хорошо рядом с бабушкой в «папиной», маленькой, но такой уютной комнате. Глаза у него начали закрываться сами собой, и он стал сладко и глубоко засыпать в пуховом гнёздышке. И когда почти совсем уже уснул, бабушка, трижды перекрестив его по голове, груди и ногам, на прощанье тихонько сказала:

– И пусть тебе приснятся ангелы…

А на следующий день у них в доме разразился настоящий скандал…

* * *

На Софийской площади Алексей задерживаться не стал. Время его поджимало: до отхода маршрутки оставалось всего полтора часа. Чтоб не мешать паломникам и многочисленным

праздно гуляющим на площади людям (одни – мимо белокаменного памятника святой Ольге вверх, к Андреевской церкви, другие, наоборот, вниз – к Софийскому собору). Алексей укрылся на нешироком затенённом каштанами тротуарчике и всего через десять-пятнадцать минут был уже у подножья Андреевской церкви. Он поднялся по её высоким ступенькам, но сразу в церковь не зашёл, а опершись на перила, долго наблюдал за шумным Андреевским спуском, где бойко шла торговля всевозможными киевско-украинскими сувенирами и просто расхожими товарами, на которые всегда падкие туристы. У Алексея промелькнула было мысль, что, может, и ему надо вначале не спеша побродить по спуску, выбрать, несмотря на все свои прежние сомнения, подарки для отца, мачехи и Марьяны, а в церковь заглянуть после, уже перед самым походом на Владимирскую горку, чтоб перед разговором с Леркой ничто суетное и мелкое больше не отвлекало его и не удерживало.

Алексей, наверное бы, так и поступил, но дверь церкви была широко распахнута, и он увидел сквозь неё, как отсвечивается вверху, над амвоном, подвешенная на цепях многоярусная люстра, а внизу, возле икон, пламенеют и трепещут от малейшего дуновения ветра и от человеческого дыхания заздравные и поминальные свечи. От Царских Врат и амвона до Алексея долетело вначале одиночное речитативное песнопение-молитва священника, потом громовые, трубные возгласы дьякона, а, минуту спустя, с клироса и многоголосие церковного хора. Судя по всему, в церкви начиналась вечерняя служба, и Алексей, таинственно влекомый ею, в последний раз оглянулся на торговые шумно-крикливые ряды Андреевского спуска – и шагнул в открытую и так настоятельно зовущую его церковную дверь.

Точно так же, как и во Владимирском соборе, он купил восковую свечу, осторожно, чтоб не потревожить молящихся, пробрался к кануну и установил её за упокой души бабушки Устиньи.

По неведению своему и по незнанию, Алексей мало чего понимал в церковной повечерней службе, но, стоя возле кануна, под иконой Андрея Первозванного, он всё равно чувствовал, как она тревожит и волнует его, и не столько смыслом недоступных ему слов, сколько напряжённым и возвышенным своим таинством, которое, как бы само по себе (хочет того человек или не хочет), очищает и просветляет его душу и сердце…

* * *

Из церкви Алексей вышел действительно просветлённым, окрепшим духом, готовым к любым мирским испытаниям (в общем-то мелким и мелочным), которые предстояли ему сейчас, до отъезда к бабушке, к ночному бдению над её гробом под молитвенное чтение «Псалтыри».

По Андреевскому спуску он прошёлся вниз и вверх, по левой его стороне и по правой. И к удивлению своему, ничего не купил, хотя нужные товары попадались ему на каждом шагу: бритва для отца, украшения для мачехи, ранцы, портфели и сумки для школьницы Марьяны (впрочем, она в подростковом своём возрасте, наверное, тоже была бы больше рада женским украшениям: кольцам, серёжкам, цепочкам и браслетам). Несколько раз Алексей вполне определённо приценялся и к одному товару, и к другому, и к третьему, доставал даже, радуя продавца, деньги, но в самый последний момент прятал их назад в карман и шёл дальше. Что-то его удерживало и останавливало. И он, в конце концов, понял – что. Подарок – это всегда гостинец, радость и для тех, кто дарит его, и для тех, кто получает. А какая сейчас может быть радость для Алексея и для отца с мачехой и Марьяной, когда в доме стоит гроб, когда у всех горе, слёзы и плач. Подарки, конечно, будут вручены и приняты, но радости они никому не доставят, а лишь вызовут новые слёзы и переживания. Получится как-то совсем уж не по-людски, не по-человечески. Всем живым – дорогие, рассчитанные на долгую жизнь подарки и подношения, а бабушке Устинье одни лишь прощальные, поминальные цветы. Несправедливо всё это и не ко времени. Вот приехал бы Алексей раньше, когда бабушка была в добром здравии, и он по давно заведённому порядку и обычаю первонаперво вручил бы именно ей, как самой старшей в роду, какой-нибудь незамысловатый, простенький подарок (она дорогих не любила, смущалась им): головной платочек-накидку (лучше всего бы беленький или голубоватый с бегущими по оборке полевыми и луговыми цветочками). То-то была бы бабушке Устинье радость, и не столько от самого подарка, сколько от внимания единственного её и так любимого внука-мальчика.

Но Алексей не приехал…

Поднявшись в последний раз вверх по Андреевскому спуску, Алексей ещё больше укрепился в вере, что никаких подарков отцу и его семейству покупать сейчас не нужно и нельзя (даст Бог, приедет как-нибудь потом, тогда и купит) и, не оглядываясь

больше на крикливые, переполненные праздно-гуляющим народом торговые ряды, стал искать дорогу к Владимирской горке.

* * *

С утра Алёша с отцом поднялись очень рано и пошли на рыбалку. На стремительной своей лодке-щучке они уплыли далеко вниз по течению, где, по словам отца, были особенно удачливые рыбные места. Отец помнил о них ещё со своего детства, когда ездил туда рыбачить вначале с дедушкой Алексеем Степановичем, а после уже и сам или с другими деревенскими мальчишками, тоже заядлыми рыбаками.

Место, которое они с отцом выбрали около берега, под низко склонившимся над водой лозовым кустом, действительно оказалось очень удачливым. Всего за два часа они на удочки и спиннинг наловили почти полведёрка рыбы. Больше, конечно, отец, но и Алёша поймал пять серебряно поблёскивающих на солнце рыбок-краснопёрок, которых он положил в отдельное, «своё» ведёрко. Отец научил Алёшу, как надо насаживать на крючок дождевого червяка (и Алёша ни одного червяка не обронил и не поранил себе острым крючком палец), как забрасывать удочку в воду, как следить за поплавком и подсекать рыбину, когда она начнёт клевать, невидимо утапливая в глубину поплавок.

А ещё отец научил Алёшу различать рыбу: где какая и как называется – щука, окунь, плотвичка, краснопёрка, лещ, линь и карась и всякие другие, которых они поймали или которых поймают в следующий раз.

Дома, вернувшись с рыбалки, они вдвоём, не доверяя ни матери, ни бабушке, самостоятельно почистили рыбу. Вернее, втроём, потому что Трофимка, Трофим Иванович, ещё издалека учуяв запах рыбы, пристроился рядом на крылечке в надежде, что ему тоже достанется часть добычи. Они с отцом не стали жадничать и дали Трофимке две рыбины-плотвички: отец из своего ведёрка, а Алёша из своего.

Часть рыбы бабушка пожарила в печи на громадной сковородке, а другую часть (одну большую и одну маленькую щуку и несколько окуней) отец с Алёшей оставили себе и, разложив в саду костёр, принялись варить в настоящем рыбацком котелке настоящую рыбацкую уху.

Часов в десять, когда и жареная рыба, и уха были готовы, они всем семейством (Трофимка тоже был тут как тут, сидел у

ног бабушки Устиньи и ожидал, пока вполне заслуженные его порции ухи и рыбы остынут в маленькой черепяной мисочке и на блюдечке) сели за стол и устроили рыбный завтрак, который был, может быть, даже много праздничней вчерашнего многолюдного обеда.

Бабушка Устинья не могла нахвалиться на уху, хотя несколько раз, указывая на Алёшу, необидно и подтрунивала над отцом: «Конечно, с таким помощником, чего ж не наварить!». Отец легко, тоже с улыбкой, переносил эти её насмешки и в свою очередь, приглашая в соучастники Алёшу, сколько было силы хвалил и нахваливал бабушкину жаренную в печке с какими-то особыми только ей ведомыми специями рыбу.

А мать и здесь не уступила себе, своему вспыльчивому воспитанному в Кирпичном Заводе характеру.

– А я думала, что вы ничего не поймаете, – сказала она, отведав с завидным утренним аппетитом и ухи, и жареной рыбы.

– Почему это – не поймаем?! – сделал вид, что обиделся её словами отец. – Река есть, удочки есть, рыба пока тоже не перевелась.

– Так ведь уметь надо, – продолжала насмешничать мать, но как-то совсем не так, как бабушка. (Бабушка ласково и подоброму, а мать с подковыркою и вызовом).

Отец, правда, опять не обиделся на неё, а лишь тоже сказал с заметным вызовом, как умеют говорить друг с другом, похваляться богатым уловом подлинные рыбаки:

– В следующий раз пойдёшь с нами, покажешь, как надо…

– А что – и пойду! – приняла его вызов мать. – Я в Кирпичном Заводе рыбу удила. И не хуже вашего!

На том весёлая их перепалка и закончилась. Все дружно рассмеялись ей и начали подниматься из-за стола. Мать с Алёшей собрались идти на речку купаться и загорать, а отец вызвался починить на доме крышу, ещё вчера по приезде заметив, что несколько шиферных листов на ней перекосились и, того и гляди, оторвутся и упадут на землю.

Но тут и случился скандал!

Бабушка Устинья, поднявшись из-за стола, повернулась лицом к иконам, которые висели в Красном Углу, прошептала какую-то молитву и трижды осенила себя крестным знамением. Ни отец, ни мать не последовали её примеру, и бабушка не принудила их к тому, а вот Алёше сказала, правда, опять не совсем понятно:

– А ты, внучок, склони голову и перекрестись, поблагодари Бога за хлеб наш насущный. Умеешь креститься?

– Нет, не умею, – честно признался Алёша, потому что ни мать, ни отец, ни воспитательница в детском саду не показывали ему, как надо креститься.

– Ну, ничего, – не стала бабушка ругать его за это неумение. – Сейчас мы научимся. Ты пальчики («Пучечки», – повторила она по-своему, по-деревенски) сложи щепоткой (бабушка показала – как), потом прикоснись ими вначале ко лбу, потом к груди-животу, а потом к правому и левому плечикам – это и будет крестное знамение.

Алёше было интересно выполнить задание бабушки, но он оглянулся на мать – разрешит та или не разрешит ему заниматься с бабушкой таким необыкновенным обучением.

Мать уже собиралась на речку, складывала в большую (пляжную) сумку вещи, свои и Алёшины: полотенца, половички-подстилки, панамки-шляпы, какие-то кремы и мази в тюбиках и коробочках. На Алёшу с бабушкой она взглянула лишь мельком и махнула без всякой строгости рукой, мол, делайте всё, что хотите – мне некогда.

И бабушка начала терпеливо научать Алёшу крестному знамению. Она помогла сложить ему воедино три пальчики-пучечки (большой, указательный и средний) и, придерживая их своей ладонью, велела Алёше поочерёдно прикоснуться лба, груди-живота, правого и левого плеча. Потом бабушка ладонь свою незаметно отпустила, и Алёша второе и третье крестное знамение совершил уже сам и тоже ничуть не ошибся, не перепутал, когда к чему надо прикасаться.

Бабушка похвалила его за старание и хотела уже было отправить к матери, но потом, прижав к себе, задержала на минуту и вдруг спросила сразу обоих Алёшиных родителей, отца и мать:

– Володя, Александра, а Алексей у вас крещёный?

– Нет, не крещёный, – немного помедлив и переглянувшись с матерью, ответил отец.

– Ну, это никуда не годится, – ещё сильнее прижала к себе Алёшу бабушка. –Некрещёный человек во всём беззащитный. Надо Алексея, пока он здесь в деревне на отдыхе, окрестить. Ты как, Володя?

– Я думаю – надо, – согласился с ней отец.

– А ты, Александра?– обратилась со своим вопросом бабушка и к матери.

– Да вы, что, с ума посходили! – ничуть не скрывая своего негодования, воскликнула та. – Меня осенью в партию будут принимать. А ну как кто узнает?!

Отец промолчал, а бабушка, стараясь пригасить негодование матери, спокойно и рассудительно сказала:

– Партия, Александра, далеко, кто узнает. Да и какой ущерб для партии от того, что Алексей будет крещёным?!

– Кому надо – узнают! – совсем разгорячилась мать, почему-то пропустив мимо ушей слова об ущербе.

В комнате установилась напряжённая и недобрая тишина. Первым её почувствовал Трофимка. Он перестал есть рыбу, испуганно приподнял голову, а потом и вовсе выскочил в сени сквозь приоткрытую дверь. Все проводили его долгим, удивлённым взглядом и, похоже, не зная, как быть дальше, затаились каждый на своём месте. Бабушка, придерживая Алёшу за грудь двумя руками, прижимала его к себе, мать опять начала собирать пляжную сумку, одни вещи из неё выбрасывать, другие запрятывать глубоко на дно, но тут же всё снова меняла местами, а отец растерянно стоял возле двери, словно раздумывая, то ли выскользнуть вслед за Трофимкой, то ли всё же пока остаться в доме.

Наконец бабушка, поцеловав Алёшу в макушку, нарушила эту тишину и, несмотря на всю запальчивость и горячность матери, твёрдо произнесла:

– Партий, Александра, много (надо же – бабушка вон ещё когда предвидела нынешнее положение с партиями), а вера одна.

Мать ничего на это бабушке не ответила, а лишь позвала к себе Алёшу, взяла сумку и повела его на речку купаться и загорать…

* * *

Крестили Алёшу через несколько дней, в повечерье перед престольным в Большой Устиновке праздником Петра и Павла. Крестного отца и крестную мать Алёши, восприемников, выбрали только со стороны отца, потому что мама Шура, боясь огласки, со своей стороны никого не назвала. Да, похоже, и не было у неё ни таких подружек, ни таких друзей, которые могли бы стать для Алёши по крещению вторым отцом и второй матерью.

А у отца были. В крестные Алёше он избрал своего командира части полковника Сенченко. Специально ходил для этого в сельсовет, где был телефон, переговорил с ним, и тот, к удивлению матери, согласился.

– Дураки вы оба! – узнав об этом, сказала она. – Тебе-то что?! Ты – прапорщик, беспартийный и безродный (так и сказала – безродный), а полковник – командир части, член партии и непременно член парткома. Ему, если узнают, влетит по самое некуда!

– Это, если узнают, – отшутился отец.

Кого же определить Алёше в крёстную мать, отцу подсказала бабушка Устинья. Одноклассницу его и подружку по детству, тётю Настю. Алёша её запомнил ещё в первый день по приезде на гулянии. Тётя Настя в застолье запевала все песни, начиная с самой первой про солдата, который спустился с горочки, и мать посматривала на неё по-особому ревниво и пристально.

Услышав от бабушки Устиньи и отца, что именно эта Настя будет Алёше крёстной, а ей – близкой родственницей – кумой, сопротивляться не стала. Против отца она, конечно, пошла бы, а вот против бабушки не посмела. Смирившись с её затеей насчёт крещения Алёши, мать теперь как бы отстранилась от этой затеи, ушла в сторону (про полковника Сенченко только и высказалась) и махнула на всё рукой:

– Делайте, что хотите!

Правда, после, уже в Курске, не раз и не два поддевала отца: «Ну, как там твоя кума-одноклассница – всё поёт?!». Причём поддевала не наедине с ним, а во время домашних застолий, при людях, когда уже всем стало известно о крещении Алёши.

– Поёт, чего ж ей не петь! – не вступал в перебранку отец, но из-за стола после этого вскоре уходил.

* * *

Накануне крещения бабушка жарко натопила во дворе бревенчатую насквозь пропахшую мятой-мелисой, берёзовыми и дубовыми вениками баню и вымыла в ней Алёшу. Потом она заново перестирала и прополоскала в реке, в проточной воде его праздничные рубашечку и брюки, а когда они высохли, тщательно выгладила их большим горячим утюгом, хотя и рубашка, и брюки были матерью перед отъездом в Большую Устиновку и постираны, и выглажены и не успели ещё ничуточку загрязниться и измяться, потому что Алёша надевал их всего лишь один раз – в день приезда и гуляния. При любом ином случае мать, наверное, обиделась бы, а то и возмутилась такому недоверию к ней, но сейчас не сказала ни слова, опять безмолвно согласившись с бабушкой, что перед походом в церковь и перед крещением по-

мыть Алёшу в бане и повторно постирать его брюки с рубашкой не помешает. А что бабушка не доверила стирку ей, матери, так это всё деревенские причуды и вымыслы. На то она и деревня!

В церковь на обряд крещения мать не пошла (присутствовать при крещении, оказывается, ни отцу, ни матери не положено, а только крёстным.Мать об этом откуда-то узнала и воспользовалась запретом).

Повели Алёшу в церковь бабушка Устинья, будущая его крёстная мать, тётя Настя и отец. В церковь он, правда, согласно обряду тоже не заходил, но, сидя на крылечке, сквозь приоткрытую дверь наблюдал за всем, что там свершалось.

В церкви Алёша был в первый раз, но с бабушкой Устиньей и тётей Настей ничуть не испугался ни грозно и вопрошающе глядящих на него со стен и высоких Царских Врат икон, ни ярко пламенеющих на простеньких деревянных подставках свечей. Ни даже священника – ласкового и очень похожего на старичка из сказки о колобке дедушку.

Наоборот, Алёше в церкви всё было интересно и любопытно, и он, пока шло приготовление к крещению, потихоньку расспрашивал бабушку и тётю Настю про иконы, кто на них и зачем изображён. Три иконы Алёша, правда, и без подсказки узнал: Иисуса Христа, Божию Матерь с мальчиком-младенцем на руках и строгого Николая Угодника, который в одной руке держал длинный позлащённый посох, а другую высоко поднял для благословения. Точно такие иконы висели в бабушкином доме, в Красном Углу, и она всё ему про них объяснила, когда они после спора с отцом и матерью о крещении, остались в горнице одни.

Но больше всего интересно было Алёше смотреть на молодых с крыльями за плечами юношей, одетых в белые ниспадающие до самого пола одеждах.

– Это кто? – спросил он бабушку.

– Ангелы, – ответила та.

– А почему они мне не снятся? – вдруг вспомнил Алёша ежевечерние напутствия бабушки перед сном.

Бабушка обняла его за плечи, как всегда обнимала, когда хотела приласкать и ободрить, и сказала:

– А вот окрестят тебя сегодня, они и приснятся.

Немного заробел Алёша во время крещения лишь однажды, когда на середине церкви поставили большую серебряную чашу и священник стал наливать в неё воду.

– Ты не бойся, – заметила его робость бабушка, – это купель. Священник трижды окунёт тебя в ней в святую воду – и всё.

Но Алёше всё равно было робко и боязно. Он покрепче сжал бабушке руку и едва не заплакал. Плавать Алёша тогда ещё не умел (только учился на реке с матерью), и он подумал, что обязательно в купели захлебнётся, а то и утонет.

Оказалось же, что робел и боялся Алёша совершенно напрасно. Мальчиком он был не по годам рослым и крупным, и священник, несколько раз поглядев на него, велел снять только одну рубашечку, а не раздеваться совсем, чего Алёша тоже боялся.

Когда рубашку он снял и подошёл из-под опеки бабушки к священнику, тот одной рукой низко склонил его над чашей-купелью, а другой трижды полил на голову прозрачную, тоже как будто серебряную воду.

Тётя Настя, теперь уже крёстная мать Алёши, закутала его в белую накидку и подняла на руки. Священник подошёл к ним, опять начал читать молитву, потом маленьким ножницами остриг у Алёши на голове прядку волос, маленькой кисточкой помазал ему пахучим маслом-елеем лоб, запястья и щиколотки, а в конце, надев Алёше на шею маленький крестик на шнурочке, взял за руку и провёл через Царские Врата вокруг Престола.

От всего, что делал с ним священник, всё тело у Алёши сделалось каким-то жарким и горячим, а голова стала лёгкой и кружилась почти так, как карусель в Курске в Первомайском саду, куда они с отцом ходили по воскресеньям.

Когда священник вернул Алёшу назад бабушке и Крёстной, тёте Насте, он, указывая на Царские Врата, шёпотом спросил у них:

– Зачем он меня туда водил?

– Так положено мальчикам, – ответила бабушка.

– А девочкам?– удивился Алёша.

– Девочкам – нет! – начала посуше вытирать ему голову накидкой тётя Настя.

– Почему?– ещё больше удивился Алёша.

– Ох, какой ты дотошный?! – улыбнулась бабушка. – Потому, что священником может стать только мальчик, а девочки ими не бывают. Может, и ты будешь священником.

Дома по случаю крещения Алёши снова было устроено гуляние, праздник, который так и назывался Крещение или Крестины по-бабушкиному.

Гости дарили Алёше подарки, поздравляли с крещением и его, и отца, и мать, и бабушку Устинью, и тётю Настю. Все за Алёшу радовались, что он теперь крещёный, и что его от всех

бед и несчастий, болезней и злых людей оберегает Ангел – Алексий.

Не радовалась только одна мать, никакого подарка она Алёше не подарила и даже не поздравила с крещеньем. За столом мать сидела какая-то усталая и измученная и, как будто отдельно от всех остальных гостей. Не дожидаясь перерыва в застолье, она часто выходила из-за стола, и Алёша сквозь окошко видел, что мать стоит на крыльце и курит. Ему хотелось подойти к матери, с которой он почти целый день не виделся, а был только с бабушкой, тётей Настей, да немножко, по дороге в церковь и обратно, с отцом. Алёша несколько раз порывался выскользнуть во двор, но бабушка Устинья удерживала его, тоже глядела в окошко на мать, качала головой и говорила:

– Ничего, всё пройдёт, всё образуется.

* * *

Но ничего не прошло и не образовалось. На следующий день по дороге на речку мать вместе с Алёшей зашла в сельсовет, долго звонила по телефону в Курск, на работу и ещё куда-то, кажется, своей подружке, а вечером объявила, что они уезжают.

Отец с бабушкой попробовали отговаривать её, но мать решения своего не переменила:

– Хорошего – понемножку, – собирая чемодан, сказала она. – Погуляли – и хватит!

Алёша тоже просил мать остаться. Ему так понравилось в деревне, где можно загорать и купаться на речке, ходить с отцом на рыбалку, а с бабушкой – в лес по грибы и ягоды, где был кот Трофимка, Трофим Иванович и собака Жучка, с которыми Алёша крепко-накрепко подружился.

А ещё Алёше не хотелось уезжать потому, что ему никак не снился Ангел. Каждый вечер бабушка по-прежнему сидела перед сном с Алёшей на диване, шептала «сонную» молитву, а уходя, непременно произносила прощальные свои слова:

– И пусть тебе приснятся Ангелы!

Но они всё не снились и не снились. Даже хотя бы один-единственный, его, Алёшин, Ангел – Алексий. Но и Алексий не снился.

Утром Алёша просыпался весь в слезах и говорил бабушке:

– Он не снится.

– Ничего, – утешала его та, – сегодня Алексий был у других мальчиков, которые совсем маленькие. Ты не печалься и ожидай.

Алёша терпеливо ожидал: и ещё две ночи у бабушки, и в поезде, и потом дома всё своё детство и юность, ждал на флоте в тесных отсеках подводной лодки, в студенческом общежитии, а, став врачом-хирургом, во время ночных дежурств, в клинике. Ждёт каждую ночь и сейчас, чутко прислушиваясь к тихому, сонному дыханию Лерки. Но Ангелы так ни разу ему пока и не приснились…

* * *

Крестик мать сняла с Алёши ещё в поезде. Отец пробовал было заступиться, объяснял матери точно теми же словами, которые говорила Алёше и бабушка:

– Крестик нельзя снимать, не положено.

Но мать отца не послушалась, спрятала крестик глубоко в чемодан и, указывая на Алёшу, сердито, заругалась:

– Над ним же в детском саду все потешаться будут. Ты этого хочешь?!

– Никто над ним потешаться не будет, – не сдавался отец. – Надо только детям всё объяснить по-человечески.

– Объяснить?! – ещё сильнее рассердилась мать. – Да его с этим твоим крестом заведующая на порог в детсад не пустит!

– Это не мой крест, а его, – наконец рассердился и отец, но больше с матерью спорить не стал, взобрался на верхнюю полку и вскоре уснул.

Алёше с крестиком расставаться было жалко. За эти несколько дней, что прошли после крещения, он уже успел привыкнуть к нему. Алёше нравилось, как крестик, тяжело свисая на шнурочке, бьётся о грудь, холодит её, когда Алёша бегает во дворе или в саду; а вечером, перед сном, он незаметно для бабушки брал крестик в руку, словно боялся, что ночью тот куда-нибудь исчезнет, и так и засыпал с крепко зажатым крестиком в кулачке.

Но противиться матери Алёша тоже не посмел, безропотно позволил ей снять крестик и даже не заплакал и не стал подглядывать, как мать прячет его на самое дно чемодана. Он лишь немножко посидел возле окошка, внимательно и напряжённо смотрел на бегущие там и, как будто падающие деревья и телеграфные столбы, на деревенские домики, очень похожие на до-

мик бабушки Устиньи, и ещё на заходящее далеко на горизонте солнце, которое, иногда проявляясь между деревьев и домиков, слепило Алёше глаза.

Он сидел бы, наверное, и дальше, пока солнце совсем не спрячется и не погаснет, но мать задёрнула занавеску и сказала:

– Пора спать, ночь уже!

Он и на этот раз не решился противиться матери, самостоятельно разделся, забрался под одеяло и закрыл глаза.

Мать, совсем как бабушка Устинья, присела с Алёшей рядом, взяла за руку и вдруг заплакала сама.

– Ты думаешь, я ничего не понимаю?! – совсем по-взрослому заговорила она с ним. – Я всё понимаю. Тоже ведь крещёная. Но если кто увидит на тебе крестик и узнает, что тебя крестили, то меня в эту проклятую партию не примут. И тогда будет плохо и мне, и тебе, и папе…

* * *

Мать в партию действительно не приняли. Вернее, на работе, в аптеке, приняли, а вот в райкоме её кандидатуру не утвердили. И виной тому был он, Алёша. Первые дни в садике он рассказывал детям лишь о том, как ехал с отцом и матерью в поезде, как в Большой Устиновке ходил с отцом на рыбалку (и поймал там много больших и маленьких рыб, которые называются плотвичками и краснопёрками), а с бабушкой в лес по грибы и ягоды, как почти научился плавать в реке. Но потом Алёша, забыв все наказы матери, не выдержал и стал рассказывать детям, как его крестили в церкви, как священник поливал ему на голову и плечи святую воду, стриг волосы и чертил маслом-елеем на руках и на ногах крестики. И ладно бы рассказывал Алёша обо всём этом, когда в группе была одна только воспитательница, Валентина Валентиновна, а то ведь, как на зло, в эту минуту зашла за какой-то своей надобностью заведующая. Прислушавшись к восторженному сбивчивому лепетанию Алёши, она попросила его повторить свой рассказ ещё раз и, когда Алёша повторил, заведующая строго выговорила Валентине Валентиновне:

– Ну, дожились, довоспитывались…

Откуда, из чьих уст стало известно об этом в райкоме партии, мать при всех её обширных знакомствах и связях так и не смогла узнать. То ли сообщила заведующая, хотя это было вроде бы и не в её интересах, то ли кто-то из ребят проговорился

дома родителям, и те, оберегая своих детей от дурного религиозного влияния, донесли, куда следует.

Алесей хорошо помнит, как мать, вернувшись из райкома партии вся в слезах, бросила в угол праздничную свою, выходную сумочку, с которой туда ходила, и в сердцах сказала отцу:

– Я тебе этого никогда не прощу!

И действительно не простила. С этого дня пошли у них разлады и раздоры, закончившиеся вскоре окончательным разрывом и разводом.

Правда, позже, уже в девяностых годах, мать не раз с гордостью рассказывала, что её не приняли в члены КПСС из-за того, что она осмелилась окрестить малолетнего своего сына. Теперь мать состоит в «Единой России», хотя, похоже, и «Единую Россию», и все прочие партии опять готова назвать проклятыми.

* * *

На Владимирской горке в это послеполуденное время было тихо и пустынно. Утренние посетители спустились вниз и теперь, наверное, прогуливались по Крещатику и Майдану, праздно, спасаясь о жары, заходили в церкви и соборы, изучали подземелья Киево-Печерской лавры. А вечерние (в основном молодые, влюблённые) ещё не взошли на неё, не заняли укромные и уединённые скамейки, словно специально для этого и поставленные вдоль аллей и крутого обрыва в тени густых, умеющих хранить все тайны деревьев.

Алексей выбрал себе скамейку на краю обрыва, где было и прохладно и уютно, и куда почти не долетал шум городских улиц.

Подождав, пока сердце у него после затяжного подъёма успокоится, Алексей достал мобильник и набрал телефон Лерки.

Она откликнулась мгновенно, как будто ждала и предчувствовала, что он позвонит именно в это мгновение.

– Здравствуй… – стараясь не выдать своего волнения и тревоги, тихо, почти полушёпотом сказал он, как, может быть, говорил лишь в самые лучшие мгновения своей жизни, во время первых робких ещё свиданий с Леркой.

– Здравствуй, – точно так же ответила и она, и в её голосе Алексей не услышал никакой обиды за вчерашнюю их размолвку, а лишь радость, что он наконец-то позвонил, и что всё вчерашнее осталось лишь вчерашним, прошлым и давно забытым.

– Ну, как ты там?– тоже нескрываемо радуясь, что возврата ко вчерашнему, прошлому, нет и никогда не будет, совсем уже по-домашнему, с житейским, чуточку даже будничным беспокойством спросил он. – Едешь в Петербург?

– Еду! – легко и непринуждённо отозвалась Лерка.

– А как же Митька? – всё-таки встревожился Алексей. – К родителям отведёшь?

– Им теперь не до Митьки и вообще не до нас с тобой!– озадачила его Лерка.

– Почему?

– Вера завтра приезжает!

– В отпуск, что ли? – без особого любопытства поинтересовался Алексей, представляя какие сейчас суета и тревога творятся в доме у Маргариты Александровны и Константина Игнатьевича (они всегда у них творились в канун приезда любимой благополучной дочери).

– Нет, – развеяла это его равнодушие Лерка. – Навсегда приезжает.

– Что-нибудь случилось?

– Случилось, случилось, – скороговоркой и, чувствовалось, с невесёлой улыбкой на устах ответила Ленка.

– С ней или с мужем?

– И с ней, и с мужем! – кажется, уже сама не рада, что затеяла этот длинный (и не вовремя) разговор, вздохнула Лерка. – Говорит, завёл себе какую-то черномазенькую. Верка и взъярилась.

– Ну, это всё глупости, – попробовал успокоить Лерку Алексей. – Помирятся. Им в первой, что ли?!

– Похоже, на этот раз не помирятся, – уняла его оптимизм Лерка. – Вера уже и на развод подала.

– Дура твоя Вера! – не смог сдержаться Алексей.

– Кто знает, может, и дура, – на минуту замолчала Лерка. – А может, и не совсем.

Алексей тоже немного помолчал, а потом, отстраняясь от этого действительно не совсем уместного (и не ко времени) разговора, вернулся к Митьке:

– Так с кем же остаётся Митька.

– С Тоней! – торопливо, но с каким-то нарочитым спокойствием ответила Лерка.

– С какой ещё Тоней?! – ничего не понял Алексей.

– С Тоней Черных, – ещё торопливей известила его Лерка.

– С Чер-ных?! – сам не зная, почему разделив коротенькую фамилию Тони на два слога, переспросил Алексей. – Откуда она взялась?

– Вчера, как только ты ушёл, позвонила. – Приехала в Москву на курсы повышения квалификации. Она теперь не просто Тоня, а кандидат медицинских наук, главный врач детской больницы.

Нажим этот на то, что Тоня кандидат медицинских наук Лерка даже в такие примирительно-трудные для них минуты сделала не зря. Сколько раз она (а уж её родители и тем более) говорили, чтобы Алексей защищал и кандидатскую и докторскую диссертации и не сидел в клинике рядовым хирургом под началом бездарного Вени. Алексей соглашался с Леркой, что надо, конечно, защищаться, материала у него предостаточно и на кандидатскую, и на докторскую. Но вскоре Алексей об этом разговоре забывал. К научной, исследовательской работе его не влекло и не тянуло, не чувствовал он в себе такой потребности. Алексей был практическим хирургом и, говорят, неплохим. А это, быть может, гораздо важнее любых диссертаций. За то время, которое Алексей потратит на писание авторефератов, сдачу кандидатского минимума, защиту диссертаций и всего, что с этими защитами связано, он сделает и одну, и другую, и третью, и ещё бессчётное количество операций, облегчит страдания больных людей. А, возможно, и спасёт им жизнь.

Лерка вроде бы и соглашалась со столь простыми и убедительными доводами Алексея, но потом о них тоже забывала и при первом удобном случае опять напоминала ему о защите.

Вот и сейчас не сдержалась – напомнила. Алексей сделал вид, что не понял её (или понял неправильно) и вновь вернулся к Митьке.

– А Митька как – останется с Тоней?

– Останется, – бодро ответила Лерка, ощутимо винясь перед Алексеем за болезненный для них обоих разговор о защите диссертации. Они уже успели подружиться. Кстати, – чуть приглушённо продолжила она, – а ты не хочешь сам поговорить с Тоней. Она сейчас у нас, играется с Митькой в детской.

– Нет! – после короткой растерянной паузы ответил Алексей. – Лучше, когда приеду, у меня денег на телефоне мало осталось.

– Ну, смотри, – не обратила никакого внимания на эту его паузу и растерянность Лерка.

На том их разговор о Тоне мог бы и закончиться, но Алексей, сам не зная, зачем, вдруг поинтересовался:

– Она поди сейчас не Черных? Замуж вышла, детей нарожала!

– Нет, не вышла и не нарожала, – ещё приглушённей проговорила Лерка. – Говорит, нет суженого, а за не суженого она выходить не хочет.

– Это на неё похоже, – не то сочувствуя Тоне, не то осуждая её, ответил Алексей и больше ничего о Тоне расспрашивать не стал.

Но и расставаться с Леркой на этом, в общем-то праздном разговоре о Тоне, ему не хотелось. Он минуту помедлил и вдруг сказал Лерке о том, что действительно тревожило его всю прошедшую ночь и весь день:

– Анечку Рогову завтра будут оперировать.

– Без тебя?! – зная всю историю с Анечкой, встревожилась Лерка.

– Без меня, – вздохнул Алексей. – Веня говорит, иначе её сегодня же из клиники выпишут – кому-то срочно потребовалось место.

– И кто будет оперировать? – уже не только с тревогой, но и с профессиональной присущей ей жёсткостью хирурга спросила Лерка.

– Веня, – не стал ничего скрывать Алексей.

– Веня?! – одновременно изумилась и возмутилась Лерка. – Он же погубит девчонку!

– Даст Бог, не погубит, – постарался как можно спокойней сказать Алексей.

Но Лерку остановить было уже невозможно. В любой трудной ситуации она (увы, в отличие от Алексея) мгновенно принималась действовать, а не рассуждать, причём действовать напористо и наступательно.

– Я сейчас позвоню ему! – объявила она своё решение.

– Не надо! – стараясь погасить порыв и ярость Лерки, постарался как можно спокойнее произнести Алексей. – Будет ещё хуже. Веня взбунтуется и вообще наделает глупостей.

– Он и так их наделает! – не унималась Лерка.

– И всё-таки не надо, – ещё спокойнее и тише проговорил Алексей, зная, что Лерку в минуты её порыва и ярости можно остановить только тишиной и спокойствием.

И она действительно остановилась и поддалась уговорам Алексея:

– Ну, как знаешь…

Несколько секунд они помолчали, а потом Лерка, совсем уже иным голосом и тоном сказала ему:

– Ты можешь теперь остаться до девятого дня. Мы с Тоней справимся. Ей у нас лучше, чем в общежитии.

– Посмотрю по обстоятельствам, – почему-то ревниво и уклончиво ответил Алексей, но, минуту спустя, оглянувшись по сторонам, как будто кто-то мог его подслушать здесь, на Владимирской горке, не столько сказал, сколько выдохнул в узенькую пластинку мобильного телефона. – Я соскучился…

Лерка отозвалась не сразу (похоже, и она оглянулась по сторонам, посмотрела на Тоню с Митькой – не слушают ли они её) и лишь после этого тревожно-тихо произнесла:

– Я тоже. Приезжай скорее…

– Постараюсь, – пообещал он, твёрдо решив, что действительно ни на единый лишний день в деревне не останется.

И словно в благодарность за это его решение, Лерка совсем уже ночным, почти бездыханным шёпотом проговорила:

– Целую. – И неожиданно (наверное, Тоня с Митькой всё-таки помешали ей, вспугнули её) выключила телефон.

Алексей с удивлением и обидой долго смотрел на свой издающий пронзительные отбойные гудки мобильник, а потом совершенно уверенный, что Лерка всё равно услышит его, ответил таким же ночным и бездыханным шёпотом:

– И я целую тебя…

* * *

На Владимирской горке Алексей задерживаться больше не стал. Он спрятал телефон и начал спускаться вниз, к станции метро, чтоб, возвращаясь к скорбным своим мыслям о бабушке Устинье, ехать вначале на автовокзал, а потом на летучей, почти ритуальной маршрутке дальше, в село, где бабушка уже заждалась его…

Но пока Алексей шёл к метро, пока ехал в прохладном, уже переполненном вечерними праздными пассажирами вагоне, последние слова Лерки несмолкаемо звучали и бились в нём, а её ночной воспалённый поцелуй (цену которому знал один лишь Алексей) обжигающе горел на его устах.

И вдруг на эскалаторе, непрошено вмешиваясь в их разговор с Леркой, Алексея догнало короткое, давно уже забытое им и отрешённое имя, и он почти вслух произнёс его – Тоня!

И вслед за этим Алексей обрушился на ни в чём не повинную Тоню с упрёками и обидами: зачем она приехала и, если приехала, то зачем позвонила именно им с Леркой, а не каким-нибудь иным сокурсникам, с которыми в студенческие годы была связана гораздо теснее, дружила, а после, наверное, и переписывалась?! Но, вот же, позвонила и теперь поселилась в их с Леркой квартире, играется с Митькой, ведёт с Леркой задушевные разговоры. Зачем?!

Алексей попробовал отстраниться от этого давно равнодушного для него имени, но не смог. Хрупким мотыльком-бабочкой оно билось в его голове, манило и звало в прошлое, когда они все были молодыми и безрассудными.

И всё-таки дозвалось. Алексей опять вспомнил вечер перед свадьбой, тайное их с Тоней свидание в сквере напротив общежития, её странный пророческий разговор и её единственный, первый и последний, прощальный поцелуй, возможно, тоже пророческий и не случайный. Он вспомнил его до самых мелких подробностей: дрожание Тониных губ, её горячее скуластое личико в своих ладонях, запах её волос, её плечи и руки, её дыхание – и ему показалось, что это был самый нежный и самый преданный поцелуй в его жизни, и что забыть он его не в силах, сколько бы ни старался и не уходил от него…

* * *

Ненавистное это и вместе с тем, оказывается, такое желанное воспоминание преследовало Алексея и в людской толчее по дороге от метро к автостанции, и на самой автостанции, когда он получал в камере хранения сумку, и в каком-то магазинчике-павильоне сувениров, куда он, сам не зная зачем, забрёл. Оставили они Алексея лишь на цветочном базарчике, когда он принялся выбирать для бабушки Устиньи цветы.

Вначале Алексей, как и задумывал, присматривался к букетам астр, простеньких и, как будто даже стесняющихся этой своей простоты, брал их в руки и почти готов уже был расплатиться с продавщицей, по большей части такой же простенькой и простодушной старушкой, но в последнюю минуту переменял своё решение и шёл дальше по рядам, едва ли не до слёз огорчая старушку. Объяснить это своё поведение Алексей никак не мог, он только чувствовал, что оно каким-то непонятным (почти мистическим образом) связано с Тоней, внешне по-деревенски, по-старушечьи простодушной и наивной, как бывают все про-

рицательницы и вещуньи, но внутренне, ох, какой непростой. В конце концов, Тоня и победила. Подержав в руках ещё несколько букетов астр, бесхитростно связанных в пучочки вперемешку с «шёлковой» травой, Алексей купил всё-таки не их, а громадный букет ярко-красных роз на длинных колючих стебельках, хотя и опасался, что бабушка останется ими недовольна и скажет: «Больно пышные, такие только на свадьбу дарят!»

Но что-либо переиначивать было уже поздно. Неведомо откуда вынырнув, в двух шагах от Алексея застыла юркая маршрутка-пазик, и в неё тут же начали с шумом и суетой пробиваться пассажиры.

Продавщица-цветочница, расторопная армяно-цыганского вида женщина, узнав, что Алексею нужно ехать в дальний район, а потом ещё дальше – в село, быстро и опытно сообразила (чувствовалось, что делает это она не в первый раз), как обойтись с цветами. Из большой полосатой сумки она достала двухлитровую, высоко, возле самого горлышка обрезанную полиэтиленовую бутылку из под пива, наполнила её до половины водой, тоже загодя и предусмотрительно заготовленную для подобных случаев в бидоне, и окунула туда букет. Но этого продавщице показалось мало, и она всё так же заученно и опытно обмотала цветы в несколько витков широкой лентой скотча и накрепко соединила их с бутылкой.

– Будут, как живые! – вручая Алексею довольно тяжёлую и громоздкую ношу, сказала она. – Месяц простоят – не завянут!

«Мне месяц – мало», – хотел было в тон продавщице, разоблачая её чрезмерную похвальбу, ответить Алексей, но сдержался, вдруг поймав себя на мысли, что слова продавщицы: «будут, как живые», сказанные ею в общем-то машинально, по укоренившейся торговой привычке, больно задели и ранили его…

* * *

Место в маршрутке досталось Алексею очень удобное: сразу за дверью, в первом ряду, возле окошка. Никого не стесняя, он поставил букет на пол и прижал его сумкою. Пассажиры бойко рассаживались на скрипучих стареньких сидениях, пристраивая, кто где мог, сумки, вёдра, кошёлки и внушительных размеров деревенские оклунки. Особого внимания на букет Алексея они не обращали. Лишь его сосед, утлый какой-то, щупленький старичок с самодельной подорожной палочкой в руках не выдержал и поинтересовался, указывая этой палочкой на ярко го-

рящие действительно, будто живые, розы с капельками воды на упругих лепестках:

– Жене везёшь или невесте?!

– Бабушке, – озадачил его Алексей, но всей правды не выдал, утаил её, чтоб не вводить утлого, может, тоже уже доживающего последние свои годы старичка в смущение.

– Хорошая, стало быть, бабушка, – всё равно разволновался тот и ревниво позавидовал ей.

– Хорошая! – неприметно для старичка вздохнул Алексей и потеснее прижал цветы сумкою.

Он ожидал, что разговорчивый старичок сейчас начнёт донимать его расспросами, затеет от нечего делать какую-нибудь пространную беседу. Но тот, как только маршрутка стронулась с места, сразу по-петушиному обронил голову на посошок, обмяк и глубоко с похрапыванием задремал.

Алексей попробовал последовать его примеру, прислонился к окошку и прикрыл глаза, надеясь, что сон быстро овладеет им, как всегда овладевал во время ночных дежурств в ординаторской, когда выпадала свободная минута.

Но, то ли надсадное гудение мотора и взрывное похрапывание старичка-соседа, то ли всё возрастающая тревога о теперь совсем уже скорой встрече с бабушкой, отцом, мачехой и Марьяной гнали от Алексея сладкий послеобеденный сон, заставляя бодрствовать и не расслабляться.

Помучившись ещё несколько минут в бесполезном борении с ускользающим сном, Алексей с завистью посмотрел на старичка и стал действительно бодрствовать, думать, но почему-то не о бабушке, не об отце и новой родне (наверное, боль и тревога в нём от долгого ожидания притупились), а о ночных своих попутчиках в киевском поезде: Гене-десантнике и депутате, Евгении Васильевиче. Интересно, чем они сейчас заняты, чем обеспокоены и озадачены? Гена, скорее всего, крепко выпив, безостановочно пляшет, веселит и заводит всю свадьбу или сидит в обнимку с женихом, лучшим своим другом и боевым товарищем, вспоминает войну, на которой они оба уцелели, и клянётся, что завтра же отыщет в окрестностях какую-нибудь колокольню-каланчу и совершит с неё в честь Валеры и его молодой жены затяжной прыжок с парашютом. Валера верит ему и готов сам в честь любимой своей посланной ему Богом жены прыгнуть хоть сейчас. И оба они счастливы в эту минуту и клятвенно породнённые, какими стали (и утвердились навсегда) с того момента, когда вышли живыми из тяжёлого смертельного

боя в чеченских горах и предгорьях. Но больше всего счастлива молодая жена Валеры. На войне она не была, не знает её страданий и ужасов и, наверное, пока не знает, что она послана своему молчаливому мужу, прошедшему через них, от Бога.

А Евгений Васильевич, поди, сейчас ведёт жаркие споры и настоящие сражения с младшим неукротимым братом. Никто из них не хочет уступать друг другу, каждый уверен в своей правоте; страсти с каждой минутой всё накаляются и накаляются, и Алексей почти воочию чувствует, что они могут закончиться не только взаимной, не знающей пощады враждой, но, того и гляди, взаимной братской кровью.

До каких воспалённых мыслей он мог дойти в своих воображениях, одному Богу известно, но тут случилась первая недолгая остановка: несколько человек вышло из маршрутки, несколько вошло в неё в старинном городе Козельце, родине знаменитых братьев Разумовских, которые волей случая из простых дьячков и подьячих стали: один фаворитом и, как теперь принято говорить, гражданским мужем императрицы Елизаветы Петровны, а другой – гетманом Украины.

Не менее знаменитым был и родившийся в Козельце украинский поэт Павло Тычина, о котором Алексею на флоте много и вдохновенно рассказывал сослуживец, старшина второй статьи Фёдор Дорошенко, большой любитель и знаток поэзии Тычины, особенно первой его молодой книги «Солнечные кларнеты». Фёдор часто читал на украинском певучем языке стихи Тычины. А иногда даже пробовал сопровождать их игрой на кларнете, может быть, потому, что сам был кларнетистом, выпускником черниговского музыкального училища. В подводном замкнутом мире эти стихи скрашивали и смягчали флотскую их суровую жизнь.

Алексей, бывая в Киеве, сколько раз собирался съездить в Козелец, чтоб посмотреть на дивные его церкви, на музеи братьев Разумовских и Тычины, которые там поди есть, и просто на его окрестности. Посмотреть и подивиться, что в таких вот неприметных городках творилась великая история и культура великой империи, и каждый из нас к этой истории и культуре причастен, наследник их и продолжатель, только, увы, не всегда осознаёт это или не хочет осознавать. Может, от чрезмерной своей учёности и оторванности от земли. По наблюдениям Алексея, многие сейчас не чувствует своей сопричастности с родной землёй, с её корнями, уходящими вон в какую древность. От этого, наверное, и повсеместный у нас разлад: и в державе, и

в семейной жизни, и, что самое страшное, в умах и душах человеческих (давно не звучат в них солнечные кларнеты) – тут Евгений Васильевич, рассуждающий о нравственном провале, в котором оказалась страна, конечно, прав, только жаль, что не знает, как из этого провала выбраться.

Но в Козелец Алексей так ни разу и не съездил. Не съездит он туда и теперь, хотя на обратном пути и можно было бы и съездить. Только вряд ли он на это решится… Дома Алексея ждут неотложные, срочные дела (впрочем, они всегда неотложные и срочные): Лерка, внешне вроде бы успокоившаяся, а внутренне, чувствуется, напряжённая и насторожённая; Бог знает, откуда взявшаяся и что намеренная делать (а что намерена – это точно, иначе не появилась бы) Тоня Черных; потом Анечка Рогова, судьба которой неизвестно ещё как сложится; потом самонадеянно-ущербный Веня, а там, глядишь, даст о себе знать и мать с отчимом Вячеславом и братом Вячеславом.

А ведь как хорошо было бы Алексею после прощания с бабушкой Устиньей, после похорон и, нелёгкой, наверное, встречи с отцом и его семьёй, заехать именно в Козелец – тихий исповедальный город, чтоб успокоиться там, пережить в его тишине потерю бабушки и набраться новых сил для будущей жизни. А вдруг Алексею повстречался бы там Фёдор Дорошенко (где же ему ещё и жить, как не на родине любимого поэта?!), с которым они после службы ни разу не виделись. Вот то-то была бы встреча, вот то-то было бы свидание! Поди, пожарче, чем у неразлучных десантников Гены и Витальки! Алексею с Фёдором тоже есть о чём вспомнить, всё-таки они – народ флотский, особый (да ещё подводный!), одни только походы подо льдами Арктики чего стоят! Жаль будет, если никогда не встретятся…

* * *

Старичок в маршрутке по-прежнему спал. Его не разбудили ни остановка, ни возникшая суета и гомон во время высадки-посадки. Похоже, всё это его мало уже интересовало и тревожило. Он спал, обронив голову на палочку, но Алексею показалось, что спал теперь старичок совсем не так, как прежде, не по-стариковски, тяжёлым и утомительным сном, а по-детски глубоким и сладким, и ему, наверное, ничего не снилось, как ничего не снится детям в младенческом безмятежном возрасте.

Алексей, стараясь ничем не обеспокоить старичка, не прервать его младенческий сладкий сон, прижался к окошку и попробо-

вал представить и предвидеть свой приезд в Большую Устиновку. Войдя в дом, он, наверное, вначале увидит отца, мачеху и Марьяну и лишь потом бабушку Устинью, тоже по-младенчески, словно старичок-сосед, спящую на закате солнца, хотя спать на закате (она так учила Алёшу) не полагается, нехорошо и нездорово…

Но ничего у Алексея из его намерений не получалось. Чем ближе он подъезжал к Большой Устиновке, тем она, казалось, всё дальше и дальше уходила от него, как будто между селом (между Алексеем и бабушкой) вдруг возникла непроницаемая пелена (может быть, дождевая, ливневая), сквозь которую маршрутка, сколько ни старалась, сколько ни силилась, а пробиться никак не могла. Она лишь делала вид, что мчится на предельной скорости по раскалённому за день, траурно-чёрному асфальту, а на самом деле стоит на одном месте. Алексей устал от этой её заведомо бесполезной борьбы, прикрыл глаза, чтоб не видеть ливневой всё сгущающейся пелены, и начал помимо своей воли и желания вспоминать, может быть, самые тяжёлые дни в его жизни (к счастью, Алёша тогда этого ещё не осознавал), которые наступили в Курске сразу после поспешного их, похожего на бегство, возвращения из Большой Устиновки.

Мать, кое-как пережив свою неудачу с «проклятой» партией, вскоре нашла новый мстительный повод, чтоб донимать отца, ежедневно изводить его попрёками, находя в них (не зря же ведь говорила: «Я тебе этого никогда не прощу!») немалое удовлетворение.

– Мы, что, – выбрав минуту, когда в доме был кто-нибудь посторонний из её друзей и подруг, набрасывалась она на отца, – так и будем жить в этом курятнике?! Что же твой хвалёный кум, Сенченко, не даёт нам квартиру?!

– Даст, – старясь не поддаваться матери, отвечал отец. – Осенью будут сдавать дом – и даст! Мы в очереди пятые.

– Как же, жди! – лишь сильнее заводилась та. – Даст, но не тебе! Дружков своих поселит, майоров, подполковников и полковников, а не тебя, вечного прапорщика!

Отец замолкал или вовсе, взяв Алёшу за руку, уходил с ним гулять в Первомайский сад, а однажды даже привёл его к большому кирпичному дому, в котором уже достраивался последний, девятый этаж, и сказал:

– Вот в этом доме мы будем жить! Тебе нравится?

– Нравится, – ответил Алёша и, запрокинув голову на высокий башенный кран, спросил отца. – А на каком этаже? Я хочу, чтоб выше всех!

– Это – как получится, – улыбнулся отец и усадил Алёшу себе на плечи, чтоб тому было лучше видно, как башенный кран с длинной похожей на выброшенную далеко вперёд руку стрелой поднимал сложенные на подмосте кирпичи.

Но мать оказалась права: квартиру им в этом достраивающемся доме так и не дали.

К концу лета полковника Сенченко перевели с повышением в звании и должности командиром дивизии на Дальний Восток. Он настойчиво звал с собой отца, верного своего и надёжного шофёра, а теперь ещё и вон какого близкого родственника.

– Поедем, Володя, – уговаривал он его. – Квартиру там тебе дадут сразу – это я обещаю, а здесь новое начальство всё переиначит и перестроит на свой лад. Потом – на Дальнем Востоке год службы идёт за полтора – тоже кое-что значит, через пять лет сможешь в отставку уходить. И ещё – во Владивостоке всё-таки будем жить, на берегу Тихого океана.

Отец был склонен ехать. Заманчиво ему было и квартиру сразу получить, и в запас-отставку с военной пенсией выйти поскорее, заманчиво было и на берегу Тихого океана пожить, порыбачить вместе с Алёшей в его тихих океанских водах – это тебе не Сейм с Тускарью.

Но больше всего отцу, похоже, не хотелось расставаться с полковником Сенченко (вернее, теперь уже без пяти минут генералом, поскольку командир дивизии – должность генеральская, о чём любому и каждому военному человеку хорошо известно), с которым за столько лет совместной службы сработался и сроднился. А новый командир полка поди возьмёт себе другого шофёра из солдат-срочников или привёзет с прежнего места службы своего старого, как намеревался это сделать и полковник Сенченко. При повышении так старается поступить всё начальство (хоть военное, хоть гражданское), забрать с собой самых преданных своих, годами проверенных в деле сослуживцев. Если же не удаётся забрать, то старые эти сослуживцы при новом начальнике, как правило, попадают в немилость. Слишком преданными они были прежнему своему руководителю, может, даже восторгались им (как, например, отец полковником Сенченко), а новому начальнику эти восторги ни к чему – ему надо заботиться о своём собственном авторитете.

В общем, отца, в лучшем случае, после отъезда Сенченко перевели бы в подменные шофёры к кому-нибудь из заместителей командира полка: зам. по боевой подготовке, зам. по тылу или даже зам. по строю, а в худшем – посадили бы на затёр-

ханный грузовичок при полковой кухне – хлёбовозку или водообмывщик. Тогда уж лучше добровольно уходить на гражданку и устраиваться шофёром на большегрузную машину – КАМАЗ в строительном тресте, где хорошие шофёры всегда нужны. Вот только квартиру на новом месте новому человеку придётся ждать не меньше десяти лет – это любому и каждому известно.

Мать, узнав о намерениях отца, закатила ему такой скандал, который не закатывала ещё никогда:

–Ты, что, совсем уже с ума сошёл?! Заедешь на этот гнилой Дальний Восток или на Сахалин (почему ей в голову врезался Сахалин, бог его знает) и застрянешь там навсегда. Сенченко твоему везде будет хорошо – он полковник и генерал, а ты прапорщик, сундук и макаронник – никому ты не нужен! Если хочешь, – подхватив Алёшу на руки, совсем уж сорвалась она на крик, – то отправляйся один. А мы останемся здесь, в Курске, или уедем в Пензу в Кирпичный Завод. Мои отец с матерью, нас в обиду не дадут!

И отец никуда не поехал.

Возить нового начальника, человека не в пример полковнику Сенченко, чрезмерно жёсткого и властного, ему довелось всего неделю. Будучи сам по национальности, кажется, удмурдом, тот и личного шофёра подобрал из соплеменников, молодого парня-удмурда, только что перешедшего на сверхсрочную службу, отыскав его в каком-то дальнем подразделении. У всех остальных полковых начальников: зам. по боевой подготовке, зам. по тылу, зам. по строю, не говоря уже про замполита, шофёры тоже были свои, проверенные, и менять их на отставного шофёра бывшего командира полка никто не собирался. Не нашлось отцу места ни на продуктовой хлёбовозке, ни на водообмывщике – там, опять-таки, всё было давно и прочно занято. В конце концов, его перевели в ПАРМ (передвижную авторемонтную мастерскую) старшиной, под началом которого было десятка полтора слесарей-ремонтников, по большей части таких же, как и он, опальных, а то и разжалованных за какие-нибудь провинности из сержантов и прапорщиков в рядовые.

Переводили отца вроде бы временно, но он чувствовал, что осядет в этом ПАРМе надолго. Само собой разумеется, что на старшинской (вернее, даже сержантской) слесарной должности зарплата, денежное довольствие отца заметно упало, на что мать тут же с язвительной насмешкой сказала:

– Нищие на паперти больше зарабатывают!

Отвечать отцу было нечего, кроме обещания уволиться с военной службы и найти работу на гражданке.

– А квартира?! – словно только и ожидала этого разговора мать. – Кто её тебе на гражданке даст?!

– Дадут! – не сдавался отец.

– Через двадцать лет! – закипала в ответ мать. – А жить мы где будем на твоей гражданке?! Из этого насеста, – при этом она презрительно обводила рукой её же заботами всегда чистенькую и опрятную их комнату, – нас в два счёта вытурят!

– Снимем квартиру или в строительном общежитии для малосемейных устроимся.

– И так всю жизнь будем?! По квартирам и общежитиям мытарствовать?! – готовая расплакаться, добивала отца мать.

Он угрюмо замолкал, хотя и мог бы сказать ей: «Не захотела ехать на Дальний Восток, вот теперь и маемся». Но не говорил, жалел и по-прежнему любил её.

* * *

Новый командир полка, как и предвидел полковник Сенченко, самолично пересмотрел списки всех претендентов на получения жилья, и в результате очередь отца переместилась с начала этого списка едва ли не в самый его конец, в последние строчки. Отец пробовал жаловаться замполиту, с которым по старому знакомству был в хороших отношениях. Тот обещал помочь, заступиться перед новым командиром, но всё оказалось напрасным. При очередной встрече с отцом замполит лишь развёл руками:

– С ним особенно не поспоришь!

Когда мать узнала, что их передвинули в очереди (это означало, что они могут рассчитывать на получение квартиры лишь в следующем доме, строительство которого не только ещё не начиналось, но даже и не планировалось), она несколько месяцев почти не разговаривала с отцом, а потом (Алёша очень хорошо запомнил этот день, который случился весною, кажется, в мае, потому что мать водила его в детский садик уже без курточки), придя однажды с работы, объявила ему:

– Вот что, мой дорогой и любимый генерал (в особо скандальные минуты, она, насмешничая, называла отца генералом). Помаялись мы с тобой – и хватит. Я выхожу замуж!

Отец, по всему было видно, давно ожидавший подобного разговора, ничего матери не ответил. Он вынул из-под кровати

свой походный, «тревожный» чемоданчик, положил туда какие-то документы, бритвенный прибор и маленькую Алёшину фотографию, которая висела на стене.

– Ты в командировку? – подбежал к нему Алёша, мало чего, конечно, понявший в разговоре отца с матерью.

– В командировку, – подхватил его на руки и прижал к себе отец.

– А что привезёшь?– крепко обнимая его за плечи, как всегда спросил Алёша.

– А что ты хочешь? – тоже как всегда поинтересовался отец.

Алёша на минуту задумался, оглянулся на большой картонный ящик, доверху заваленный игрушками, и вдруг сказал отцу:

– Ничего не хочу…

Мать почему-то заплакала и начала отнимать у отца Алёшу. Тот не сопротивлялся, не удерживал его, а лишь прижался к его щеке своей, колючей, пахнущей машиной (так Алёше всегда казалось) и передал его матери.

Та заплакала ещё сильнее, но отца не остановила и ничего больше не сказала ему на прощанье.

Алёша, высвободившись из рук матери, подбежал к окну, взобрался на табурет и долго смотрел, как отец идёт вначале по двору, а потом по улице. Идёт, правда, как-то странно, совсем не так, как ходил прежде, уезжая в командировку. Обычно он шёл очень быстро (особенно, если посыльный поднимал его по тревоге), иногда почти переходя на бег, широко вскидывая в такт быстрому этому шагу и бегу чемоданчиком. А сейчас отец шёл медленно и трудно, как будто на ногах у него были очень тяжёлые, неподъёмные сапоги, и ни разу не вскинул жёстко прижатого к бедру чемоданчика.

На повороте улицы отец оглянулся и, увидев Алёшу в окне, несколько раз помахал ему рукой, как обычно и махал, прежде чем исчезнуть за поворотом. Алёша тоже по привычке хотел помахать ему в ответ, но мать вдруг резко задёрнула занавеску и велела Алёше слезать с табурета – не хватает только, чтоб он упал и расшибся.

Алёша мать послушался, начал слезать, но когда она отвернулась, он приоткрыл занавеску, чтоб посмотреть стоит ещё отец на углу улицы или нет. Отец стоял, но помахать ему рукой Алёша опять не успел. Мать заметила его тайные подглядывания и прикрикнула:

– Я кому сказала!

Но сама она тоже выглянула на мгновение за занавеску, пристально посмотрела на улицу, как будто хотела узнать,

что интересное увидел там Алёша. А когда отошла от окна и позвала Алёшу ужинать, то неожиданно сказала ему про отца:

– Он скоро вернётся…

* * *

Но отец не вернулся, и Алексей не видел его более десяти лет, пока однажды, уже во время своих пэтэушных каникул тайком от матери не съездил к нему и бабушке Устинье в Большую Устиновку.

Зато вместо отца в их казарменной комнате стал появляться Иосиф Арсеньевич. Мать в такие дни рано укладывала Алёшу спать за ширмой, которую устроил ещё отец, а сами они с Иосифом Арсеньевичем долго сидели за столом, пили вино и водку и о чём-то полушёпотом разговаривали.

Под этот их шёпот, иногда прерываемый заливистым смехом матери и глухим погогатыванием Иосифа Арсеньевича Алёша и засыпал. Когда же мать будила его утром, чтоб вести в садик, Алёша обнаруживал, что Иосиф Арсеньевич домой, оказывается, не ушёл, а стоял возле зеркала и брился, только не так, как отец, маленькой блестящей бритвой на тоненькой ножке, которая называется безопасной, а электрической, которая громко, будто шмель иди пчела жужжала.

– Ты почему не здороваешься с дядей Иосифом?! – строго спрашивала Алёшу мать, когда он появлялся из-за ширмы.

– Здрасте! – робко говорил Алёша, но близко к Иосифу Арсеньевичу не подходил, хотя тот всегда и протягивал ему руку, чтоб поздороваться по-настоящему, как здороваются взрослые мужчины.

Но именно этой руки Алёша больше всего робел и боялся: в ладони она была короткопалой и очень толстой, будто опухшей, а от запястья и до самого плеча (и плечи тоже) по-медвежьи заросшая густыми рыжеватыми волосами.

– Ничего, привыкнет, – успокаивала Иосифа Арсеньевича мать, когда тот, не дождавшись Алёшиной хрупкой с длинными гибкими пальцами ладошки (мать, глядя на эти его пальчики, не раз предсказывала: «Быть ему хирургом», а отец, возражая ей, говорил: «Лучше бы музыкантом, пианистом или скрипачом»), угрюмо отворачивался к зеркалу и продолжал бриться с особой какой-то тщательностью и вниманием, туго натягивая на толстых щеках сиренево-красную кожу.

Потом, наскоро попив чаю, Иосиф Арсеньевич уходил. Правда, всегда с какой-то непонятной Алёше тайной предосторожностью. С увесистым портфелем в руке он застывал на изготовку возле двери. Мать чуть приоткрывала её, выглядывала в коридор и, удостоверившись, что там никого нет, подавала Иосифу Арсеньевичу знак:

– Давай!

Тот торопливо чмокал мать в щёку, пониже надвигал на лоб шляпу и, переваливаясь, будто Винни-Пух со стороны на сторону, неожиданно проворным шагом в несколько секунд одолевал коридор. На улице он на их дом-казарму и на их окошко никогда не оглядывался, а ещё более проворным шагом перебегал асфальт и скрывался в зарослях колючей жёлтой акации, которая росла вдоль дороги.

Мать, наблюдая в окошко за всеми этими смешными похожими на детскую игру в догонялки перебежками Иосифа Арсеньевича, весело усмехалась и начинала собирать Алёшу в детский садик. Он, как мог, помогал ей: самостоятельно надевал рубашку и курточку, обувал ботинки – матери оставалось лишь завязать шнурки да застегнуть на курточке молнии.

– Молодец! – всегда хвалила она Алёшу за такую самостоятельность.

Он радовался материной похвале, брал её за руку, и они, никого не таясь и ни от кого не скрываясь, выходили из дому. Рука у матери была тёплой, сильной и очень красивой: с длинными похожими на совочки-лопаточки ногтями, иногда покрашенными красным, а иногда перламутровым лаком. На многих пальцах у матери были перстни и колечки, золотые и серебряные с разноцветными (мать говорила – очень дорогими) камушками. Алёше больше всего нравилось золотое тоненькое колечко, которое словно пряталось на безымянном пальце правой материной руки под жёлто-горячим янтарным перстеньком.

Ещё с самых первых дней, когда Алёша только начал ходить в садик, он очень любил по дороге потихоньку вертеть это колечко, а чтоб мать не ругалась за баловство, спрашивал:

– А почему безымянный палец называется безымянным?

– Потому что у него нет имени, – не очень задумываясь над Алёшиным вопросом, отвечала мать (некогда ей было в утренней спешке задумываться над подобными вопросами) и покрепче сжимала Алёшину руку, будто специально затем, чтоб колечко застопорилось и не могло сдвинуться с места.

– Как это – нет?! – всё-таки пробовал провернуть его Алёша. – А «безымянный»?

– Ну, ты у меня и дока, – начинала смеяться мать и ослабляла руку, чтоб Алёша опять мог играться с колечком.

Вечером мать, восхищаясь Алёшей, любила пересказывать этот разговор отцу. Тот тоже смеялся, подбрасывал Алёшу к самому потолку и говорил о нём матери:

– Весь в тебя!

– Да уж не в тебя! – горделиво отвечала мать. – Он наш, пензенский кирпично-заводской, поселковый!

– Вырастет, – в последний раз подбросив Алёшу, говорил отец, – посмотрим…

– Ну-ну, – как-то чуточку обидно произносила мать и звала их с отцом ужинать: – Садитесь за стол, деревенские!

* * *

Но вскоре после того, как отец уехал, Алёша вдруг обнаружил, что тоненького золотого колечка на безымянном пальце у матери нет, и там, занимая его место, очень туго (ни за что не провернёшь) возвышался один лишь жёлто-горячий янтарный перстенёк.

– А где колечко?– с удивлением и даже немного с испугом спросил Алёша.

– Потерялось, – мимоходом ответила мать и вместо правой подала ему левую руку, на которой перстеньки тоже были, а колечка не было никогда.

– Я знаю, где оно потерялось, – немного подумав, сказал Алёша.

– Где? – изумилась его словам и даже остановилась посреди тротуара мать, хотя они в тот день и опаздывали – Алёша в детский садик, а мать на работу, в аптеку.

– В щёлочке за телевизором, – ответил Алёша, хорошо изучивший во время своих игр все щёлочки и трещины на их дощатом рассохшемся полу. – Надо поискать.

– Поищи! – легко разрешила ему мать, хотя обычно не очень любила, когда Алёша, играясь, разбрасывал на полу игрушки, книги, сдвигал с места коврики, стулья и табуреты, и тем более не любила и не позволяла залезать ему под телевизор и стоявший рядом с ним маленький журнальный столик. А теперь вот разрешила…

И Алёша, едва вернувшись из садика, принялся за поиски. Он самым тщательным образом исследовал вначале большую длинную щёлочку под телевизором, приспособив для этого черенок ложки, потом чуть поменьше, вдоль плинтусов, заглянул под диван и под свою кроватку за ширмой – но колечка нигде не было.

– Невелика потеря, – наблюдая за его поисками, сказала мать. – Я другое себе куплю.

– Золотое?– вспоминая утерянное колечко, – спросил её Алёша.

– Серебряное! – почему-то засмеялась мать, и опять обозвала Алёшу докой. – Всё-то тебе надо знать!

Но ни золотого, ни серебряного колечка мать себе всё не покупала и не покупала (может, денег у неё не было или никак не находилось нужного размера), и место его на её безымянном пальце рядом с янтарным перстеньком оставалось свободным – от колечка лишь сохранилась небольшая почему-то всегда казавшаяся Алёше холодной ямочка.

Но зато вскоре на запястье левой руки у матери появился золотой браслет в виде змейки, которая трижды опоясывала это запястье и угрожающе приподнимала над ним голову.

– Нравится? – любуясь браслетом, спрашивала у Алёши мать. – Это мне Иосиф Арсеньевич подарил.

– Нравится, – обманывал Алёша мать, но вовсе не потому, что боялся змейки, которая, того и гляди, выпустит жало и укусит, а потому, что браслет Алёше на самом деле совсем не нравился. Рука у матери с этим блескучим и скользким браслетом на запястье становилась тяжёлой и негибкой, и Алёша старался никогда не браться за неё.

Каждое утро, расставаясь с матерью в садике, он с опаской смотрел на извивающуюся змейку (воспитательница и нянечка тоже исподтишка посматривали на неё с любопытством и удивлением, как будто спрашивали, откуда у рядовой аптекарши такое богатство), и задавал матери всегда один и тот же вопрос, который привык задавать всегда с самого первого своего детсадовского дня:

– Меня кто сегодня заберёт: ты или папа?

– Я, – торопливо отвечала мать, стараясь увести Алёшу подальше от воспитательницы, нянечки и других родителей.

– А папа?– продолжал громко допрашивать её действительно чрезмерно дотошный Алёша.

– Он в командировке, – раздражаясь его назойливым допросом-приставанием, отвечала мать. – Ты же знаешь…

– А когда он приедет? – не отставал от неё Алёша.

– Скоро! – поблёскивая на запястье чешуйчатой змейкой, подталкивала его в группу мать, лишь бы поскорее избавиться от его настырных, будто специально (понарошку) заданных на виду у воспитательницы с нянечкой и родителей вопросов.

Алёша, запоминая этот материн ответ, обещание, уходил в группу и начинал ждать отца. Особенно он ждал его во время сна. Обманывая воспитательницу, Алёша, пока она была в спальной комнате, крепко закрывал глаза и притворялся спящим, но, как только воспитательница уходила, открывал их и безотрывно смотрел на дверь, боясь пропустить мгновение, когда отец появится и скомандует ему, как военный человек военному: «Подъём!». Он всегда так командовал, забирая Алёшу из садика раньше всех остальных детей.

Но отец всё не появлялся и не появлялся, и вечером Алёшу забирала мать. Иногда одна (и в такие дни позже всех, когда в группе никого, кроме Алёши, уже не было), а иногда вдвоём с Иосифом Арсеньевичем. Правда, Иосиф Арсеньевич в садик не заходил, а ждал их в машине в условленном месте, за скверико м (у него была машина – новенькие матово-белого цвета «Жигули»). К общежитию, к его заросшему сиренью подъезду он тоже их с матерью никогда не подвозил, а высаживал за целый квартал, и оттуда они шли уже пешком, теряясь в толпе других мам и пап, военных и гражданских.

В доме Иосиф Арсеньевич появлялся через полчаса, ставил в углу, за дверью коричневый кожаный «дипломат» и тяжёлую сумку с продуктами, вином и водкой. Потом он переодевался в спортивный костюм и садился в кресло смотреть телевизор, пока мама готовила ужин. Алёша в это время прятался за ширмой, хотя Иосиф Арсеньевич и звал его к себе:

– Иди сюда, я включу мультики – «Простоквашино»!

Но Алёша упрямо не шёл, а продолжал играть в «тихие» игры (так их называла мать): рассматривал книжки с картинками или складывал кубики, которые ему однажды привёз из командировки папа.

– Подойди! – пробовала приказывать Алёше и мать. – Что ты такой бука?!

Но Алёша не шёл к Иосифу Арсеньевичу и после приказания матери. Оставив книги и кубики, он брал в руки подаренную отцом саблю и рубил ею врагов.

– Ничего, привыкнет, – повторял излюбленную материну фразу Иосиф Арсеньевич и, выключив телевизор, пересаживался за обеденный стол.

* * *

Так они после отъезда отца жили, наверное, месяца три. Иосиф Арсеньевич то скрытно появлялся в их казарменной комнате и оставался ночевать, то исчезал на несколько недель. Мать в такие дни была непривычно молчаливой и непривычно ласковой с Алёшей, забирала его из садика иногда даже до сна и водила гулять в Первомайский сад, куда они раньше ходили обычно с отцом. Дома, накормив Алёшу, мать, отправляла его за ширму, а сама долго сидела возле окошка, пила в одиночку водку и много курила в приоткрытую форточку.

Закончилось всё это тем, что однажды, когда Иосиф Арсеньевич опять, как ни в чём не бывало, появился в их доме и, переодевшись в спортивный костюм, уселся в кресло, чтоб смотреть телевизор, мать ужин готовить не стала, а, приказав Алёше уйти за ширму, тоже села в кресло, которое стояло рядом и в котором раньше всегда любил смотреть телевизор отец (оно так и называлось у них – «папино кресло») и спросила:

– Вот что, Сосо, (мать любила в весёлые минуты называть Иосифа Арсеньевича на грузинский манер – Сосо), ты мужчина или не мужчина?!

– Мужчина! – весь вспыхнул и даже вскочил из кресла Иосиф Арсеньевич.

– Ну, а коль мужчина, – не дала ему пуститься в долгие рассуждения мать (а Иосиф Арсеньевич их очень любил), – то решайся – женишься ты на мне или не женишься?! Мне нужен не любовник, а муж! А сыну моему нужен отец.

– Но ты же знаешь мои обстоятельства! – опять упал в кресло и как-то мгновенно потух Иосиф Арсеньевич.

– Знаю! – жёстко ответила мать. – Но я ведь решилась – развелась со своим генералом.

– Тебе легче, – вздохнул и встревожено посмотрел на ширму, из-за которой, нарушая строгое приказание матери, выглядывал Алёша. – У тебя один ребёнок, а у меня трое. А потом – Сильва… Она уже ходила в райком партии. И там грозятся объявить мне партийный выговор и выгнать с должности заведующего. Надо подождать.

– Ничего я больше ждать не буду, – не поддалась на его уговоры и жалобы мать. – Меня твоя Сильва мало интересует, хотя, конечно, она и несчастная женщина, и я бы на её месте тоже пошла и в райком, и в обком, и к самому чёрту-дьяволу. Но если ты мужчина, то решайся: я или аптека и Сильва с тремя детьми!..

* * *

Иосиф Арсеньевич, Сосо, выбрал аптеку и жену Сильву с тремя детьми. Правда, ненадолго. Через полгода, а то, может, и раньше, на него завели уголовное дело за какие–то махинации и перепродажу дорогостоящих дефицитных лекарств. По этому делу не раз вызывали в прокуратуру к следователям и мать, но к её рукам, кроме золотого браслета-змейки ничего не прилипло, и мать проходила по делу лишь свидетелем.

В последний раз Алёша видел Иосифа Арсеньевича за несколько дней до ареста. Тот прибежал к ним в дом и, не обращая никакого внимания на Алёшу, стал слёзно и унизительно просить мать:

– Верни браслет. Мне нужны деньги! Большие деньги.

– Думаешь, откупишься?! – не медля ни минуты, отдала ему браслет мать.

– Думаю, – пряча браслет в кожаный свой, ставший вдруг каким-то затёрханным и мятым дипломат, скороговоркою ответил Иосиф Арсеньевич и поспешил к выходу.

Но мать всё-таки задержала его на несколько минут.

– Не печалься, Сосо, – ласково сказала она ему. – Тебе посидеть не помешает, опыта наберёшься, поумнеешь, – и совсем уже прощаясь, добавила: – Если попадёшь под Пензу, в Кирпичный Завод, я помогу, у меня там есть знакомые.

Иосиф Арсеньевич ничего на это не ответил, по-медвежьи зажал дипломат под мышкой и исчез.

Дали ему восемь лет с конфискацией имущества. Попал Иосиф Арсеньевич в Кирпичный Завод или определили ему какое-нибудь иное более сносное место, Алексей так и не узнал, да, в общем-то, не особенно и интересовался его судьбою. Мать тоже об Иосифе Арсеньевиче никогда больше в жизни не заговаривала.

* * *

Устав от своих непрошенных, да и мало желанных воспоминаний, Алексей несколько раз склонялся над букетом роз, поправлял его и обследовал, не проливается ли из пластмассовой вазы-бутылки вода, не увядают ли стянутые тонюсенькими резинками бутоны. Исподтишка он поглядывал на старика-соседа, который всё так же безмятежно по-младенчески спал. Алексею хотелось разбудить его и затеять какую-нибудь дорожную беседу, расспросить попутчика, из каких он мест родом (не земляк ли бабушки Устиньи?), куда и зачем едет? Старик, поди, разохотился бы на разговор, рассказал бы Алексею много интересного и поучительного из своей долгой жизни – и за этим разговором остаток дороги они скоротали бы легко и незаметно. То вдруг Алексею хотелось ещё раз позвонить Лерке, и вовсе не затем, чтоб узнать какие-то новые подробности сегодняшнего её прожитого без Алексея дня, а просто затем, что услышать её голос, её дыхание и удостовериться, что оно ровное и чистое, и что Лерка, действительно, соскучилась по Алексею так же сильно, как он соскучился по ней.

С розами всё было вроде бы в порядке: вода из бутылки, замотанной скотчем, не расплескалась, бутоны не помялись и не завяли – стояли свежими и благоуханными, как будто их только что срезали с грядки. Переживать и тревожиться за них Алексею совершенно не стоит: они такими и доедут до Большой Устиновки, такими будут лежать у ног бабушки Устиньи и всю ночь, и весь завтрашний похоронный день.

Оставив в покое розы, Алексей, словно невзначай, случайно всё-таки прикоснулся плечом и локтем к старику-попутчику, но тут же и отстранился от него, теперь уже боясь, что старичок действительно вдруг проснётся. А ведь ему, небось, снится сейчас какой-нибудь тревожно-радостный сон. Может, видит старичок себя в этом сне молодым и сильным в родительском своём доме рядом с отцом и матерью, братьями и сёстрами и совсем юной, только что приведённой в дом женой. Или и того отрадней: видит он себя совсем мальчишкой, который ранним майским утром сидит на лавочке, щурится от яркого встречного солнца, наблюдает за полётом длиннохвостых деревенских ласточек, занятых строительством под стрёхой глинобитного своего домика, и мечтает о том, как вырастет и уедет куда-нибудь в далёкие неизведанные края. И как же жаль прерывать этот сон старика, эти его мечтания и надежды, которым суждено, может быть, лишь во сне и осуществиться.

И тем более не решился Алексей позвонить Лерке. Вернее, решился и даже достал из кармана телефон. Но потом спрятал его обратно. Ведь, если Лерка откликнется на звонок, то Алексею одного только её дыхания покажется мало, и он непременно начнёт о чём-нибудь расспрашивать её, что-нибудь говорить (и она сразу догадается, что звонит он не ради этого разговора, а лишь ради того, чтоб просто услышать её, и сама начнёт говорить так же бессвязно и случайно, особенно если рядом окажется Тоня, чтоб услышать его и как можно дольше не отпускать). Малопонятный, бессвязный их разговор сразу привлечёт в маршрутке внимание пассажиров, разбудит старичка, а в Москве привлечёт внимание ревнивой Тони – разговор сломается, скомкается, и им с Леркой станет от него плохо и больно.

Не удалось Алексею позвонить Лерке и на остановках. Они были нечастыми и совсем коротенькими, всего на пять-шесть минут, и затевать его не было никакого смысла.

Так Алексей и доехал до самого Чернигова…

* * *

После развода матери с отцом и исчезнувшего Иосифа Арсеньевича, долго им в общежитии-казарме жить не разрешили. Действительно мать теперь никакого отношения к армии не имела (бывшая жена бывшего прапорщика – и только). Бдительные полковые тыловики это быстро обнаружили, и вскоре к ним в комнату заявился суровый, несговорчивый комендант общежития и передал предписание-приказ вышестоящего начальства, согласно которому мать с Алёшей должны были освободить занимаемое им помещение, жилплощадь, в течение десяти дней. И сколько мать ни просила коменданта, сколько не обольщала его выставленной на стол бутылкой водки, а никакого послабления, никакой отсрочки добиться не могла.

– Не в моей власти, – словно заведённый, твердил одну и ту же фразу комендант, хотя от водки и не отказался, пил её исправно, закусывал тоже исправно и охотно и без лишних приглашений со стороны хозяйки, и, похоже, готов был так сидеть до позднего вечера. Мать с большими трудами вытурила его из комнаты совсем осоловевшего и обмякшего.

– Ишь ты, чего захотел! – сказала она вдогонку коменданту непонятную Алёше фразу. – Думает, если разведёнка, так всё и можно. Да я лучше под забором жить буду, чем с тобой якшаться. Подавись ты своей казармой!

Но деваться матери было некуда: охотников-очередников на эту казарму в списках коменданта значилось немало. Все отведённые ей на выселение десять дней, мать отпрашивалась с работы пораньше, забирала из садика Алёшу, и они до самой темноты бродили по низовым застроенным частными домами улочкам, надеясь снять какое-нибудь жильё. Но никто ничего им сдавать не хотел. И в основном из-за Алёши. Мать одну на квартиру, наверное, взяли бы, особенно, узнав, что она работает в аптеке. Но с малым, детсадовского возраста ребёнком брать не хотели: ребёнок, поди, капризный, балованный, будет плакать, нарушать и днём, и ночью покой хозяев, пообборвёт и изрисует все обои (детей в таком возрасте хлебом не корми, дай исчертить, испоганить обои карандашом или ручкой). И сколько мать ни доказывала, что Алёша парень смирный и послушный, воспитанный в строгости, ей верить не хотели и сдавать комнату решительно отказывались, предпочитая студентов-одиночек, с которыми забот мало: они, считай, только на ночь и появляются в доме, а всё остальное время пребывают либо в институте, на занятиях, либо в библиотеках-читальнях, готовятся к экзаменам и зачётам, либо ходят в кино и театры.

Повезло матери с Алёшей в последний день перед их изгнанием из офицерского общежития. На улице Пионеров, куда они уже без всяких надежд забрели, возвращаясь из низовых предместий, одна женщина возле водопроводной колонки подсказала им, что вроде бы в начале улицы, в старинном кирпичном доме сдают флигель. Мать с Алёшей постучались в этот дом. Им открыла калитку древняя старуха в мужском железнодорожном пиджаке-кителе и широкополой украшенной перьями дамской шляпе, когда-то, чувствуется, модной и роскошной, а теперь донельзя заношенной и вылинявшей. Узнав от матери, чего она хочет, старуха заговорила с ней на каком-то странном языке, путая русские слова с иностранными, кажется, французскими, немецкими и английскими. Из всей этой смеси мать с трудом поняла, что флигель действительно сдаётся (со старухой, как после выяснится, жила ещё и дочь, тоже почти уже старуха, к тому же как бы немного повреждённая умом), но только хорошим и воспитанным людям.

Мать немедленно заверила старуху, что они с Алёшей люди и хорошие, и воспитанные.

Флигель стоял в глубине двора, в окружении полувысохшего сада и непроходимых зарослей крапивы и чистотела. Пока старуха вела к нему мать и Алёшу, она успела рассказать им всю

историю и своего семейства, и дома, и флигеля с садом. Муж старухи ещё до революции был известным инженером-путейцем, занимал крупную должность на Курской железной дороге. После революции его оставили, считай, в прежнем начальственном месте (большевикам хорошие специалисты тоже были нужны). Сама же старуха из дворянского сословия, заканчивала в Санкт-Петербурге Бестужевский институт, увлекалась литературой, была знакома (и даже немножко влюблена) с Блоком. Из иностранных языков ей больше всего нравится немецкий, а вот английский не нравится – он для неё тяжеловатый и громоздкий.

Усадьба инженера-путейца и выпускницы Бестужевского института была когда-то, судя по всему, очень богатой: кирпичный, основательный дом на пять комнат, флигель, сад, множество хозяйственных построек, сараев, погребов. Но теперь всё это состарилось, обветшало, как состарилась и обветшала хозяйка дома и её модная во времена Блока шляпка.

Флигель состоял из двух проходных комнат, кухоньки и примыкавшего к ней дощатого коридорчика, в прежние, дореволюционные годы неизвестно для чего предназначавшийся, а нынче превращённый в древесно-угольный сарайчик. Отопление во флигеле было печным, и в зимнюю пору коридорчик этот облегчал участь жильцов: им не надо было ходить за дровами и углём по снежным сугробам в настоящий угольный сарай (теперь, правда, почти полностью разрушенный, с прохудившейся крышей и выбитыми стёклами), стоявший в дальнем углу двора. Печек во флигеле было две: одна голландская изразцовая обогревавшая сразу обе комнаты, а другая – на кухне – обыкновенная, не очень умело сложенная печка-лежанка с чугунной двухконфорочной плитой наверху.

Во флигеле, судя по всему, давно никто не жил, и он был до крайности запущен: потолки не белились, наверное, лет десять и превратились из белых в фиолетово-серые; дорогие когда-то, красные, в россыпи крупных роз, обои отстали от стен, и по ночам за ними бегали мыши; полы в нескольких местах прогнили и были кое-как забиты вспухшей от сырости фанерой.

Но мать не пугали ни печное отопление, ни отставшие обои (прибежище мышей), ни прогнившие полы. В детстве своём, в Кирпичном Заводе она видела и переживала ещё и не такое. Главное, у них с Алёшей была теперь крыша над головой, а всё остальное – дело поправимое.

Мать быстро сошлась с хозяйкой дома в цене, и на следующий день они с Алёшей уже переселились в новое своё жи-

лище. Общими усилиями (Алёша, сколько мог и умел, помогал матери) они привели его в божеский вид: побелили потолки и печку-плиту на кухне, вымыли, выскоблили полы, повесили на окнах шторы и зажили отдельной самостоятельной жизнью, без докучливых соседей, с которыми мать в общежитии-казарме, случалось, иногда и скандалила.

Со старухой же и её слабеющей умом дочерью мать в два-три дня нашла общий язык, поладила и вскоре уже оставляла под их присмотром Алёшу, когда её нужно было куда-нибудь отлучиться. Алёше в хозяйском доме очень понравилось. Во-первых, там было много комнат, в которых ему старуха, Анна Всеволодовна, и её бездетная дочь, Анна Сергеевна, позволяли беспрепятственно играть, рассматривать в русских и иностранных книжках картинки, а в альбомах – фотографии, брать в руки чертёжные инструменты давно умершего хозяина дома, Сергея Юрьевича Старосельского: циркули, линейки, треугольники и даже карманные часы, которые, правда, были сломаны и не шли. Во-вторых, в хозяйском доме Алёша в зимнюю пору отогревался, поскольку там было паровое отопление (сохранились в доме и голландские изразцовые печки, которые в особенно сильные морозы протапливались дровами и углём); а ещё в доме был водопровод с латунно-медными краниками на кухне и настоящая ванна. Горячая вода в ней согревалась в высокой чёрной печке-трубе, которая называлась титаном. Мать договорилась с Анной Всеволодовной и Анной Сергеевной, и те разрешили им по субботам мыться в этой ванне. А в офицерском общежитии Алёша либо ходил вместе с отцом в баню, либо мать мыла его в обыкновенном тазике. В ответ на разрешение пользоваться ванной мать напросилась мыть в хозяйских комнатах полы, чистить водопроводные краники, чтоб они ярко, будто позолоченные, блестели (а до этого краники были тёмными и позеленевшими), и в мороз, когда надобилось, протапливать печки-голландки.

И, в-третьих, Анна Всеволодовна принялась обучать Алёшу иностранным языкам, и прежде всего – немецкому, так ею любимому. Причём обучала она Алёшу совсем не по-школьному, не заставляла запоминать никаких правил (это после, в школе он научится всяким правилам: аористам, перфектам и плюскуамперфектам), она просто разговаривала с ним на немецком языке, называла по-немецки все предметы, которые были в доме, и Алёша вскоре стал не только понимать Анну Всеволодовну, но и вполне сносно произносить немецкие фразы.

Не отставала от Анны Всеволодовны и Анна Сергеевна. Она вызвалась давать Алёше уроки рисования и черчения и обучать его игре на пианино. (Мать в Большой Устиновке, словно в воду глядела, предсказывая, что будет он учиться игре не на гармошке, а на пианино). По примеру Сергея Юрьевича, Анна Сергеевна тоже была инженером, правда, не путейцем, а строителем и раньше, до своей болезни работала в каком-то проектном институте. Заниматься с Анной Сергеевной Алёше нравилось даже больше, чем с Анной Всеволодовной – она была очень ласкова и внимательна к нему, да и сами предметы, рисование, черчение и музыка, нравились Алёше больше, чем всё-таки трудный для его возраста немецкий язык. К тому же Анна Сергеевна по мягкости своего характера позволяла Алёше во время занятий много вольностей, и занятия эти постепенно превращались в самую обыкновенную детскую игру, одинаково интересную и для ученика, и для учительницы, которая подчас становилась, будто ровесницей Алёши.

Подружившись с Анной Всеволодовной и Анной Сергеевной, мать несколько раз заговаривала с ними, нельзя ли вместо флигеля снять у них одну из пустующих комнат. Но те неизменно, хотя и с вежливыми, застенчивыми извинениями, отказывали ей. Мать долго не могла понять и сообразить, в чём тут дело. Но постепенно, присматриваясь к жизни, поведению и привычкам хозяек, наконец, поняла (после, уже в школьном возрасте, поймёт и Алёша). Ещё с дореволюционных, да и послереволюционных времён, когда Сергей Юрьевич продолжал занимать высокую руководящую должность на железной дороге, они привыкли осознавать себя людьми избранными и, несмотря на всю свою образованность и интеллигентность, чётко разделяли людей по сословиям и положению в обществе. У них всегда была прислуга: кухарка, няня в детские годы маленькой Ани, дворник (он же истопник и чёрный работник по дому), был даже приходящий садовник. Вся эта прислуга хорошо оплачивалась и опекалась хозяевами, но место своё обязана была знать и, конечно же, знала, и вникать, а тем более как-нибудь осложнять хозяйскую жизнь не смела. Теперь, разумеется, у Анны Всеволодовны и Анны Сергеевны никакой прислуги не было. Дом их, флигель и сад потому и пришли в такое запустение, что обе хозяйки обслуживать сами себя не умели, но привычка осознавать себя избранными осталась навсегда, и они никому не могли позволить нарушить эти священные чувства, которые воспитывались у их предков веками.

Догадавшись, почему и отчего Анна Всеволодовна и Анна Сергеевна не пускают их, квартирантов, в тёплый, с паровым отоплением, водопроводом и ванной дом, мать на старушек не обиделась, хотя иной раз, замерзая в не протопленном флигеле (протапливали они его лишь поздно вечером, когда возвращались домой), она с досадой кивала в сторону хозяйского дома:

– Ишь, баре! – И грозилась с флигеля съехать, найти жильё более подходящее, по крайней мере, с центральным отоплением, а не с печками-лежанками, пусть даже они и изразцовые.

В сердцах мать сгоряча действительно пыталась несколько раз искать какое-нибудь иное жильё, но их опять никто брать на квартиру не хотел. Правда, тут была виновата и сама мать. Она спохватывалась насчёт жилья не летом, когда студенты разъезжались на каникулы, или, окончив институт, съезжали с квартир навсегда, и матери можно было попытать счастья, а осенью с наступлением первых холодов и отопительного сезона. Но в летние месяцы мать о переселении не думала и не вспоминала. В тридцатиградусную суховейную жару во флигеле всегда было прохладно и свежо. Он затем, наверное, и строился у зажиточных, дворянского происхождения горожан, чтоб переживать в нём эту непереносимую в душном доме жару.

В общем, никуда они с матерью из флигеля, в который поселялись временно, лишь бы иметь на первое время крышу над головой, так и не переехали. В нём прошли и два последних детсадовских Алёшиных года, и восемь лет учёбы в школе номер двадцать пять; здесь он подружился с отчаянными уличными ребятами, совершавшими набеги на низовые сады и огороды (и сам, к удивлению матери, был не менее отчаянным и ловким в этих набегах), отсюда в пятнадцать лет он и сбежал в Ленинград, в профтехучилище, как когда-то мать сбежала из Кирпичного Завода в Курск.

Однокомнатную квартиру мать получила уже без Алексея. Без Алексея, счастливо разбогатев в девяностых годах, построила она и коттедж-усадьбу, в котором, кстати, Алексей так ни разу и не был.

Общалась ли мать как-нибудь с отцом и бабушкой Устиньей после развода, Алёша толком не знал. Он лишь видел, что раз в месяц к ним приходили от отца денежные переводы, которые мать называла алиментами. Получая их, она с нескрываемой насмешкой говорила Алёше об отце:

– Ну, раскошелился, колхозник! Теперь мы с тобой загуляем.

Что такое «раскошелился», Алёша не понимал, не понимал он и того, почему мать называет теперь отца «колхозником», когда он военный шофёр-прапорщик. Но расспрашивать обо всём этом мать Алёша побаивался, да она и вряд ли стала бы ему что-либо объяснять, скорее всего, отмахнулась бы или сказала ещё более непонятно и невразумительно: «Потому что колхозник!»

Особых «загулов» после получения алиментов Алексей тоже что-то не помнит. То ли они действительно были слишком маленькими – колхозными – и на них широко не разгуляешься, не пошикуешь, как говорила мать. То ли она тратила алименты на какие-то иные нужды. По крайней мере, никаких подарков Алёше именно с отцовских денег мать никогда не покупала и, кажется, намеренно.

Бабушка Устинья поначалу часто присылала им посылки. В них были сушёные груши, яблоки и сливы, мёд в аккуратно завёрнутой в газету и целлофановый пакетик баночке, орехи-лещина, тыквенные и подсолнечные семечки и обязательно кусочек сала, к которому Алёша пристрастился когда-то ещё в Большой Устиновке. Но матери посылки не нравились. С трудом открывая клещами крепко-накрепко забитые фанерные ящики, она почему-то сердилась и с назиданием говорила:

– А то мы без чернослива пропадём! Раньше надо было думать!..

О чём бабушке Устинье надо было думать раньше, Алёша опять-таки не понимал, но посылкам всегда очень радовался. Он научился самостоятельно щёлкать семечки, разбивать молотком орехи, положив их на полу в ямочку, образовавшуюся на месте выпавшего сучка. Сушёные груши, сливы и вишни Алёша, не дожидаясь, пока мать сварит из них компот или кисель, тайком брал из ящичка и вскоре переполовинивал их. И лишь сало, которое мать хранила в холодильнике, она нарезала ему собственноручно тоненькими подмороженными кусочками, хотя каждый раз и предостерегала:

– От сала толстеют!

Впрочем, сама она потолстеть не боялась, ела сало, густо намазывая его горчицей или хреном. Не отказывалась мать ни от чернослива, ни от орехов, ни от сушёных груш. Особенно же любила она, сидя вечером возле жарко натопленной печки-голландки, пощёлкать семечки или попить чаю с лечебным бабушкиным мёдом.

Но вскоре посылки от бабушки приходить перестали. Денежные переводы-алименты от отца приходили, а посылки – нет.

Алёша осторожно спрашивал у матери, почему они не приходят. Та в долгие объяснения на его надоедливые вопросы не пускалась, отвечала небрежно и чаще всего на бегу:

– Жадничает твоя бабушка, потому и не приходят!

И Алёша спрашивать мать перестал, тем более что вскоре их жизнь с матерью опять переменилась…

* * *

Мать долго в одиночестве и тоске пребывать не могла, не в её это было характере. Едва они обжились во флигеле, едва подружились с хозяйками, Анной Всеволодовной и Анной Сергеевной, (с Анной Сергеевной так даже и больше: она ведь теперь была не просто хозяйкой, а ещё и добровольной музыкальной учительницей Алёши по классу пианино), как к ним зачастил новый материн поклонник. На этот раз артист и певец областного драматического театра, Анатолий Борисович. Бориска, как в глаза и за глаза называла его мать.

Анатолий Борисович был высоким, по-юношески гибким, с длинными ниспадающими на плечи волосами. Сразу чувствовалось, что он намного моложе матери, хотя и старается это скрывать, как-то смешно важничая, словно понарошку изображая взрослого, много повидавшего в жизни и даже утомлённого этой жизнью человека.

Никаких продуктовых сумок или просто подарков матери и Алёше Бориска никогда не приносил, зато всегда приходил к ним в дорогом, тщательно выглаженном костюме (правда, всегда почему-то в одном и том же) и галстуке-бабочке, что Алёше очень нравилось. Галстук-бабочку он до этого видел только на картинках, да по телевизору, а тут увидел на живом человеке, да ещё и таком необыкновенном – артисте.

Узнав, что Алёша занимается с Анной Сергеевной на пианино, Бориска отнёсся к этому ревниво и однажды вечером, когда Алёша только что вернулся с музыкального урока, поставил его посреди большой комнаты и, не скрывая своей ревности, сказал (не столько, конечно, для Алёши, сколько для матери):

– Пианино – это хорошо, но давайте посмотрим, есть ли у пианиста голос?!

Алёша испугался, думал, что ему будет больно, как на приёме у врача, куда они с матерью ходили, когда у Алёши воспалились гланды, и болело горло. Врач заставляла Алёшу открывать рот, прижимала железной лопаточкой язык и требовала сказать:

«А!», потом смазывала гланды длинной палочкой, на которой была намотана смоченная каким-то раствором ватка. У Алёши от этой процедуры перехватывало дыхание, а на глаза навёртывались слёзы.

Он ожидал, что и сейчас будет точно так же и хотел убежать от Анатолия Борисовича и матери на кухню и спрятаться там где-нибудь за печкой или даже уйти к Анне Всеволодовне и Анне Сергеевне, которые никогда голос у него не «смотрели». Но мать удержала Алёшу и, упреждая Анатолия Борисовича, попросила:

– Да не бойся ты! Просто спой песенку, которую в детском садике пели на утреннике. Ну, эту – про солнце.

Алёша немного успокоился и начал петь детсадовскую песенку, но не про солнце, а совсем иную, про крокодила Гену, лужи и День рождения. Пел он слабым тоненьким голоском и почти сквозь слёзы.

Анатолий Борисович до конца не дослушал его, оборвал на середине, вскочил вдруг со стула и крикнул:

– Вот как надо!

И запел густым трубным басом: (глядя на его худую, тощую фигуру, никак нельзя было предположить, что у Анатолия Борисовича такой громогласный бас): «Вдоль по Питерской, по Тверской-Ямской!»

– Да перестань ты! – в испуге (и вместе с тем и в восхищении) закрыла ладонями уши мать. – Сейчас хозяйки прибегут.

– Пусть бегут! – горделиво ответил Анатолий Борисович, – а то привыкли тренькать на пианино, мучают зря парня.

При этом он положил неимоверно длинную и цепкую ладонь Алёше на плечо и, обращаясь к матери, сказал:

– У парня кое-что есть. Я буду заниматься с ним вокалом. Ты не против?

– Занимайся, – поспешила согласиться мать, насторожённо поглядывая на дверь, как будто там действительно могли появиться Анна Всеволодовна и Анна Сергеевна и сделать замечание, что они ведут себя во флигеле слишком шумно, да ещё и пускают посторонних, неизвестно какого поведения людей.

Алёша словам Анатолия Борисовича опять испугался. Что такое вокал, он тогда не знал и заниматься им никак не хотел, тем более, с Анатолием Борисовичем, у которого такой страшный голос, такая непомерно длинная и цепкая рука и такая чёрная, страшная бабочка.

Но до занятий вокалом дело у них с новым учителем и наставником не дошло.

Во-первых, у матери с Алёшей не было пианино, а без него, оказывается, заниматься вокалом никак нельзя. Договориться же с Анной Всеволодовной и Анной Сергеевной мать не решалась, предчувствуя, что те в дом незнакомого человека, к тому же мужчину, ни за что не пустят. Больше всего на свете они берегли в своих владениях покой и тишину, и после смерти Сергея Юрьевича никаких новых знакомств не заводили, остерегаясь и грабежа, и обмана и даже покушения на их жизнь. Особенно боялись старушки мужчин, и в первую очередь Анна Сергеевна, которая замужем никогда не была и не знала, как себя с мужчинами вести и как с ними обходиться.

Во-вторых, Анатолий Борисович, Бориска, сам не очень-то и торопился заниматься с Алёшей. После испытания, проверки и «просмотра» у него голоса, он совершенно забыл о своих намерениях, как будто удовлетворился лишь этими испытаниями. Мать тоже никогда не вспоминала о вокале. Ей и так хватало с Алёшей забот: кормить-поить, одевать-обувать на свою скудную зарплату, отводить утром в детский садик и забирать его оттуда вечером (желательно не последним), обивать пороги поликлиник. Болел Алёша не часто, но всё-таки болел, заражаясь всё в том же детском садике то гриппом, то коклюшем, то ветрянкой, и матери приходилось тащить его в поликлинику, и не столько ради лечения (этим она в основном занималась сама), сколько ради бюллетеня для себя и справки для Алёши, без которой его после выздоровления назад в детский сад не брали.

И, в-третьих, Анна Всеволодовна и Анна Сергеевна, с которыми мать тайком от Бориски посоветовалась насчёт вокала, отговорили её, скорее всего, из ревности и боязни, что Алёша попадёт под влияние подозрительно-опасного мужчины. Мол, ещё рано, надо мальчику окрепнуть, научиться основам музыкальной грамоты, а потом уже решать, чем заниматься ему дальше (у них ли на дому, в музыкальной ли школе): пением, вокалом или усовершенствоваться игре на пианино.

На ночь, как когда-то Иосиф Арсеньевич, Анатолий Борисович у них во флигеле никогда не оставался. Похоже, мать сама не разрешала ему этого, опасаясь, что бдительные хозяйки, заметив однажды, как Анатолий Борисович возвращается из флигеля рано утром, откажут ей в квартире. Зато сама она стала часто куда-то уходить на ночь. Алёше и Анне Всеволодовне с Анной Сергеевной мать сказала, что опять устроилась работать

ночной медсестрой в больнице (деваться некуда, Алёша растёт и требует всё больших и больших расходов – надо зарабатывать). Так это было или не так, Алёксею судить трудно.

Анна Всеволодовна и Анна Сергеевна отнеслись к жалобам матери с сочувствием и на время дежурств (через две ночи на третью) согласились брать Алёшу к себе.

Ровно в девять часов, старушки, велев Алёше помыть в ванной ноги и руки, почистить зубы, укладывали его спать в бывшем кабинете Сергея Юрьевича на старинном кожаном диване. Алёша поначалу очень боялся оставаться в этом кабинете один. Всё его в нём пугало: большие напольные часы, которые тревожно и мерно тикали и каждые полчаса будили Алёшу протяжно-гулкими ударами; портрет бородатого мужчина в чёрном расшитом золотом мундире (после, выучившись читать, Алёша узнает, что это граф Витте, министр железнодорожного транспорта, при котором Сергей Юрьевич учился и начинал работать на железной дороге); книжные тяжёлые полки и громадный обитый зелёным сукном рабочий стол Сергея Юрьевича.

Но страшнее всего Алёше было в полночь, когда напольные часы несмолкаемо били целых двенадцать раз. Он просыпался, и ему вдруг казалось, что по комнате, из одного её конца в другой ходит, опираясь на толстую палку, какой-то очень высокий мужчина в железнодорожном мундире и железнодорожной фуражке. Но это был точно не граф Витте. Мужчина бороды не носил, а носил одни только усы, смоляно-чёрные, густые с закрученными в колечки кончиками. Мундир на мужчине тоже был совсем не такой, как у графа Витте, без золотых и серебряных позументов, а лишь с большими пуговицами, на которых Алёша хорошо различал перекрещенные молоток и гаечный ключ. Иногда мужчина останавливался возле дивана, долго смотрел на Алёшу и даже как будто что-то говорил ему, но что – Алёша потом, утром, никак не мог вспомнить.

Несколько раз Алёша порывался рассказать матери о своих ночных страхах и попросить её, чтоб она больше не оставляла его ночевать у Анны Всеволодовны и Анны Сергеевны. Лучше он будет спать у себя во флигеле один (дома ему совсем не страшно), но так и не рассказал, робея, что мать начнёт ругать его за эти выдумки, а ещё больше робея, что Анна Всеволодовна и Анна Сергеевна скажут, какой он трусливый и невоспитанный мальчик.

Но вскоре мать ходить на дежурства перестала (сказала, что уволилась – тяжело тянуть две работы), а Анатолий Борисович перестал появляться у них во флигеле.

Мать сама прогнала его после того, как Бориска пришёл к ним однажды совершенно пьяным, в мятом, измочаленном костюме и без бабочки.

– Да ты же запойный пьяница! – кричала на него мать.

– Пьяница, – снисходительно согласился с ней Бориска. – Зато артист и певец – Шаляпин! – и тут же, потребовав к себе Алёшу, поставил его перед собой и велел повторять за ним ноты: «до», «ре», «ми»…

Мать у Бориски Алёшу отняла, спрятала его на кухне, а сама попыталась выпроводить совсем размякшего гостя из дому. Но тот не поддавался ей, упал со стула на пол и там надолго уснул. Когда же проснулся, мать пригрозила ему:

– Ещё раз появишься – сдам в милицию!

И Бориска приходить перестал, хорошо зная, что мать – женщина решительная, как укорачивать пьяниц обучена ещё в детстве, в Кирпичном Заводе (один отец, Колька, чего стоил!): если доведут до крайности, то пьяными жалобами и стенаниями её не возьмёшь – в два счёта сдаст, хоть в милицию, хоть даже в тюрьму.

* * *

После Анатолия Борисовича поклонников у матери до самого отъезда-бегства Алексея в Ленинград не было. По крайней мере, в доме ни один из них не появлялся. Мать даже стала вспоминать об отце. Но не так, чтобы с тоскою и желанием вернуть его назад, а с отчаяния, в минуты, когда Алёша совершал какой-нибудь недостойный, по её понятиям, проступок дома, в детском саду (а через полтора года – в школе) или в компании хулиганистых уличных мальчишек, с которыми уже тогда начал сходиться.

– Отца на тебя нет! – выговаривала ему мать, но бить никогда не била, а лишь ставила в угол, что считалось у них в доме самым страшным наказанием.

Правда, когда проступок Алёши был, по определению матери, совсем уж возмутительным (хотя на самом деле ничего сколько-нибудь возмутительного Алёша не совершал, разве что участвовал вместе с ватагой уличных ребят в набегах на низовые сады), она вспоминала об отце ещё более угрожающе:

– Отец взял бы сейчас в руки ремень…

Но в этих её словах слышалось не столько действительно желание, чтоб отец взял в руки ремень и как следует, по-отцовски и по-мужски повоспитывал вконец распоясавшегося сына, сколько укоризна этому отцу: вот, мол, он какой – чуть что, сразу хватается за ремень.

Алёша в такие минуты не то что бы радовался, что отца у него нет, и никто его бить ремнём не станет (а других мальчишек, уличных его товарищей, отцы бьют – это он знал доподлинно), но и не тосковал по нему.

К семи годам, к окончанию детского садика Алёша уже почти забыл и отца, и бабушку Устинью. Он не помнил ни того, как они выглядят, ни того, как говорят, во что одеты и обуты. Ни одной фотографии отца (а тем более бабушки Устиньи) в доме у них не сохранилось: мать всё уничтожила после развода и отъезда отца. Смутно чудились Алёше лишь их размытые, похожие на тень фигуры: отца, уходящего из дома с «тревожным» своим чемоданчиком в руке, а бабушку Устинью, сидящую на ступеньках крыльца в Большой Устиновке.

Но чем больше Алёша подрастал, тем сильнее начала пробуждаться в нём тоска по отцу и бабушке. В детской его (но, оказывается, такой цепкой) памяти один за другим стали всплывать и закрепляться, словно какие картинки-фотографии, видения, связанные с отцом и бабушкой. В Курске походы на речку, в Первомайский сад и на Красную площадь, а в Большой Устиновке шумное застолье по случаю их приезда, песни и пляски под отцовскую гармошку, и особенно крещение в деревенской церкви. Фигуры и лица отца и бабушки Устиньи постепенно обрели чёткие очертания, устоялись, и уже виделись Алёше не зыбкими тенями, а живыми легко узнаваемыми людьми: отец в военной форме с ремнём и портупеей через плечо, русоволосый и голубоглазый (Алексей во взрослой жизни всё больше и больше стал походить на него), не очень высокий ростом, но зато очень сильный и выносливый в любой работе; а бабушка Устинья – в широкой цветастой юбке, в украинской вышитой по груди и рукавам «крестом» кофточке, в белом платочке-хусточке и туфельках-черевичках на низеньком каблучке, которыми она умела так ловко «подляскивать» во время танца «Лявонихи». Бабушка худенькая, быстрая в каждом шаге и каждом движении, ни одной минуты не сидела без дела, в праздности и неге. Но чаще всего всплывали в памяти Алёши и закреплялись в ней всё сильнее и сильнее вечера, проводимые с бабушкой в «папиной» комнате,

когда бабушка сидела рядом с ним около дивана, тихо шептала-убаюкивала Алёшу «сонной» молитвой, а на прощанье трижды осеняла его крёстным знамением и, расставаясь, говорила: «И пусть тебе приснятся Ангелы…»

Закончились все воспоминания и видения об отце и бабушке Устинье у Алёши тем, что в третьем классе, уже хорошо выучившись писать и читать, он решил втайне от матери отправить в Большую Устиновку письмо.

Деревенский адрес отца и бабушки Алёша подсмотрел на почтовых переводах-алиментах, которые каждый месяц приходили им, а конверт с маркой купил за те деньги, что мать выдавала ему на школьные обеды.

Но положив перед собой чистый двойной листочек, вырванный из тетрадки по русскому языку, Алёша вдруг растерялся, не зная, что писать отцу и бабушке. Он чувствовал, что нужно рассказать им о чём-то очень важном и значительном, что происходило в его жизни, но, сколько ни думал, сколько ни бился, а ничего особо важного и значительного, о чём отец и бабушка непременно должны были знать, в домашней своей, школьной и уличной жизни не находил. Алёша совсем уже было отчаялся и едва не разорвал на мелкие клочки спаренные листочки, на которых сумел написать лишь начальные, заглавные слова: «Здравствуйте, папа и бабушка Устинья!», вычитав в книжках, что так начинаются все письма. Но потом он вдруг всё-таки преодолел своё сомнение и отчаяние и стал писать просто о том, как живёт дома, во флигеле, как учится в школе, как играет на улице с ребятами (о набегах на низовые сады на всякий случай утаил), занимается немецким языком и музыкой с Анной Всеволодовной и Анной Сергеевной (о важном и значительном Алёша решил написать позже, когда дождётся ответного письма от отца и бабушки). И получилось, что всё в его жизни хорошо: живут они с мамой во флигеле, который Алёше очень нравится: в нём целых две комнаты и кухня, дровяной и угольный коридор, а за флигелем сад. Жаль, конечно, что во флигеле нет воды, нет парового отопления, но это совсем не страшно. По воду они с матерью ходят на улицу, к колонке, или к Анне Всеволодовне и Анне Сергеевне, которые никогда им в воде не отказывают. Чтоб во флигеле было тепло, Алёша с мамой каждый вечер растапливают сразу две печки: одну на кухне, печку-лежанку, а другую, которая называется голландкой – в комнате.

В школе номер двадцать пять Алёша учится на пятёрки и четвёрки, а по математике, которая ему больше всего нравится –

только на одни пятёрки. Немецким языком и музыкой Алёша занимается в доме у Анны Всеволодовны и Анны Сергеевны, где есть много иностранных книжек и пианино. Анна Всеволодовна и Анна Сергеевна говорят, что его надо отдавать в детскую музыкальную школу. Но она находится очень далеко, и маме водить туда Алёшу некогда – она целый день на работе. Одного же его отпускать в город мама пока боится, хотя дорогу Алёша знает и мог бы ездить на трамвае номер один или номер два.

Больше Алёше писать было вроде бы не о чём. Вот разве что о матери. Но, немного подумав, он о матери ничего писать не стал: ни о ночных её дежурствах, но об Иосифе Арсеньевиче, ни об Анатолии Борисовиче (Бориске), ни о том, что мать всё время курит, а по вечерам, когда уголь в печках никак не хочет разгораться, даже плачет (пусть она сама отцу и бабушке обо всём этом напишет).

В конце письма, которое получилось у Алёши длинным, почти на все четыре странички, он написал: «До свидания, папа и бабушка!» и хотел уже было спрятать сложенные пополам листочки в конверт, чтоб заклеить его и отнести в почтовый ящик, пока мамы нет дома, но потом, опять немного подумав, развернул листочки и дописал ещё несколько строчек: «Папа, ты поскорее приезжай к нам, мы будем ходить с тобой на рыбалку, в Первомайский сад и на Красную площадь».

Лишь после этого Алёша конверт крепко-накрепко заклеил и с особым старанием написал адрес: вверху папин, а внизу – их с мамой, на улице Пионеров. Не забыл Алёша также поставить в клеточках несколько больших цифр подряд, индекс, подсмотрев на обратной стороне конверта, как они правильно пишутся. Без этого индекса письмо, говорят, может где-нибудь затеряться и не дойти по адресу, если даже он написан без единой ошибки.

Спрятав конверт под рубашкой, Алёша стремглав побежал на угол улицы Пионеров и улицы имени писателя Овечкина и вбросил его в узенькую, прикрываемую голубеньким тяжёлым козырьком щёлочку…

С этого мгновения он стал каждодневно ждать от отца и бабушки Устиньи ответа, часто заглядывал в три круглых дырочки-отверстия (и даже пробовал просунуть туда палец) на почтовом ящичке, который мать прибила на калитке рядом с ящичком Анны Всеволодовны и Анны Сергеевны и ключик от которого был только у неё одной.

Но ответ всё не приходил и не приходил. Мать доставала из ящичка лишь газеты «Правду» и «Курскую правду», извещение

об алиментах, да рекламные какие-то листочки и брошюрки, а письма не достала ни разу. Во всяком случае, Алёша никогда его не видел…

Через полгода Алёша написал отцу и бабушке ещё одно письмо, решив, что первое, наверное, не дошло к ним и, скорее всего, по его вине, потому что одну из цифр индекса он вывел по намеченным пунктирным точкам, кажется, всё-таки неправильно.

Но и на это, второе, письмо Алёше от отца и бабушки никакого ответа не пришло, хотя он ждал его ещё сильнее, чем на первое, отправленное в Большую Устиновку в снежно-белом, пахнущем клеем конверте с портретом космонавта Германа Титова на лицевой стороне.

Больше писем отцу и бабушке Устинье Алёша не писал. Он не то чтобы обиделся и рассердился, а просто перестал вспоминать о них, постепенно опять забыл, словно ни отца, ни бабушки Устиньи, ни села Большая Устиновка, ни крещения в деревенской церкви никогда и не было. Прежде Алёша точно так же забыл о бабушке Зине и о деде Кольке, которого смертельно боялся и в пятилетнем, и в десятилетнем, и много позже, в юношеском уже возрасте, когда ничего иного, казалось, не боялся, вырастая на улице Пионеров парнем смелым, а иногда, на удивление матери, даже и отчаянным.

Жить в этом забвении было ему по-мальчишески легко и беззаботно и лишь годам к четырнадцати-пятнадцати Алёша вдруг стал ловить себя на странной пугающей мысли, что в прошлом у него таится какая-то холодная ничем не заполненная пустота…

* * *

Тайная переписка Алёши с отцом и бабушкой Устиньей открылась в восьмом выпускном классе. Однажды он пошёл в угольный коридор за углём и дровами, чтоб растопить к возвращению матери с работы обе печки, и вдруг обнаружил там, под потолком в маленькой нише, напоминающей антресоли, материну старенькую сумку. Вернее, она сама обнаружила себя. Набирая в ведёрко совковой лопатой уголь, Алёша несколько раз довольно ощутимо ударил ею по деревянной подпирающей антресоли стойке, и оттуда, сверху, к его ногам упала кожаная материна сумка-ридикюль, которую она носила когда-то, очень давно, ещё при отце. Без позволения матери Алёша открывать эту сумку ни за что бы ни стал. С дошкольного ещё, детсадов-

ского возраста он был воспитан матерью в жёсткой строгости: никогда, ни при каких обстоятельствах чужие вещи в руки не брать, не зариться на них и не присваивать, какими бы они соблазнительными ни были. По примеру своего отца Кольки (да в общем-то и матери Зины тоже) она хорошо знала, чем заканчиваются посягательства на чужие, не принадлежащие тебе вещи – тюрьмою и заточением на долгие годы. Алёша материну науку усвоил раз и навсегда и нарушал её разве что во время детских своих набегов на низовые сады, не в силах отстать от других мальчишек, которые посчитали бы его трусом и перестали принимать в свою компанию. А прослыть трусом на улице Пионеров было делом позорным и унизительным и, чтоб избежать этого позора и мальчишеского унижения, Алёша готов был переносить от матери любые наказания: слушать её грозные, срывающиеся на крик и слёзы выговоры, обещания сдать его в детский дом и даже долгие часы стоять в углу.

При падении сумка открылась сама, и из неё выскользнула на пол целая пачка писем. Алёша склонился над ними, чтоб сложить обратно и вернуть сумку на прежнее её место, высоко на антресоли, но тут он вдруг обнаружил, что это письма отца и бабушки Устиньи, когда-то давным-давно написанные ему, маленькому Алёше, но так и не полученные им…

Алёша был уже достаточно взрослым, чтоб понять, что письма по всем законам принадлежащие ему и только ему, что они его законные вещи, и мать, нарушив свои собственные наставления чужих вещей никогда, ни при каких обстоятельствах не брать, присвоила их себе. А раз вещи его, то Алёша имеет все права забрать их и спрятать в ином, только ему одному известном месте, где мать писем ни за что не обнаружит.

И он забрал их. Но прежде, чем перепрятать, начал здесь же, в угольном коридорчике, читать одно за другим.

На его детские письма (и первое, и второе) отец и бабушка Устинья откликнулись незамедлительно. Отец писал, что он очень рад Алёшиному письму, рад, что тот хорошо учится и примерно себя ведёт, наказал во всём слушаться мать, помогать ей, а вот приехать не обещался, потому что пока ему некогда – он работает теперь главным механиком в колхозе и заочно учится в сельскохозяйственном институте в Киеве. Надо немного подождать, когда он институт окончит, будет посвободней, и они с Алёшей обязательно встретятся. А может, мать к тому времени отпустит Алёшу, и он сам приедет в Большую Устиновку.

Все бабушкины письма были написаны крупными, почти печатными буквами и все начинались одинаково: «Здравствуй Алёша, Божий человек!» Одинаково они и заканчивались: «Живи весело и счастливо, никогда не унывай и не печалься, и пусть тебе приснятся ангелы!»

А в середине писем бабушка рассказывала про дом в Большой Устиновке, про кота Трофимку, собаку Жучку, про сад, передавала привет от крёстной матери, тёти Насти, и ещё обещала обязательно прислать посылку с сушёными грушами, сливами и вишнями, с тыквенными семечками, орехами-лещиной, с липовым лечебным мёдом, очень полезном при простуде. (Увы, посылки бабушка так и не прислала или прислала, но мать либо отправила их обратно, либо утаила от Алёши.)

В первых письмах отец и бабушка просили Алёшу, чтоб он писал им почаще, не пропадал и не терялся, а в последующих сокрушались, почему от него письма больше не приходят, что случилось: не заболел ли он, не ушибся ли, играя где-нибудь на улице в футбол и хоккей?

Всего писем от отца и бабушки было девять. От бабушки – пять, а от отца – четыре.

Алёша решил, что завтра же, как только мать уйдёт на работу, он напишет отцу и бабушке Устинье письмо, повинится перед ними и даст твёрдое обещание, что теперь будет писать им очень часто, а, может быть, даже летом, после окончания восьмого класса, приедет в гости, если, конечно, мать отпустит его. И, наверное, написал бы и, наверное, поехал бы (отпустила бы его мать или не отпустила), но, когда он начал прятать опустевшую сумку назад, на антресоли, из неё вдруг выпал к ногам Алёши крестительный его освящённый в деревенской церкви крестик, подарок крёстной матери, тёти Насти.

Алёша поднял его, крепко зажал в ладони и неожиданно принял решение: никому и ничего не писать. Ведь хочет он того или не хочет, а ему придётся выдать отцу и бабушке мать, объяснить им, что это именно она неведомо зачем (Алёша тогда ещё понять этого не мог) скрывала и прятала их письма вместе с крестительным его нательным крестиком, который Алёше давно бы пора носить. (Впервые он наденет его, несмотря на предостережения преподавателей и косые взгляды товарищей, в профтехучилище – и неснимаемо носит до сих пор).

Созреет Алёша к покаянию лишь следующим летом, когда поедет во время каникул не в Курск, к матери, а в Большую Устиновку, к отцу и бабушке Устинье.

О своей находке в угольном коридорчике Алёша матери не сказал ни единого слова. Сама же она пропажи писем и крестика тоже не обнаружила, скорее всего, давным-давно забыла об их существовании. Но, едва сдав выпускные экзамены за восьмой класс, Алёша вдруг объявил матери, что в девятый не пойдёт, а уедет в профтехучилище в Ленинград. К его удивлению, мать останавливать Алёшу не стала, она лишь очень внимательно посмотрела на него (прежде так никогда не смотрела) и довольно легко отпустила:

– Езжай! Я тоже от своих родителей сбежала в четырнадцать лет и, как видишь, не пропала.

В конце августа Алёша уехал, и с тех пор они живут с матерью порознь…

Оставшись одна, мать ещё несколько раз выходила замуж, но всё неудачно, пока наконец не нашла нынешнего своего мужа Вячеслава и не родила ему сына, тоже Вячеслава.

* * *

Ехал Алёша в Большую Устиновку с нескрываемой радостью и надеждой, но вместе с тем и с затаённой юношеской тревогой. Ему очень хотелось увидеть и отца, и бабушку, и крёстную свою мать, тётю Настю, и само село: церковь, реку, бабушкин дом и сад, но он страшился и не знал, как будет рассказывать отцу с бабушкой о проступке матери, какими словами и когда – сразу по приезде или чуть попозже, хорошенько оглядевшись и присмотревшись к ним, ведь на самом деле он совершенно не знает, какие теперь отец и бабушка Устинья. Такие, какими были прежде и какими он их запомнил и представлял в детских своих видениях и мыслях, или за годы разлуки и обид на Алёшу стали совсём иными, чужими и далёкими. Страшился он и ответных слов отца и бабушки о матери: что они скажут о ней, о её несправедливости и как оценят проступок Алёши – бегство от матери. Но получилось всё гораздо проще и спокойней, чем ожидал Алёша. Ни отец, ни бабушка ничего говорить о так неожиданно когда-то прерванной переписке с ним не стали, должно быть, всё отнеся на счёт Алёшиного детского непостоянства и легкомыслия, а может, просто не желали тревожить его и тревожиться сами о тех далёких обидах, о которых они давным-давно забыли и теперь по-родственному и родному радуются, что Алёша объявился и приехал к ним в гости уже почти взрослым самостоятельным юношей.

И лишь однажды, когда речь всё-таки зашла о матери, бабушка Устинья, глубоко вздохнув и пригорюнившись, промолвила:

– Несчастная она женщина. Ты, Алёша, береги и люби её, она мать тебе.

А отец в те минуты, при бабушке, на эти её слова никак не откликнулся, но зато вечером, когда они пошли с ним на рыбалку, он вдруг вспомнил о матери, о её укрывательстве писем (похоже, и бабушка Устинья, и отец легко догадались, в чём тут дело, когда письма от Алёши перестали приходить,) и защитил мать перед Алёшей:

– Она хотела, как лучше. Ты не обижайся на неё.

Алёша по-юношески вспыхнул, загорелся, но ничего не сказал, не знал, что и как надо говорить.

Отец замешательство его заметил, несколько мгновений помедлил, а потом, приобнял Алёшу за плечо и продолжил:

– Мать хотела, чтоб у тебя был новый отец, отчим, с которым ты бы жил в дружбе, раз мы с нею расстались.

«Не надо мне никаких отчимов!» – решился, наконец, ответить Алёша, но лишь высвободился из крепких, тёплых объятий отца и опять промолчал, «отчимов» не выдал, никого не назвал по имени-отчеству: ни Иосифа Арсеньевича (Сосо), ни Анатолия Борисовича (Бориску), ни многих иных, которые нет-нет да и наведывались к ним с матерью во флигель. Хотя, может быть, и надо было назвать и выдать. Ведь Алёша ожидал услышать от отца о матери какие-то совсем иные слова, более жёсткие и резкие. Характер у него к тому времени уже почти установился: не такой, конечно, как у матери, излишне вспыльчивый и прямолинейный, но и не такой, как у отца, слишком мягкий и уступчивый, а что-то среднее между ними, свой, нелёгкий характер (так, во всяком случае, говорила о нём Лерка), в котором было намешано ото всех понемногу: и от отца с матерью, и от обоих дедов, Алексея Степановича и Кольки, и от обеих бабушки, Зины и Устиньи. И окажись Алёша в тот момент на месте отца, он сказал бы о матери совсем иные слова, действительно жёсткие и резкие, каких она и заслуживала. А может, и не сказал бы, может, вслед за бабушкой Устиньей и отцом понял бы, какая мать, действительно, несчастливая женщина, хотя никому в этом признаваться не хочет, и самой себе в первую очередь…

* * *

После той встречи-свидания с отцом и бабушкой Устиньей, Алёша ещё несколько раз, опять-таки, не признаваясь в том матери, ездил в Большую Устиновку. И, может быть, ездил бы и дальше (и сам, и уже с Леркой и Митькой, о чём те часто его просили), если бы однажды из письма бабушки Устиньи он не узнал, что отец женился и что новая его жена скоро родит ему сына или дочь, Алёшиного брата или сестру. Умом Алексей понимал, что отец, в общем-то, молодой ещё, в полном здоровье и силе мужчина, не может вечно жить один, что ему нужны женские внимания и забота, семья, дети, но душой и нелёгким своим характером (вот уж, действительно, нелёгкий!) он принять эту женитьбу отца был не в силах. Материны увлечения принимал, а его женитьбу не принял. В душе Алексея как будто тяжело и навечно закрылись какие-то невидимые, прежде всегда широко распахнутые навстречу отцу двери (и ключ от них безвозвратно потерян), и он ни разу больше до сегодняшнего дня, в Большую Устиновку не ездил. Не мог Алексей перешагнуть через себя, не мог отыскать затерявшийся этот ключик…

* * *

Остановка маршрутки в Чернигове была долгой, целых пятнадцать минут, и Алексей решился, наконец, позвонить Лерке. Он отошёл подальше от автостанции на заросший густой садовой травой пустырь и набрал для начала номер домашнего телефона, надеясь, что Лерка ещё не успела уехать на вокзал. В мобильнике послышались обнадёживающие тревожные гудки, какие-то действительно легко узнаваемые и родные, которых нельзя было спутать ни с какими иными. Алексей представил, как Лерка, услышав их из кухни или детской, Митькиной комнаты, торопится в прихожую к телефону, безошибочно определив, что звонок междугородний и что звонит, конечно же, Алексей.

Лерка и вправду его не обманула, она была ещё дома, всего через одно мгновение сняла трубку, и Алексей услышал её учащённое от быстрой ходьбы (а может, и бега) дыхание и готов был слушать его нескончаемо долго, потому что встревоженное это её дыхание говорило ему сейчас гораздо больше, чем любые Леркины слова и голос. Упреждая их и намеренно никак не обозначая себя, он безмолвно успокоил Лерку: «Да не торопись ты, не спеши – я здесь!» И она действительно успокоилась, за-

тихла, но вдруг произнесла как-то излишне сухо, почти официально, с несвойственной ей интонацией и несвойственным ей откликом:

– Слушаю!

– Кто это?! – невольно вздрогнул Алексей, не признавая ни Леркиного голоса, ни её сухого официального отклика (обычно Лерка говорит отрывисто и доброжелательно: «Да, да!»), ни даже её дыхания, и хотел было отключить телефон, решив, что ошибся номером. Но там, на том конце провода, сразу сменив тон и интонацию (с официально-сухого, начальственного на мягкий и взволнованный) его упредили:

– Это я – Тоня! Здравствуй, Алёша!

– Здравствуй! – не мог не ответить ей Алексей, но сердце его упало.

Не готов он был сейчас, да и не хотел разговаривать с Тоней. При встрече, и лучше всего в присутствии Лерки, какие-нибудь дежурные необязательные слова о жизни в Сибири, о сибирских красотах и морозах, о работе, о разъехавшихся по всей стране однокурсниках, может быть, у него и нашлись бы, но сейчас даже такие слова произносить Алексею не хотелось.

Самое разумное, что он мог сделать, так это отключить телефон (вроде бы как получился сбой), но ведь Тоня уже узнала его и рассчитывает, что случайный их телефонный разговор продолжится, пусть всего на несколько минут, но обязательно продолжится, и они скажут друг другу, разъединённые тысячами километров, очень важные, необходимые им обоим слова, которые они должны были сказать давным-давно, но хранили их до сегодняшнего, такого счастливого случая, когда пространство их разъединяет, а телефон всё теснее и теснее связывает.

И всё-таки Алексей уклонился от этого разговора, причём вполне естественно и не обидно для Тони. Упреждая давно, наверное, продуманные ею и заготовленные вопросы, он спросил Тоню о том, о чём и должен был спросить в эти минуты:

– Где Лерка?

– Она уехала полчаса тому назад, – по одной только интонации его голоса догадливая Тоня (а она всегда была догадливой и проницательной) сразу поняла, что продуманный ею до мельчайших деталей и подробностей разговор с Алексеем пока откладывается. – Мы здесь хозяйничаем с Митькой.

Алексею теперь можно было, схватившись за упоминание о Митьке, потребовать сына к телефону и за весёлой, шутливой беседой с ним (они постоянно так разговаривали с Митькой по

телефону) отдалить разговор с Тоней на неопределённое время, а лучше бы вообще навсегда.

Но Алексей неожиданно для себя решил пока не объявляться перед Митькой, скрыться от него, как будто ему хотелось ещё раз перед расставанием услышать Тонин голос.

– Лерка ничего мне не просила передать?– опять вроде бы вполне естественно спросил он, как и обязан спрашивать муж о жене, находясь в разлуке с ней, но голос его при этом как-то странно вздрогнул и сломался.

Тоня мгновенно заметила это. Она начала подробно отвечать на поставленный вопрос, но в её, тоже как будто сломавшемся голосе и дыхании чувствовалось (и не могло укрыться от Алексея), что одними только вопросами и ответами о Лерке и Митьке их с Алексеем разговор всё-таки не закончится.

– Просила, – секунду помедлив (должно быть, за эту секунду успела оглянуться на Митьку, который, оставил игры и теперь насторожённо смотрит на неё, пытаясь определить, кто звонит: мама или папа), поспешно и, как показалось Алексею, даже не очень внимательно и последовательно ответила Тоня, лишь бы поскорее остаться наедине с Алексеем (пусть всего лишь по телефону), как осталась когда-то в скверике, возле общежития накануне свадьбы Алексея и Лерки. – С твоей пациенткой что-то случилось…

Сердце у Алексея упало ещё глубже, в какую-то бездонную пропасть, и зашлось в непереносимой боли, как будто накануне инфаркта. И сразу у него отстранились на задний план и Тоня с её неотвратимо назреваемым разговором, и Лерка, и даже Митька, нетерпеливо в двух шагах от Тони ожидающий, когда та, наконец, передаст ему трубку. Единственное, что виделось сейчас и что осознавалось Алексеем – это Аня, Анечка Рогова, её бледное личико, её вопрошающие голубые глаза, в которых всегда появлялась надежда, когда он приходил в палату, и мгновенно гасла, когда уходил.

– Почему Лерка сама не позвонила мне?! – весь в тревоге и предчувствии самого худшего с Анечкой, почти ледяным тоном спросил Алексей.

–Она звонила, – ничуть не поддалась ему Тоня. – Но ты не брал телефона.

– Как это не брал?! – почти закричал на неё Алексей, но потом спохватился и стал лихорадочно вспоминать, звонил ли хотя бы один раз его мобильник, пока Алексей ехал в маршрутке. Может и звонил, но он неведомо зачем (наверное, лишь бы

скоротать время) уносясь мыслями вон в какие забытые и дальние времена своего детства и юности, не расслышал его за шумом мотора и убаюкивающим посапыванием старика-попутчика, а больше всего за этими такими, оказывается, сладостными детскими и юношескими далями…

Алексей хотел тут же отключиться, чтоб проверить, есть ли на его мобильнике пропущенный телефонный звонок, но жестокосердная Тоня была начеку. Она никак не отреагировала на его крик, не стала защищаться сама и защищать Лерку или обвинять Алексея, такого, оказывается, невнимательного и не чуткого, не услышавшего тревожного телефонного звонка жены, а вдруг, в единое мгновение, отстранившись от чужих для неё переживаний Алексея и Лерки, произнесла тихим и вкрадчивым шёпотом:

– Алёша?..

– Что?– смягчился он, чувствуя свою невольную вину перед Тоней за крик и раздражение.

И она тут же уловила, что вот наконец-то и настала её долгожданная минуту, и что Алексей теперь весь в её, Тониной, власти.

– Я всё помню, Алёша, – ещё тише и, похоже, со слезами на глазах не столько сказала, сколько выдохнула она в трубку. – Затем и приехала…

Алексею, наверное, надо было ответить ей таким же откровением (Тоня его и ожидала: это чувствовалось уже по одному её дыханию то прерывистому и глубокому, то совсем замирающему): «Я тоже помню!»… А лучше, конечно, и честнее и перед ней, и перед самим собой, и перед Леркой сказать осуждающе и запретно: «Пора бы и забыть»…

Но Алексей не успел сказать ни того, ни другого. В их разговор с Тоней неожиданно вмешался Митька. Бог знает, каким образом он догадался, что звонит Алексей, вырвал у Тони трубку (характер зарождается у Митьки тоже непредсказуемый и нелёгкий) и закричал в неё:

– Папа! Папа!

Алексей немедленно отозвался, и они заговорили с Митькой так, как, может быть, не говорили по телефону никогда: не с весёлыми шутками и розыгрышами, а вполне серьёзно, как два взрослых знающих себе цену мужчины.

– Ты скоро приедешь?– совсем по-взрослому спросил Митька.

– Скоро! – без самой малой попытки обмануть его, ответил Алексей.

– А мама?

– И мама тоже, – успокоил Митьку Алексей. – Ты не скучай, ходи в садик и слушайся тётю Тоню.

Последнее было, наверное, не лишним после столь дерзкого и неожиданного поступка Митьки, который ослушался новую свою воспитательницу и самовольно прорвался к телефону.

– Хорошо, – пообещал Митька и то ли случайно нажал на рычажок телефонного аппарата, то ли намеренно положил трубку.

Повторно перезванивать Алексей не решился, да ему уже и некогда было: маршрутка собралась в дальнейшую дорогу, и шофёр настойчиво звал единственного затерявшегося пассажира и голосом, и пронзительными автомобильными сигналами.

Заняв своё место в маршрутке, Алексей первым делом проверил, был ли на его мобильнике пропущенный звонок. Он действительно был. Алексей раздосадовал на себя за непростительную оплошность: ждал-ждал от Лерки целый день звонка (его звонок к ней – совсем иное дело), а когда она, наконец, сама пробилась к нему, то Алексей тревожного её звонка не расслышал. А ведь звонок этот был не праздный, не ради взаимных вздохов и поспешного примирения (можно подумать, что они поссорились навсегда, навечно), а ради Анечки Роговой, которую Алексей так непростительно бросил (живую десятилетнюю Анечку ради умершей, почти девяностолетней бабушки Устиньи).

Алексей, стараясь отвлечься от надсадного завывания мотора, и от вспыхнувшего с новой силой после долгой остановки гомона в маршрутке, тут же принялся звонить Лерке. Звонки проходили, настойчиво призывая Лерку взять в руки мобильник. Но теперь она, словно в отместку за пропущенный Алексеем звонок, его не брала, и когда телефон Алексея устал подавать сигналы, вместо Леркиного голоса в нём возник официально-холодный, равнодушный голос оператора: «Телефон отключён или временно недоступен». Алексей в сердцах едва не начал ругать этот голос, забыв, что реального живого человека за ним не стоит, что это всего лишь магнитофона запись (виртуальный голос), и сколько Алексей ни ругайся, а в ответ он не услышит ни единого слова оправдания или хотя бы призрачного обещания всё-таки попробовать ещё раз соединить его с Леркой.

Конечно, Алексею можно было послать Лерке эсэмэску. Но он делать этого не стал. Во-первых, на краткие его вмещающиеся всего в несколько строчек вопросы, она ответит тоже крат-

ко и сухо, по всем законам электронных переписок. А Алексею нужна сейчас не просто сухая информация, а живой разговор с Леркой, из которого он узнает так необходимые ему в эти минуты подробности об Анечке Роговой. Не могла же Лерка, сама хирург (пусть и не кардиолог) не узнать их, не выведать у Вени. Посвящать Тоню в эти подробности Лерка не посчитала нужным (какое Тоне до них дело?!), а в разговоре с Алексеем всё передала бы и непременно посоветовала, как лучше всего поступить ему в сложившейся ситуации. А во-вторых, Лерка, только войдя в поезд, телефон, скорее сего, действительно отключила, чтоб немедленно лечь спать и как следует отдохнуть после сегодняшнего, столь тяжёлого для неё дня перед днём завтрашним, который обещает быть ещё более тяжёлым. Включит она телефон лишь утром, в Санкт-Петербурге, тогда и можно ей позвонить, хотя, конечно, будет уже и поздно: с Анечкой Роговой к тому времени случится то, чему и суждено случиться…

Поэтому Алексей оставил спящую, отрешённую от всех московских переживаний, от неурочных телефонных звонков (от Алексея ли, от пациентов ли, ожидающих и страшащихся операции на щитовидной железе, а то, глядишь, и от Тони, у которой что-нибудь не заладилось с Митькой). Пусть спит, пусть отдыхает, набираясь сил для завтрашнего дня, и пусть ей тоже приснятся ангелы…

Расставшись с Леркой и, ещё раз пожелав ей спокойной ночи, Алексей поправил у ног бутылку с цветами, которые были всё так же свежи и первозданны, словно только что сорванные с грядки, потом прислонил голову к оконному стеклу, чтоб самому задремать, хотя бы на несколько минут, ведь сегодняшняя ночь и весь завтрашний день предстоят тоже нелёгкими.

Но ничего у Алексея из этого не получилось. В потемневшем к вечерним сумеркам окне перед ним, будто наяву, проявилось бледно-восковое личико Анечки Роговой, её голубые широко открытые глаза, её мелко вздрагивающие совсем по-детски ещё припухшие губы, которые она при виде Алексея пыталась растянуть в тихую робкую улыбку. Какой уж тут может быть сон?!

Алексей отпрянул от окна, но Анечку из виду не потерял, видел и её голубые утомлённые ожиданием глаза, и её грустную, едва-едва приметную улыбку, ощущал в руках её тоненькие всегда горячие ладошки. Он начал перебирать в памяти все известные ему и по кардиологической литературе, и по собственной немалой практике осложнения, которые могли так вот внезапно случиться с Анечкой при её не столь уж и критическом

состоянии. И ничего не находил. Болезнь Анечки, хотя и запущенная, протекала, в общем-то, в пределах нормы, и плановой своей операции Анечка могла дождаться без особого для себя риска. Тогда, что же с ней произошло, что случилось, почему такая спешка?! И вдруг Алексея осенило: да ничего с Анечкой на самом деле не произошло, ничего опасного не случилось. Всё это затеи и придумки Вени, уязвлённого его самолюбия, профессиональной ревности (во врачебной, хирургической среде особенно недопустимой, если вообще не преступной): как же – он главный врач клиники, доктор медицинских наук, а кардиохирург посредственный, о чём знает любая медсестра и нянечка-санитарка. Вот Веня и решил в отсутствие Алексея доказать, что это не так и даже совсем не так, что он хирург не хуже других, уж, по крайней мере, опыта и знаний ему не занимать.

Анечку для удовлетворения своих амбиций он выбрал не случайно. Во-первых, болезнь её довольно распространенная в детском возрасте, рядовая, по мнению хирургов, болезнь, и Веня, взявшись оперировать Анечку, ничем не рискует или так ему кажется, что не рискует. Во-вторых, Анечка пациентка не московская, а из глубокой провинции и, если даже возникнут во время операции какие-нибудь непредвиденные обстоятельства, осложнения (хотя вряд ли), то никто к Вене излишних претензий предъявлять не будет: мать её – человек такой же безответный, как и сама Анечка. А больше заступаться за них некому.

Ради всей этой честолюбивой затеи Веня пошёл на двойной обман. Для Алексея он придумал вполне правдоподобную историю с выпиской Анечки из клиники по требованию каких-то высоких инстанций, которым Веня противостоять не в силах. А Лерку запугал внезапно возникшим у Анечки критическим, требующим немедленной операции состоянием, хорошо зная, что подробно вникать во все сложности операции на сердце она не станет из профессиональной своей деликатности. А если станет, то Веня, давний их друг и знакомый, с лёгкой улыбкой скажет Лерке, как не раз, случалось, говорил во время их взаимных и таких всегда доверительно-дружеских застолий, будь это в доме у Алексея или в доме у Вени: «Сердце, Лерочка, это тебе не щитовидная железа!»

Признаться по правде, Алексей никак не ожидал от Вени такого странного, совершенно недопустимого поступка, он даже не мог представить, что тот способен на него. В воспалённом своём негодующем состоянии Алексей решился сейчас же, немедленно звонить Вене, уличить его в обмане и потребовать в

самых нелицеприятных словах, чтобы он Анечку оставил в покое и до приезда Алексея не трогал. Но потом он всё-таки остыл и, более здраво и спокойно обдумав возникшую ситуацию, звонить Вене не стал.

Если с Анечкой действительно что-то случилось, то Веня сейчас в операционной, и ни о каких телефонных звонках не может быть и речи. Если же операция будет только завтра, то всё равно тревожить Веню дознаниями не стоит. Пусть он пребывает в тайном своём заблуждении и обмане и готовится к предстоящей операции в полном спокойствии и равновесии душевных сил. Даст Бог, всё и обойдётся. А разбираться они с ним будут после, когда Алексей вернётся в Москву, тоже немало пережив и во время похорон бабушки Устиньи, и во время нелёгких, наверное, разговоров с отцом, мачехой и, небось, ершистой в подростковом возрасте сестрой Марьяной. Состояния их с Веней уравновесятся, и они, если до конца и не поймут друг друга, то, во всяком случае, хотя бы внешне примирятся. Главное, чтоб с Анечкой всё обошлось.

В последний раз посмотрев на неё в окошко, Алексей, как можно ласковей улыбнулся ей и даже мысленно сказал:

– Ты не переживай, Анечка. Всё будет хорошо!

– Я и не переживаю, – успокаиваясь не столько сама, сколько успокаивая Алексея, ответила Анечка и исчезла где-то в полутёмных уже глубинах окна.

* * *

Маршрутка тем временем миновала окраину Чернигова, знаменитый его пригород Бобровицу, весь застроенный частными уютными домами-усадьбами, которые утопали, тонули в окружении садов, ломящихся под тяжестью налитых дозревающих яблок, груш и слив.

Глядя на эти домики-усадьбы, на эти сады и огороды за ними, так похожие на дом, сад и огород бабушки Устиньи, Алексею надо было бы отречься от всех своих треволнений, всё-таки живых и легко поправимых, и думать только о бабушке, которую уже не вернёшь и не воскресишь никакими силами.

Он и начал думать о ней, опять вспомнил все самые малые подробности свиданий с бабушкой (увы, по неискупимой вине Алексея столь редких и кратких), но потом вдруг безжалостно отодвинул их в сторону, в глухое и, наверное, ещё более неискупимое забвение. Перед ним почти воочию предстала Тоня, её

скуластое полумонгольское лицо, молодое и юное, каким Алексей запомнил его со студенческих времён (каким оно стало сейчас, он представить был не в силах – может, сохранилось таким же молодым и нетронуто-юным), её дыхание и её голос: и сегодняшний, донёсшийся к нему за тысячи километров по телефону: «Я помню, Алёша, я всё помню. Затем и приехала», и прежний, оказывается, не забытый Алексеем: «Не будет тебе счастья с Леркой, не от Бога она тебе жена». Вспомнились Алексею Тонины безудержные и безутешные слёзы в скверике, напротив общежития, а горячий её, первый и единственный, прощальный поцелуй накануне свадьбы Алексея и Лерки, вдруг вспыхнул на его губах, обжигая и испепеляя их, как будто случился только мгновение тому назад.

И что же было делать теперь Алексею с этими пророчествами-провидениями Тони, которые почти сбываются, несмотря на все его сопротивления, что делать с её замершим дыханием, с её голосом, слезами и поцелуем, когда он вернётся в Москву и встретится с ней?! Умом Алексей прекрасно понимал, что надо предать всё забвению, не оставив Тоне ни малейшего повода для воспоминаний, отстраниться от неё (а то и вовсе уйти в отчуждение), но душа его вся была в смятении и тревоге, неприкаянная и такая повинная сразу перед всеми: и перед Тоней, и перед Леркой, и перед самим собой. Легче всего, наверное, Алексею было бы действительно послушаться Лерку и задержаться у отца до девятин по бабушке Устинье, а то и дольше. Глядишь, Тоня догадается, что задерживается он неспроста, что не хочет, не желает и не жаждет встречи с ней. Прервав свою учёбу Тоня, уедет домой, в Сибирь, а у них с Леркой всё останется по-прежнему и даже лучше прежнего, потому что, пройдя и через это испытание (Алексей зримо и осязаемо, а Лерка подспудно, одним лишь женским чутьём – и от этого гораздо мучительней), они сроднятся ещё сильнее и нерасторжимей и вопреки всем предсказаниям Тони (поди, якутки, огнепоклонницы) поверят и почувствуют своими истомлёнными душами, что они даны и ниспосланы друг другу от Бога, навсегда и навечно…

Но как Алексей может задержаться в Большой Устиновке у отца и мачехи хоть на один лишний день?! Ведь в Москве его ждёт и так настоятельно требует к себе Анечка Рогова.

Решение надо было принимать сейчас, немедленно, чтоб в Большой Устиновке сразу объявить отцу, что он больше как два-три дня пробыть в селе не может – так складываются у него в Москве обстоятельства. Но Алексей всё откладывал и отклады-

вал, всё медлил и медлил с принятием этого решения и домедлился до того, что вдруг нашёл для себя спасительную лазейку. Разумнее всего определиться с обратным отъездом на месте, в селе, и не сразу, а хотя бы на второй день после похорон бабушки Устиньи, когда они сходят по обычаю всей семьёй на свежую её могилу, чтоб помянуть уже своим узким родственным кругом. Иначе отец, и без того обиженный на Алексея, обидится ещё сильнее. Его обиду подхватят и мачеха, и Марьяна и, если не скажут, то вполне справедливо подумают об Алексее: «Зачем тогда и приезжал, коль бежит, едва успев проститься с бабушкой: её теперь с того света не вернёшь, а с отцом и его семьёй Алексею надо жить в родстве и единении, чего так хотела покойная». Ладно, мачеха, чужой для Алексея человек, но ведь отец и Марьяна, родные и близкие ему по крови люди, и надо эту кровную близость с ними укреплять всеми силами, чтоб не порвалась хрупкая родовая связь времён, без которой человек одинокое и никому не нужное существо.

У Алексея, по его вине или не по его, но именно так всё и происходит. Почти порвалась связь с отцом, с его новой семьёй (а после смерти бабушки Устиньи, если Алексей и дальше будет вести себя по-мальчишески отчуждённо, она порвётся окончательно); едва-едва теплится связь с матерью и, что самое страшное, рвётся, казалось бы, такая прочная связь с Леркой, после которой начнёт рваться связь и с Митькой.

Допустить этот разрыв и разрушение никак нельзя, преступно и ничем не оправданно. Вот простится Алексей с бабушкой (пусть и запоздало, но попросит у неё прощения уже у гроба) и, отбросив все ложные, надуманные обиды, заново обретёт отца, породнится с мачехой, и особенно с сестрой Марьяной, для которой он старший брат и защитник (во всяком случае, должен быть таким). Потом, вернувшись домой, Алексей самым жёстким, а может, и жестоким образом даст понять Тоне, что приехала она совершенно напрасно, что никогда, ни при каких обстоятельствах ей не удастся встать между ним и Леркой, несмотря на все её честолюбивые пророчества. Этого не допустит ни Алексей, ни Лерка, ни сам Бог, если только он видит, как они с Леркой живут и любят друг друга. А чтоб эта любовь ещё сильнее укрепилась, они возьмут и обвенчаются, а потом родят для одинокого пока по их вине Митьки брата или сестрёнку.

Незамедлительно надо решать что-то и с матерью. Лучше всего, наверное, взять да всей семьёй, с Леркой и Митькой, поехать к ней в Курск, познакомиться там с новым её (впрочем, уже

столь давним) мужем Вячеславом и братом Вячеславом, Славиком, с которым Алексей, может быть, подружится и сроднится даже крепче, чем с Марьяной, всё-таки они братья, мужчины, а мужская дружба всегда самая крепкая и прочная.

Из Курска сразу двумя семьями (вернее, уже одной, восстановленной) им надо бы поехать в Пензу, в Кирпичный Завод, чтоб и Митька, и Вячеслав-Славик почувствовали кровную свою связь с прабабушкой Зиной и прадедом Колькой, поняли и оценили их тяжёлую (тяжелейшую) жизнь, которая так или иначе определила их рождения и их детские судьбы…

Хорошо и отрадно было Алексею от таких здравых, простых и во всём справедливых мыслей. Но он пошёл ещё дальше и додумался до мыслей совсем уже философских, мол, потому-то и рушится, потому-то и идёт на разрыв вся наша многострадальная страна, держава, что повсеместно рушатся семьи, рвётся связующая их нить и с настоящим, текущим временем, и с прошлым, прошедшим, и совсем порвётся с будущим. И никого тут, кроме нас самих винить нельзя!

С твёрдым этим намерением скрепить, связать в единое целое все времена для начала хотя бы в собственной семье, где Алексей теперь и по возрасту, и по своему положению – глава, он и ехал в быстролётной маршрутке последние километры до районного центра к последнему свиданию с бабушкой Устиньей и первому, возрождающемуся, с отцом, мачехой и сестрой. Конечно, Алексею надо было решиться на такую поездку раньше, при жизни бабушки, но, может, и сейчас ещё не поздно, может, только потеряв её, Алексей и смог придти к столь естественной мысли, что нельзя же так существовать дальше, надо бороться и упреждать разрыв. Да раньше у него и не было на эту борьбу ни силы воли (духовной силы), ни просто физической силы. А сейчас они, несомненно, есть, и с каждым мгновением всё укрепляются и укрепляются в нём.

Алексей поправил чуть пошатнувшийся и склонившийся на сторону от толчка на неровной, почти просёлочной дороге букет, и начал думать теперь уже только о бабушке, оставляя всё прочее на потом, на ближайшие после её похорон дни.

И вдруг на самом подъезде к районному городку в окошке снова мелькнуло лицо Тони, а потом и Лерки, как будто они обе всё это время незримо сопровождали его за металлической и стеклянной обшивкой маршрутки.

Тоню Алексей остановил и отверг сразу, сказав ей то, что и намерен был сказать в глаза по возвращении в Москву:

– Уйди!

И Тоня покорно ушла и исчезла где-то в надвигающихся августовских сумерках и тумане.

А Лерку Алексей, наоборот, приблизил к себе, обнял сквозь остывающее к ночи стекло за плечи и стал вспоминать (и приглашать к этим воспоминаниям её) первый, медовый, их месяц совместной жизни. Но почему-то не испепеляющие их обоих, горячие ночи или томительно длинные дни в ожидании этих ночей, а всего лишь один случай, который произошёл в доме у Константина Игнатьевича и Маргариты Александровны, и о котором ни Алексей, ни Лерка никогда не вспоминали.

Вскоре после их свадьбы Вера отмечала свой день рождения. Поборов противостояние Константина Игнатьевича и особенно Маргариты Александровны, она пригласила на праздник Лерку с Алексеем. Не пригласить было вроде бы неудобно: всё-таки Лерка младшая её, прежде так горячо любимая, сестра, с которой у них неразлучно и счастливо прошли детство и юность. А что Лерка вышла замуж вопреки родительской воле за случайного какого-то сокурсника, у которого все родственники воры и бандиты, так это её личное дело, не Верке же жить с ним.

Лерка и Алексей приглашение приняли, хотя и с большими сомнениями, ведь волей-неволей придётся им общаться с родителями, и те, с пристрастием следя за каждым их шагом, за каждым произнесённым словом (и в первую очередь, конечно, за каждым шагом и словом Алексея), поди, лишь укрепятся во мнении, что Лерка сделала в своей жизни роковую ошибку (мединститут – это ладно, с этим они кое-как к тому времени уже смирились) – вышла замуж за неотёсанного провинциального парня и теперь будет мучиться с ним сама и мучить Константина Игнатьевича с Маргаритой Александровной.

Правда, была у Алексея с Леркой и зыбкая надежда, что, может быть, всё случится как раз наоборот. Пообщавшись в семейной праздничной обстановке с Алексеем, Леркины родители найдут в нём не одни только недостатки, а и несомненные достоинства: уравновешенный характер (хотя на самом деле он далеко не такой), мужскую силу и красоту, что для Маргариты Александровны всегда играло не последнюю роль – и сменят гнев на милость, решив, что за этим провинциальным парнем, если только его немного отесать и научить приличным манерам, непослушная их дочь будет жить, как за каменной стеной.

Кроме Алексея и Лерки на празднике было много других гостей, высокопоставленных сослуживцев Константина Игна-

тьевича и Маргариты Александровны, знакомых Веркиного мужа из дипломатического корпуса, её подружек, сокурсниц по МГИМО, замужних, составивших себе по примеру Верки хорошие партии с дипломатами, с подающими большие надежды военными деятелями из Генштаба, с богатыми бизнесменами или с успешными чиновниками московских администраций всех уровней, и пребывающих ещё в девичестве, ищущих себе на таких вот вечеринках высшего круга поклонников и будущих мужей.

Но гостем номер один был матово-коричневый, высокий и по-своему красивый араб, тоже бывший сокурсник Веры. И не простой сокурсник (простого Верка ни за что бы на свой день рождения не пригласила – зачем он ей нужен), а ни мало, ни много наследный принц из ближневосточного какого-то государства. Сейчас этот наследный принц работал в дипломатическом представительстве своего государства в Москве, набирался практики в ведении международных дел, которые после, когда он займёт место престарелого уже отца, будет ему крайне необходима.

Одет принц был в дорогой, безупречно подогнанный к его высокой широкоплечей фигуре европейский костюм и в белоснежную рубашку от какого-то знаменитого французского кутюрье. На длинной его, но, чувствовалось, хорошо натренированной шее красовалась такая же белоснежная бабочка, украшенная бриллиантовой булавкой, а на пальцах обеих рук перстни и кольца один лучше другого. Судя по всему, наследный принц был неравнодушен к перстням и азиатским украшениям.

Верке он тоже подарил украшение: бриллиантовое колье в несколько искусно сплетённых снизок, о цене которого неприлично даже было говорить. Глядя на это колье, Алексей и Лерка невольно застыдились своего более чем скромного студенческого подарка: набора входящей тогда в моду иностранной косметики. Но что было делать, они и на этот подарок с трудом нашли деньги, частью из тех, что ещё остались у них от свадебных благодеяний Алексеевой матери, а частью, войдя в долги, которые и не знали, как и чем будут отдавать.

С первых минут появления в доме окружённый всеобщим вниманием (можно был подумать, что именинник он, а не Верка) наследный принц вёл себя с высоким достоинством и честью, как и полагается особам королевской крови. Делать это ему было тем более легко, что по-русски наследный принц говорил без малейшего акцента, словно именно русский язык был его

родным, природным, и никаких иных он не знает и знать не хочет.

Праздник поначалу складывался как нельзя лучше. Один за другим следовали тосты, вначале, разумеется, за Верку, потом за её родителей, за друзей и знакомых, за дружбу народов и так далее, и тому подобное. Говорить велеречивые тосты мастеров и умельцев оказалось немало. Но наследный принц и тут всех перещеголял. Высоко поднявшись над столом, он склонил курчавую свою голову перед Веркой, рядом с которой (по правую от неё руку) и сидел, как самый почётный гость, и вдруг очень проникновенно прочитал в честь именинницы стихотворение Пушкина:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолётное виденье,
Как гений чистой красоты…

Все встретили это стихотворение шквалом аплодисментов, в том числе и муж Верки, дипломатично понимая, что в признании принца в любви к имениннице нет ничего зазорного и двусмысленного, тем более что там есть слова, как бы напрямую относящиеся к нему, Веркиному мужу: «Как дай Вам Бог любимой быть другим». Он по праву и был этим другим и любил Верку (во всяком случае, в его любви тогда не сомневались ни Верка, ни Константин Игнатьевич с Маргаритой Александровной, ни он сам) так искренне и так нежно, как никто иной любить её не мог и не смел…

Пил наследный принц тоже истинно по-русски, не пропуская ни единой рюмки (и в основном водку, к чему очень одобрительно отнеслись действующие и отставные генералы, товарищи по оружию Константина Игнатьевича), закусывал, опять-таки, сугубо по-русски, прочно и основательно, поэтому и не пьянел, как не пьянели, не позволяли себе пьянеть согласно их положению и статусу русские генералы, а лишь становился веселей и энергичней, очаровывая всю компанию.

Когда начались танцы, принц по всем дипломатическим светским этикетам станцевал первый вальс с виновницей торжества, Веркой, вызвав тем самым нескрываемую зависть у её подружек-сокурсниц, и особенно у незамужних. Они с трудом простили ему этот поступок (почти граничащий с проступком, преступлением) и стали с нетерпением ожидать следующего

танца, надеясь, что принц увлечётся сейчас какой-нибудь из них и втайне уже строили далеко идущие планы.

Но принц коварно обманул их надежды и начал вдруг танец за танцем приглашать Лерку, которую заметил и, похоже, выделил среди всех прочих гостей, когда она, поздравляя Верку, произносила свой коротенький не очень замысловатый тост.

Никакой ревности столь повышенное внимание принца к Лерке у Алексея тоже не вызвало. Наоборот, он даже загордился, что заморский принц выбрал именно её, не мог не выбрать, потому что Лерка была на празднике самой заметной и самой красивой женщиной. Все остальные в подмётки ей не годились, несмотря на своё высокое положение в дипломатических кругах, семейные и служебные связи мужей и поклонников, несмотря на все женские ухищрения: дорогие наряды, изысканнее причёски, тончайших запахов духи, длинные наклеенные ресницы, яркую и ярчайшую помаду – в этом Алексей не сомневался ни капли.

Сам он не танцевал. И не потому, что не умел или не хотел, а потому что: во-первых, всё-таки немного стеснялся и чувствовал себя скованным в новом незнакомом обществе; во-вторых, потому, что ни с какой иной женщиной, кроме Лерки танцевать не испытывал ни малейшего желания (а она была постоянно занята принцем), хотя Алексею, наверное, полагалось бы пригласить на танец и Верку-именинницу, и Маргариту Александровну, чтобы во время танцев растопить недоверие к себе; и, в-третьих, Константин Игнатьевич то ли случайно, то ли намеренно оттеснил Алексея от женского общества и увлёк в круг своих военных товарищей, которые к танцам тоже не стремились, а мирно беседовали на дальнем конце стола, с большим знанием дела выпивая рюмочку за рюмочкой. Узнав, что Алексей служил на Северном подводном флоте, Константин Игнатьевич стал рассказывать, что в своё время он был знаком со всеми командующими Северного флота, начиная с пятидесятых годов. Да что там с командующими Северным или каким иным флотом, Константин Игнатьевич был знаком с командующими военно-морским флотом СССР, а молодые годы, ещё лейтенантом, встречался даже несколько раз с опальным адмиралом Кузнецовым. Вот это был адмирал так адмирал, командующий так командующий, образованный, умный, знающий несколько иностранных языков, гениальный флотоводец, что там и говорить. Жаль, что его послевоенная судьба сложилась так неудачно.

Остальные генералы тоже подключились к беседе Константина Игнатьевича с Алексеем, пустились в свои флотские и сухопутные воспоминания, делились с Алексеем, как с равным военным человеком, своими оценками бывшего и нынешнего состояния армии и флота. И в этом тесном кружке людей, с полуслова понимающих друг друга, Алексей зримо почувствовал, что Константин Игнатьевич теплеет и смягчается душой, хотя изредка и оглядывается на Маргариту Александровну, которая, кажется, не очень одобрительно относится к его беседе с непутёвым зятем. К сожалению, с этого помягчения в дальнейшем ничего не вышло, и Константин Игнатьевич по отношению к Алексею во всём принял сторону Маргариты Александровны. И принял очень скоро, всего через десять-пятнадцать минут после столь задушевных разговоров с ним.

Утомлённые гости время от времени делали перерыв в танцах: одни возвращались назад к столу, опять выпивали (иные так и на брудершафт) и закусывали; другие (в основном молодёжь) выходили на балконы, которых в обширной генеральской квартире Константина Игнатьевича было, кажется, три или четыре, чтоб покурить и упрочить начавшие завязываться новые знакомства.

Несколько раз уходила на балкон и Лерка – и всегда в сопровождении принца. Ещё со студенческой поры Лерка на шумных пирушках в общежитии пробовала, подражая подружкам, курить, но как-то смешно и неумело, табачным дымом не затягивалась, в грудь, в лёгкие его не пускала, а лишь, подержав несколько мгновений во рту, выдыхала воздушно-парящим облаком. Всерьёз к курению она так и не привыкла, но поддержать компанию курильщиков могла, дабы не оставаться среди друзей и подружек одинокой и отверженной.

Судя по всему, Лерка и сейчас вспомнила старое и соблазнилась дорогими королевскими сигаретами принца. Ничего страшного в этом Алексей не видел: вечеринка есть вечеринка (да ещё такая, как нынче – богатая, с именитыми высокопоставленными гостями) – можно немного и расслабиться, отдохнуть, тем более, что в повседневной жизни у Лерки с Алексеем отдых случается редко. Нисколько не задело Алексея и то, что Лерку сопровождает на балкон принц: не убегать же ей от него, постоянного партнёра в танцах, не скрываться же, давая понять, что она уже притомилась излишним его вниманием к себе. Отказ её обидит и разочарует принца, что сразу заметят и Верка и Маргарита Александровна и после выскажут

Лерке своё недовольство и упрёк за её неучтивое высокомерное поведение.

Знать бы Алексею, чем закончатся все эти уединения Лерки с принцем на балконе, он бы ни на шаг не отпустил её от себя. Но он был беспечен, как часто и бывают беспечными и легкомысленными молодые влюблённые мужья. Беседа с Константином Игнатьевичем и генералами всё больше и больше увлекала Алексея. Генералы тоже не на шутку увлеклись ею. Особенно после того, как разведали, что Алексей не только бывший моряк-подводник, а ещё и без пяти минут хирург-кардиолог. Генералы тут же стали жаловаться ему на свои изношенные сердца: где и как они болят (то саднят и томятся, то колют и отдают тупой болью под лопаткой), что генералам, лучше пить, водку или коньяк, и как вести себя, если вдруг, не дай бог, случится инфаркт. Алексей, вникая во все жалобы генералов, подробно отвечал на их вопросы, давал объяснения и советы и совершенно не обратил никакого внимания на то, что Лерка уединилась с принцем на самом дальнем, кухонном, балконе подозрительно надолго. Все курильщики и курильщицы давно уже вернулись в комнату и сгрудились вокруг стола, на который был водружён громадный торт с пылающими свечами, а Лерки и принца всё не было и не было.

И вдруг оттуда, из дальнего этого кухонного балкона донёсся душераздирающий, зовущий на помощь и защиту крик Лерки:

– Алексей! Лёша!

Никогда прежде Алексей не слышал от Лерки подобного крика и никогда прежде она не называла его Лёшей.

Оставив испуганных, но ничего не понимающих старых генералов, Алексей в два-три прыжка оказался на балконе и увидел вначале наполненные ужасом и сопротивлением глаза Лерки, а потом навалившуюся на неё, какую-то изогнутую и изломанную фигуру принца. Одной рукой он с остервенением рвал на груди Лерки кофточку, а другой, украшенной перстнями и кольцами, приподнимал её юбку и цепко тянулся по оголённому бедру всё выше и выше.

Не помня себя, Алексей схватил принца за воротник дорогого костюма, развернул и ударил с такой силой, с какой никого не бил ни в детские свои годы на низовых курских улочках, ни в юности, в Ленинградском ПТУ, во время схваток с местной шпаной, которая пэтэушников неизвестно почему не любила и презирала, ни даже в армии, когда, захлестнув на запястье флотский ремень с латунной бляхой, морячкам приходилось идти

стенка на стенку с боевыми порядками ревнивых к подводникам противников из других сухопутных родов войск или, опять-таки, из местных приблатнённых ватажек.

Кровь (оказывается, такая же красная и густая у принца, как и у всех остальных смертных) сразу брызнула у него с лица, из разбитого носа и губ, окрасила бурыми пятнами белоснежную рубашку и бабочку. Вдобавок ко всему, принц, падая, разбил широкой своей спиной стекло в кухонной двери и порезал себе шею осколками.

– Ми-ли-цию! – первой обнаружив побоище, впала в истерику Маргарита Александровна. – Скорей милицию! Он убьёт его!

Константин Игнатьевич трясущимися руками стал набирать телефон милиции, но никак не мог попасть пальцами в ячейки телефонного диска. Его подменила вся побагровевшая Верка. Она справилась с телефоном в одно мгновение и уже кричала, требовала милицию, не забыв в первую очередь предупредить, что скандал случился в квартире генерала, генерал-лейтенанта. Но её, быстро придя в себя, остановил принц.

– Ни в коем случае – милицию! – вдруг с неведомо откуда прорезавшимся акцентом крикнул он.

Верка осеклась в разговоре, тоже быстро сообразив, что принц, конечно, прав: звать милицию, а значит, предавать огласке всё происшествие на её дне рождения действительно было совершенно неразумно и опасно. Получится международный скандал: избили представителя иностранного государства, да ещё наследника престола, да ещё араба, что повлечёт за собой непредсказуемые осложнения.

Последнее обстоятельство досужие журналисты раздуют прежде всего: наследник престола избит на почве национальной, расовой неприязни в присутствии дипломатов, генералитета и известных юристов. А поскольку всё случилось на дне рождения Верки, то сложнее всего будет выбираться из скандала её мужу, который не смог предотвратить избиение и за это должен быть сурово, в назидание другим наказан, понижен в должности, а то и вовсе уволен с дипломатической службы. Верка всё это в два счёта сообразила и просчитала и дала милиции отбой.

Принца тем временем сердобольные женщины во главе с Маргаритой Александровной начали отмывать от крови, смазывать раны йодом, накладывать пластыри, и никто из них не посмел расспрашивать его, что же произошло на балконе и почему этот случайный в их компании маловоспитанный человек

набросился на ни в чём не повинного, столь уважаемого гостя, принимать которого в доме для любой русской семьи высокая честь. Им и так было всё ясно. Русский мужик напился, приревновал иностранца к жене и учинил драку.

Принц полностью отдался во власть женщин и тоже помалкивал, ничего не объяснял (не в его интересах были эти объяснения), он лишь потребовал себе водки и, выпив её, великодушно сказал про Алексея:

– Я его прощаю.

Впрочем, может быть, позже, когда успокоившиеся гости собрались вновь за столом вокруг торта с почти догоревшими свечами, что-нибудь и объяснил поподробней, дабы удовлетворить повышенное любопытство женщин и готовых встать на его защиту (а заодно и государственных международных интересов) старых генералов, но ни Алексей, ни Лерка этих объяснений уже не слышали.

Не дожидаясь, пока Маргарита Александровна и Константин Игнатьевич (и особенно Верка) начнут выпроваживать их из дома с негодующим требованием больше никогда не переступать его порог, Алексей и Лерка ушли по доброй воле.

По дороге к метро, и в самом метро, и позже, в троллейбусе, они не обмолвились о происшедшем ни единым словом. Ехали молча и отчуждённо, стараясь не смотреть друг другу в глаза. Лерка ни в чём не оправдывалась перед Алексеем; Алексей ни в чём не обвинял Лерку, даже полунамёком не пытаясь выяснить, подала она или не подала повод принцу для подобного поведения.

Им обоим тоже вроде бы всё было ясно: на честь и достоинство Лерки посягнули самым недопустимым образом, и Алексей, как мог, защитил и отстоял эту её честь и это её достоинство. Но осадок в душе у них обоих остался на всю жизнь…

Если бы не остался, то после они, наверное, с улыбкой на устах вспомнили бы, и не один раз, этот злополучный случай, разобрались бы в нём, взаимно посмеялись бы над ним и взаимно простили друг друга, хотя вроде бы ни в чём и не были друг перед другом виноваты. Но не вспомнили и не простили. Вернее, не вспомнили совместно, вдвоём, а вот каждый по отдельности вспоминал и по-своему оценивал случай на дне рождения Верки, который омрачил всю их дальнейшую жизнь.

По крайней мере, вспоминал Алексей. Не часто, но вспоминал. И каждый раз вставали перед ним зовущие на помощь глаза Лерки и руки араба, украшенные кольцами и перстнями:

одна – рвущая на её груди кофточку, а другая, по-кошачьи цепкая, с тоже как будто выпиленными из драгоценных камней ногтями, безнаказанно пробирающаяся всё выше и выше по обнажённому Леркиному бедру, оставляя на нём кровоподтёки и ссадины.

Алексей видел и самого себя, разъярённого и страшного в этой ярости и гневе, чувствовал всем телом и мстительный свой удар, который смог вынести только натренированный араб с бычьим его здоровьем. Но, увы, ни праведный удар-отмщение, ни залитая кровью физиономия наследного принца облегчения Алексею не приносили. Наоборот, ему становилось только хуже. Алексей старался уйти от назойливых этих воспоминаний, отстраниться от них, но ничего поделать с собой не мог – они возникали опять и опять, и Алексей с каждым разом всё настойчивей и настойчивей обвинял во всём не араба, а Лерку, хотя умом и рассудком понимал, что она жертва, а не преступница. Но ничем не объяснимое и не подтверждённое сомнение так навсегда и осталось в душе Алексея.

Вот и сейчас, по дороге на похороны бабушки Устиньи, когда ни о чём ином, кроме как о ней думать нельзя, непозволительно и кощунственно, оно опять само собой возникло у Алексея, и все его восторженные мысли о единении, о взаимной непреходящей любви, рассыпались в прах и пепел. Всё разорвано в этом порочном мире, и концы разорванных нитей безвозвратно потеряны…

* * *

Кое-как отрешился Алексей от своих видений лишь на автостанции родного для бабушки Устиньи, отца и его нынешней семьи районного железнодорожного городка, который должен был по праву родового наследия стать родным и для Алексея, а потом и для Митьки, но, увы, не стал.

Выйдя из маршрутки, Алексей приладил дорожную, показавшуюся ему сейчас довольно тяжёлой сумку на плечо, а бутылку с цветами, тоже заметно потяжелевшую, прижал рукой к груди и начал выбираться на узенькую ленточку асфальта, которая вела в Большую Устиновку. Но, сделав всего несколько шагов, Алексей остановился с твёрдым намерением вылить из бутылки воду (да, может, выбросить и саму бутылку), всё станет легче и удобней шагать ему по асфальту. Цветы же за полтора часа, что Алексей будет пребывать в пешей дороге, теперь уже,

поди, не завянут и не поникнут: дневная иссушающая всё живое жара спала, не устояв перед напором вечерней освежающей прохлады.

И вдруг он увидел на небольшой площадке с тыльной стороны автостанции несколько машин такси, которые призывно заманивали пассажиров оранжевыми шашечками. Алексей немало удивился этому. Надо же, и сюда, в такую глухомань добралась цивилизация – народ стал ездить на такси, хотя, казалось бы, куда здесь ездить: весь городок от одного конца до другого можно обойти за час. Но, стало быть, ездит, катается с шиком. Возник спрос, потребность – и тут же объявились предложения. Пошла новая жизнь, рынок, предпринимательство, всяк зарабатывает деньги, как может, и всяк тратит их, как хочет и считает нужным.

Алексей покрепче прижал бутылку с цветами к груди, свернул на стоянку и постучался в окошко первой попавшейся машины. Дверца сразу широко распахнулась, и из глубины салона вынырнул, сразу чувствовалось, разбитной и оборотистый водитель, мужчина примерно одних лет с Алексеем.

– До Большой Устиновки довезёте?! – по правде говоря, не очень надеясь на удачу, склонился к нему Алексей.

– Отчего же не довезти?! – услужливо откликнулся водитель. – Были бы деньги.

– Смотря какие?! – на всякий случай проявил осторожность Алексей.

Водитель назвал цену.

– Ну, эту сумму мы выдержим, – прикинул свои возможности Алексей, хотя и почувствовал, что цена эта завышена вдвое, а то, может, и втрое.

Но мелочиться и вступать с таксистом в долгие переговоры ему не хотелось: не тот у него был случай и не та дорога, чтоб торговаться.

– Тогда садись, – сразу переходя на «ты», как будто они были знакомы сто лет, совсем уж по-свойски распахнул таксист дверцу навстречу вечернему выгодному пассажиру.

Алексей медлить не стал, тоже по-свойски, не спрашивая у таксиста позволения, бросил сумку на заднее сидение, хотя, наверное, разумнее было бы спрятать её в багажник, а цветы забрал с собою и удачно пристроил их между ног, не потревожив ни единого бутона.

Таксист, заводя мотор, не преминул обратить на цветы внимание, спросил так, как у Алексея на протяжении всей дороги

от Киева до районного городка не раз уже спрашивали, кто с интересом и участием, а кто праздно, лишь бы спросить:

– На свадьбу или как?..

«Или как», – хотелось ответить Алексею, чтоб прервать простодушные его вопросы в самом начале, но потом он всё-таки решил не озадачивать таксиста, не огорчать его намёками на свои не очень весёлые обстоятельства и ответил так, как тоже уже не раз отвечал:

– На свадьбу.

– Погуляешь! – завистливо воскликнул таксист, но на цветы больше не обратил никакого внимания, не стал интересоваться, кому они предназначены: жениху или невесте, а лишь прибавил газу и помчал Алексея со свадебным разгульным ветерком по вечернему вспыхивающему кое-где в окнах жёлто-горячими огоньками городку.

– Погуляю! – совсем не в тон и невпопад таксисту (не столько, впрочем, ему, сколько самому себе) ответил Алексей и вдруг опять вспомнил своего ночного попутчика, десантника Гену, который действительно ехал на свадьбу, и сейчас гуляет на ней во всю ширь и размах.

А Алексея ждут совсем иные гуляния…

Таксист, почувствовав, что пассажир к разговорам не очень расположен, потерял к нему всякий интерес, ехал лихо и даже как-то небрежно, словно говоря тем самым Алексею, что не тот он пассажир, с которым можно осторожничать и церемониться. Изредка таксист высовывался в окно и начинал что-то насвистывать, весёлое и задорное, нескрываемо радуясь, что ему выпала к ночи недальняя и такая выгодная поездка.

Дорога была пустынная и безлюдная: ни одна машина или частый в этих местах велосипедист, или хотя бы пешеход не попались им навстречу, и тем более никто не обогнал их (попробуй, обгони такого лихача), и всё это ещё больше радовало таксиста, который, должно быть, уже прикидывал в уме, что обернётся в поездке всего за полчаса и, глядишь, до конца смены подберёт на автостанции ещё одного или двух пассажиров.

Но на самом въезде в Большую Устиновку дорогу машине неожиданно перегородило коровье, устало бредущее с пастбища стадо.

– Я так и знал, – с досадой переключил скорость таксист. – По деревням ездить – одно мучение.

Он отчаянно начал сигналить, пытаясь пробиться сквозь подёрнутый пылью коровий заслон, и с укоризной поглядывал

на Алексея, как будто это именно он был повинен в том, что на дороге возникло такое непредвиденное препятствие.

Таксисту принялся помогать пастух, древний какой-то старичок в затёрханной, явно с чужого плеча нейлоновой куртке-ветровке и ещё в более затёрханной и поношенной фетровой шляпе, тоже с чужой головы. Длинной лозовой хворостинкой он суетно и заполошно стал разгонять коров на обочины асфальта, что-то грозно, но не очень злобливо кричал, называя каждую по кличке. Но Зорьки, Звёздочки и Лыски, судя по всему, хорошо привыкшие и к машинам, и к пустопорожним крикам немощного своего погонщика, не обращали никакого внимания ни на протяжные с раздражительным завыванием сигналы машины, ни тем более на крики старика. С асфальта на песчаную обочину они сходили нехотя, лишь после того, как таксист почти наезжал им на ноги бампером. Досталось от него и пастуху. Высовываясь из окна, таксист, ругал его, на чём свет стоит:

– Гони ты их, задрипанных!

– Да гоню я, гоню! – пробовал оправдываться пастух, сам едва не попадая под колёса машины.

Но Алексей видел, что старик, в очередной раз уклонившись от машины, успевает поглядеть в его сторону, безошибочно, должно быть, определяя, что этот незнакомый ему в машине мужчина едет на ночь глядя, не иначе как на похороны умершей старухи Устиньи. Больше ехать вроде бы и не к кому…

Наконец таксист одолел коровью преграду и, прибавив скорость, спросил Алексея:

– Тебе куда?

– К церкви, – указал тот единственный известный ему ориентир, смутно, но всё-таки помня, что бабушкин дом стоит недалеко от церкви, третьим или четвёртым в порядке.

Ехать было ещё далеко, считай через всё село по широкой наполняющейся людьми и вечерними деревенскими звуками улице. Из калиток то там, то здесь выглядывали, готовясь встречать с пастбища коров, женщины; на лавочках сидели с посошками в руках старики и старухи. Отстранённые по немощи своей от всех домашних дел и забот, они вели неспешные стариковские разговоры, которые были теперь для них, может быть, последней уже радостью. Алексей, почти не сомневаясь, подумал, что беседуют старики и старухи о бабушке Устинье, своей ровеснице, горюют о ней и готовятся к завтрашним похоронам.

В нескольких местах, прямо на проезжей части дороги, не опасаясь редких в это вечернее время машин, играли (вернее,

доигрывали в сумерках) в футбол и какие-то новые, уже неведомые Алексею игры, мальчишки и девчонки.

По обочине важно шествовали, вдоволь нагулявшись и насытившись на реке, на луговых пастольниках утки и гуси. Утки, ведомые зеленоголовыми селезнями, дисциплинированно шли друг за дружкой, тяжело переваливаясь на коротких лапках и почти касаясь гузками земли. А гуси, тесно объединившись вокруг грузных, насторожённо вытягивающих на каждый посторонний звук длинные гибкие шеи гусаков, брели многочисленными задумчивыми стайками. Места им на песчаной обочине не хватало, и то одна, то другая гусыня или молодой гусачок-подлёток выбивались на асфальт и начинали восторженно гоготать, словно радуясь своей нечаянной свободе.

Таксисту вольно или невольно опять приходилось притормаживать и сбрасывать скорость (хорошо ещё, что на улице не было кур, которые по глупости своей вечно кидаются под колёса машинам – хозяйки, как только начало смеркаться, загнали их в сараи и будки и закрыли на щеколды). Он с негодованием покрикивал и на детей, и на уток, и на взрывающихся в ответ на его крики разноголосым гоготанием гусей и нескрываемо мрачнел от досады, что поездка его так затягивается.

В Большой Устиновке таксисту, похоже, бывать доводилось. Он хорошо знал дорогу, все её повороты и изгибы, знал, где находится церковь, и ни разу больше не спросил Алексея, как и куда ехать, а лишь время от времени поглядывал на часы, совсем отчуждался и явно намекал пассажиру, что за все эти задержки и неудобства надо бы накинуть сверх договорённой оплаты ещё хотя бы полсотню.

Но Алексею было уже не до таксиста, не до его раздражений и недовольства. Едва они въехали в село, он сразу весь собрался и сосредоточился, как перед тяжёлой с непредсказуемым исходом операцией. Алексей вдруг представил себя уже в халате, в маске и операционных туго натянутых на руки перчатках. Ещё мгновение-другое, и он шагнёт в операционную, где его ждут медсестра, анестезиолог и помощники-ассистенты (один-два или целая бригада в зависимости от сложности предстоящей операции), а на столе лежит в глубоком наркозе больной – и этот больной, несомненно, Анечка Рогова. Почему именно она привиделась Алексею, он понять и объяснить был не в силах, но отчётливо и ясно узнал на операционном столе худенькое вытянувшееся в струнку тельце Анечки и уйти от этого неожиданно настигшего его видения опять-таки сил в себе не находил.

Оно чуть потеснилось, отошло в сторону лишь в те минуты, когда такси проезжало мимо соснового деревенского кладбища, на котором, наверное, уже вырыта для бабушки Устиньи могила рядом с могилою дедушки Алексея Степановича.

Алексей начал пристально вглядываться в сумрачную темноту кладбища, надеясь увидеть там резко выделяющийся на фоне этой темноты жёлто-белый бугорок песка, выброшенный из глубины ямы. Но он ничего не увидел: машина промелькнула мимо кладбища слишком быстро и стремительно, да Алексей и не знал, не помнил, в каком конце кладбища находилась могила дедушки Алексея Степановича и где надо искать песчаный свеженасыпанный бугорок.

Анечка опять вернулась к нему, и Алексею пора уже было заходить в операционную, брать в руки инструменты и, отстраняясь от всей внешней земной жизни, думать только об одной Анечке, о её гулко бьющемся в крошечной груди сердце. Но вместо этого Алексей совсем не ко времени и не к месту подумал о предстоящей ему через несколько минут встрече с отцом, мачехой и Марьяной. И даже не о самой встрече, а о том, как Алексей будет здороваться с ними. По древнему православному обычаю, которому его ещё в детские годы научила мать, вынеся этот обычай из Кирпичного Завода, где смертей ей пришлось насмотреться вдоволь, здороваться на похоронах за руку, желать у гроба умершего, покойного человека друг другу здоровья не принято, не положено и грешно. Можно обнять, прижать в скорбные похоронные часы близкого тебе, родного человека к груди, чтоб облегчить непереносимые страдания и ему, и себе. Алексей готов был обнять у гроба бабушки Устиньи и отца, и мачеху, и единственную свою сестру Марьяну, но как ему это сделать, если он облачён во всё стерильное: халат, шапочку, перчатки, и любое прикосновение к нестерильным предметам (а к людям тем более) может привести к самым печальным последствиям, к гибели и смерти Анечки…

Привёл Алексея в чувства, вернул к реальной жизни таксист.

– Теперь куда? – посмотрел он на показавшуюся на возвышенности церковь.

– За поворотом четвёртый дом, – очнулся Алексей и с замершим, учащённо забившимся сердцем стал всматриваться в церковь, где его когда-то крестили и где завтра непременно, конечно, будут отпевать бабушку Устинью.

Таксист тем временем круто развернулся почти возле самой церковной ограды и, притормаживая машину, начал съезжать с асфальта к дому бабушки.

За все эти годы, что Алексей не видел его, дом почти не изменился. Он всё также, словно какой сказочный терем-теремок, прочно и основательно стоял на высоком кирпичном фундаменте. Широкие его окна, обнесённые ещё дедушкой Алексеем Степановичем резными наличниками, открыто и призывно смотрели на улицу и, кажется, ничуть не удивились, что возле палисадника, впритык к штакетнику остановилась чужая, украшенная шашечкам машина. Удивило Алексея лишь то, что окна в доме были туманно-тёмными: в них не горели ни электрические лампочки (а у соседей окна уже были освещены пронзительно-жгучими огнями), ни поминальные свечи, которые должны были бы гореть у гроба бабушки Устиньи и сейчас, в надвигающемся повечерье, и весь солнечный августовский день. Но, может быть, окна, как это и положено в доме умершего, плотно задёрнуты, занавешены шторами, и трепетный свет поминальных свечей сквозь них просто не пробивается.

Прежней в доме была и покрытая мелковолнистым шифером крыша, двускатная и тоже основательная и устойчивая, будто небосвод. Под такой крышей дому не страшна никакая стихия: ни проливные осенние дожди, ни зимние снега, ни ветреные бури и ураганы. Он всё выдержит и вынесет, сохраняя за своими толстыми бревенчатыми стенами тепло и крестьянскую незыблемую жизнь.

Венчала дом красно-кирпичная труба, которая ещё пламенно горела в лучах заходящего за рекой солнца. Она была стражей, хранительницей незыблемой этой жизни, домашнего очага, мира и покоя в доме. Убери трубу, и всё в нём разладится, разрушится и пойдёт прахом.

Ничуть не изменилось и резное с двумя лавочками и двумя ступеньками крылечко над входной дверью. Без него дом был бы тоже неполным, усечённым и неприветливым, как будто он отчуждается, сторонится людей и никого не хочет впускать вначале в чуть затенённые сени, а потом и дальше – в светлую и чистую горницу и в отцовскую так памятную Алексею комнату.

Расплатившись с таксистом, Алексей ещё раз окинул весь дом от фундамента до крыши и трубы пристальным взглядом и повинился перед ним за долгие годы разлуки, за то, что не приезжал к нему в дни радости и веселья, а приехал лишь сейчас, в дни скорби и печали.

Но винись не винись, а Алексею пора уже было идти навстречу этой скорби и этой печали: таксист, положив руку на ключ зажигания, нервничал и нескрываемо торопил его.

Алексей не промедлил больше ни единой минуты. Он вышел из машины, закинул ещё больше отяжелевшую сумку на плечо, а бутылку с цветами заученно прижал к груди и начал нешироким и нетвёрдым шагом продвигаться вдоль палисадника к крылечку.

И вдруг он замер, помертвел и едва не упал на землю у подножья крылечка, словно споткнувшись о какое-то непреодолимое препятствие. На верхней его ступеньке сидела с посошком-хворостинкой в руках живая бабушка Устинья. В первые мгновения Алексею показалось, что в вечерних мглистых сумерках она привиделась и причудилась ему, как недавно привиделась на операционном окружённом медсёстрами столе Анечка Рогова. Алексей, роняя сумку и цветы, невольно отшатнулся назад и хотел было крикнуть вдогонку таксисту, чтоб тот задержался, помедлил: Алексей, может быть, ещё передумает и вернётся вместе с ним обратно в город, на автовокзал. Но бабушка Устинья опередила его. Она отложила в сторону хворостинку и с такой знакомой Алексею улыбкой на устах сказала:

–Здравствуй, Алексей, Божий человек!

–Здравствуй, бабушка! – ответил он, прямо на её глазах превращаясь из взрослого стареющего уже мужчины в маленького несмышлёного мальчика.

Почти остановившееся было у него сердце опять ожило, обрело силу, и Алексей, оттолкнув в сторону лежащие на земле сумку и цветы, обнял её за худенькие острые плечи, прижал к себе и чуть нараспев, как это делал действительно только в детстве, произнёс такое родное ему и так давно не произносимое слово:

– Ба-буш-ка!

Она тоже обняла Алексея – вначале за плечи, а потом за голову, трижды поцеловала в щёки и в глаза и улыбнулась ещё откровенней, ничего не скрывая и не тая от Алексея:

– Это я тебя подманула. К живой всё не едешь и не едешь, а к мёртвой вот и приехал.

Что ответить на эти упрёки бабушки, как и чем оправдаться, Алексей не знал; он готов был оправдываться перед умершей, усопшей бабушкой (и не раз оправдывался за долгие изнурительные часы дороги), а какими словами оправдаться перед живой, сидящей, как и в прежние годы с посошком-хворостинкой в руках, он ни разу подумать не потрудился.

Если никак не изменился, не постарел, не пошёл в разрыв и разрушение намертво соединённый дубовыми шипами в ка-

ждом венце родительский, родовой дом Алексея, то бабушка Устинья не изменилась и подавно. Она была всё такой же, как и в молодые годы, крепенькой и стойкой, и всё такой же гибкой в каждом движении и жесте, звонкоголосой в каждом слове и звуке; глаза её при свете рано взошедшей луны были лучистыми и ясными, а на устах играла весёлая неподдельная улыбка.

Алексей ещё сильнее обнял бабушку Устинью, обронил повинную свою голову ей на грудь и бездыханно затих, как будто прикоснулся к вечности, у которой нет ни начала, ни конца, а есть лишь одна непреходящая, тоже не знающая ни начала, ни конца радость жизни.

Бабушка не отстраняла его от себя и никуда не торопила, как будто догадывалась и понимала, что Алексею сейчас надо побыть наедине с этой вечностью, прильнуть к ней, припасть и причаститься от неё. Но вот она заметила у подножья крылечка оброненные Алексеем цветы, дотянулась до них вначале посошком-хворостинкой, а потом и рукой и вдруг сказала, пробуждая Алексея:

– Какие пышные! Их на смерть и подносить грешно, на жизнь надо дарить.

– Я и дарю, – действительно пробудился Алексей и сел рядом с бабушкой на ступеньке.

– Вот и хорошо, – улыбнулась она ему, погладила по голове и по плечу сухонькой горячей ладонью и, словно только сейчас впервые увидев, изумилась: – Какой ты стал большой и ладный!

Алексей тоже улыбнулся в ответ на эти её бесхитростные слова и едва не сказал: «Лучше бы я был сейчас маленький!», но вместо этого он оглянулся на плотно закрытую дверь, на тёмно-матовые окна, за которыми по-прежнему никакой жизни не ощущалось, и сказал совсем иное:

– А где же отец, мачеха, Марьяна?

– О! – поставила рядом с собой на пол цветы бабушка. – Они теперь далёко, у моря или за морем!

– Отдыхают, что ли?– не совсем понял её признания Алексей.

– А то как же! – ещё больше развеселилась бабушка. – Они теперь каждый год об эту пору к морю и за море ездят. Марьяну загорают. Она девка с требованиями!

Алексей опять не смог сдержать улыбки. Только одна бабушка Устинья так и могла сказать: «Марьяну загорают!» и «Она девка с требованиями!». Наверное, ему сейчас самое время было расспросить бабушку поподробней и об отце, и о мачехе,

и о незнакомой ему сестре Марьяне, которая «с требованиями», но бабушка, упреждая его вопросы, сама начала рассказывать, но не столько об отце и его семье, сколько о том, как она подманула Алексея.

– Ребята уехали-улетели, а я на следующий день и подговорила соседнего мальчонку, ухажёра Марьяны, чтоб свозил меня в город на почту. Там я и отбила тебе похоронную телеграмму. Испугался, поди?!

– Испугался! – чистосердечно признался Алексей.

– Это ничего, – снова погладила его по плечу бабушка Устинья. – В жизни иногда и испугаться надо…

Минуты две-три они посидели молча. Бабушка разглядывала цветы, вдыхала сладко-терпкий их запах, а Алексей неотрывно следил за ней, всё ещё не веря, действительно ли перед ним живая улыбающаяся и смеющаяся бабушка Устинья, или всё это Алексею только видится и снится.

Но вот бабушка, опираясь на резной столб-опору крылечка, поднялась и повелительно сказала Алексею:

– Теперь пойдём в дом, поужинаем, попьём молочка – и спать! Утро вечера мудренее! Притомился, небось, в дороге?!

– Притомился, – не стал скрывать Алексей.

Он взял в руки цветы и сумку и послушно пошёл вслед за бабушкой к двери, лишь теперь по-настоящему почувствовал, как он и вправду смертельно устал и от длинной дороги, и от путанных своих мыслей и воспоминаний, и вообще от всей своей до сегодняшнего дня казавшейся такой успешной и устроенной жизни, а на самом деле тоже путанной, зыбкой и постоянно испытывающей его на разрыв.

В доме бабушка включила свет и, усадив Алексея за стол, принялась хлопотать возле печи, допрашивать его:

–Тебе борща согреть или одного молока налить?

– Молока! – ответил он, вспомнив, как здесь же, на этом самом месте он под присмотром бабушки пил в детстве три раза в день с ломтём хлеба (чаще всего с горбушкой, корочкой) сладкое насыщавшее его лучше всякого завтрака, обеда и ужина, молоко: утром, едва только пробудившись – парное, ещё подёрнутое ажурной кружевной пенкой; в обед, в непереносимую жару и зной – прохладное, вынутое из погреба, а вечером, перед сном – опять парное, но какое-то совсем иное, чем утром, пахнущее луговыми медоносными травами.

Пока Алексей предавался детским своим воспоминаниям, стараясь ничего не упустить в них и не перепутать, бабушка на-

лила ему по самый венчик большую (должно быть, отцовскую) чашку молока и положила рядышком горбушку хлеба, не забыв, что он любит именно горбушку, корочку.

Молоко тоже было парным, только что от коровы. Бабушкина корова паслась в отдельном, хуторском стаде, которое всегда возвращалось домой раньше окраинного, так не ко времени полчаса тому назад преградившего Алексею дорогу. В детстве они с бабушкой каждый вечер встречали его, сидя на крылечке или на лавочке в тени забора. Бабушка, может быть, и сегодня надеялась встретить стадо вместе с Алексеем, вместе и подоить корову: она, приладившись с доёнкой в руках возле коровы, а он чуть в стороне, на специально приспособленном для этого чурбачке. Но не удержалась и подоила корову сама, потеряв всякую надежду, что Алексей приедет по её обманной похоронной телеграмме.

А он взял и приехал и теперь сидит за столом и пьёт под присмотром бабушки вечернее парное молоко. Оно было тёплым, пенистым и сладким, но после двух-трёх глотков Алексей почувствовал в молоке ещё и какой-то горьковато-терпкий полынный привкус. Он удивился этому и хотел уже спросить бабушку, откуда в молоке терпкая полынная горчинка (полынь в лугах вроде бы не растёт, и корова вряд ли где могла нечаянно её отведать), но не спросил: молоко с этой забивающей сладость горчинкой показалось ему ещё более вкусным, не только насыщающим Алексея в прикуску с горбушкой, а ещё и утоляющей жажду, которая, оказывается, мучила его весь день. Да ему и не хотелось отвлекать, а может, и обижать бабушку своими жалобами. Придирчиво поглядывая на Алексея и боясь пропустить мгновение, когда он попросит добавки (а он всегда просил её), бабушка занялась цветами. Она вынула, распеленала их из полиэтиленовой бутылки, сказав при этом: «Какая мёртвая, цветы в ней помрут!». Потом достала глиняный двухлитровый кувшин-крынку с высоким горлышком, налила в него свежей колодезной воды и не поставила, а как будто водрузила в него букет. Отойдя на два-три шага в сторону, к двери, бабушка начала оттуда, издалека, любоваться букетом и вдруг заметила на каждом бутоне туго стягивающую его резинку.

– А это ещё зачем?! – изумилась и даже вознегодовала она.

– Чтоб дольше сохранились, – оторвался от кружки Алексей.

– Вот ещё чего! – стала срывать с букетов резиновые застёжки бабушка. – Цветы – и те в оковах!

Напоённые колодезной родниковой водой, освобождённые от действительно похожих на оковы резинок цветы сразу начали распускаться; лепестки на них, утомлённые в долгой неволе, глубоко вздыхали и, с удивительной цепкостью держась за стебельки, один за другим клонились вниз и в стороны...

Бабушка поставила возрождённый к живой жизни букет на подоконник, не забыв положить под кувшин домотканый ковричек-лоскуток, и теперь уже безотрывно залюбовалась им, словно юная-молодая девчонка, которой подарили на первом свидании цветы.

А бутоны распускались всё шире и шире и вскоре заполонили, застили ярко-красным своим цветением резное окно, не пуская в него ночную пугающую темноту. Тонкий благоухающий запах окутал горницу, смешался с запахами молока, хлеба, берёзовых дров, которые лежали высокой охапкой-пирамидкой возле печи, загодя принесённые бабушкой из поленницы для завтрашнего жаркого огня-полымя.

Алексей почувствовал, как все эти привычные деревенские запахи: цветочные, хлебные, дровяные неодолимо клонят и побуждают его ко сну после почти бессонной ночи и утомительной полной тревожных ожиданий дороги.

Стараясь не поддаться ему и не задремать прямо здесь, сидя на стуле за столом, Алексей, как мог, крепился и даже о чём-то спрашивал бабушку. Но она сразу заметила, что он уже весь в вечерней неодолимой дрёме, и опять весело улыбнувшись, сказала:

– А теперь, Алексей, Божий человек, давай спать. Завтра наговоримся!

Словно малого засыпающего на ходу ребёнка, бабушка взяла Алексея за руку и повела в отцовскую комнату-спальню.

Пока он с трудом раздевался, она разложила диван, застелила его белоснежно-хрустящими накрахмаленными простынями, высоко взбила подушку, раскинула одеяло в таком же белоснежно-прохладном пододеяльнике-конверте и требовательно приказала:

– Ложись!

Алексей безропотно лёг, провалился головой в мягкую гусиного пуха подушку и начал засыпать совсем уже беспробудно, на всю томительную августовскую ночь. Он думал, что бабушка сейчас уйдёт, оставит его одного в отцовской, оказывается, такой родной ему и незабываемой комнате. Но она не ушла, а, выключив свет, присела рядом с Алексеем на диване, как

всегда присаживалась в детские его годы, опять взяла за руку и вдруг начала тихо, вполголоса шептать вечернюю, на сон грядущий молитву. Голова у Алексея от этих слов начала кружиться, плыть, горячая истома охватила всё его тело, веки отяжелели и слиплись, и Алексей уже сквозь глубокий охранительный сон с трудом увидел и услышал, как бабушка Устинья трижды осенила его крестным знамением и, словно навсегда возвращая в детские радостные дни, в начало жизни, произнесла:

– А теперь не печалься, будь жив и здрав, и пусть тебе приснятся ангелы…

г. Воронеж

Владимир Шугля

СОЛНЕЧНОЕ ОГНИВО

* * *

Пусть сотворённым измереньем
Звучит надрывная струна,
И непрощёным воскресеньем
Тревожит прошлое она.

И выжигает всё, что лживо,
Уходит в праведный рассвет,
Чтоб в искрах – солнечным огнивом –
Оставить покаянья след…

* * *

Орёл или решка… Взлетает монетка –
Играет на счастье пацан-малолетка.
Безоблачно небо… И солнце в зените
Вокруг всё связало невидимой нитью.
От света всё в яркой и сочной расцветке,
И звонко плоды набухают на ветке.

А дома всё те же труды и заботы,
И мамина тропка ведёт в огороды.
Ложится на душу, как жизни разметка,
И жизни дорога, и памяти ветка…
И снова в ведре со студёной водою
Блистает луч солнца, зачерпнутый мною…

* * *

Сердце жалит неравенство:
У церкви девчушка стоит…
Молча смотрит храм Знаменский
На ставший обыденным вид.
Что девчоночку выгнало
На этот трескучий мороз –
Взрослых пьяная выгода,
Сиротская доля до слёз?!
К людям девочка тянется –
Глаза будто старческий скит.
Молча смотрит храм Знаменский,
По-волчьи позёмка кружит…

* * *

Средь городского суесловья,
Сумятицы машин и гула,
Красою лет – забытой, вдовьей –
Притих старинный переулок.

Как будто замер, правя тризну
По старине, по русским сёлам –
Не осквернённый урбанизмом
Веков пронзительный осколок.

Казалось, встретился не я с ним,
А он искал со мною встречи,
Ждал терпеливо и безгласно,
Молитв пасхальных теплил свечи…

Я окунулся в окон ясность,
В узоров старых чудо-завязь,
В резную русскую согласность –
Разладу города на зависть.

И незаметно стало чисто
На сердце в благостной минуте…
Я видел Русь в молитвах истых,
В резных узорах вечной сути…

г. Тюмень

Даниэль Дефо

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО,

составившие вторую и последнюю часть его жизни,
а также необыкновенный поразительный рассказ
о его путешествиях вокруг трёх четвертей земного шара,
написанный им самим с приложением карты мира,
на которой обозначены путешествия Робинзона Крузо

(Перевод с английского Владимира Мисюченко)

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

С того самого дня 25 апреля 1719 года, когда «родился» роман о приключениях Робинзона Крузо, книга издаётся и повсеместно и постоянно. Разумеется, и в России тоже. Хотя в нашей стране, как, пожалуй, ни в какой другой, произведение Даниэля Дефо, по меткому замечанию тонкого ценителя литературы Дмитрия Урнова, «для большинства читателей сократилось по объёму и по содержанию до варианта детского».

Проверьте себя. Знаете ли вы, как и когда погиб Пятница? Что нашёл на Острове проведший на нём в одиночестве 28 лет моряк из английского горда Йорка Робинзон Крузо, вернувшись туда через несколько лет Правителем? Знаете ли вы, что Робинзон побывал в Китае? А потом и в России (Московии)?

Популярность первого тома «Приключений Робинзона Крузо» (того самого, что ныне существует у нас в великолепном детском варианте) была не менее велика, чем сегодня у полюбившегося зрителям детективного телесериала, и если, отвечая просьбам зрителей, герои Детектива продлевают сезоны обще-

ЛОНДОН: Отпечатано для У. Тэйлора в «Корабле» на Патер-ностер-Роу. MDCCXIX.

ния («… -2», «…-3»… «…-6» и так далее), то и читатели первой четверти XVIII в. потребовали от издателей «Робинзона-2». И он появился под названием «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо, составившие вторую и последнюю часть его жизни, а также необыкновенный поразительный рассказ о его путешествиях вокруг трех четвертей земного шара».

Если вам трудно ответить на заданные выше вопросы, значит, вы второй том приключений Робинзона не читали. Как, впрочем, и большинство российских читателей.

В этом плане предлагаемый отрывок вполне может представить интерес, тем более, что он охватывает последние годполтора из почти одиннадцати лет путешествий Робинзона Крузо, уже не моряка, но купца.

Замечу, интерес и к Робинзону, и к Дефо.

Не скрою, лично мне Дефо интереснее. Мыслитель, профессиональный писатель (один из первых в Европе попробовал добывать средства к жизни пером!), он уловил, то, что пеной несла с собой волна великих открытий и единения человечества – алчность, хищничество, глубокую развращённость людей, позволявшую оправдывать истребление миллионов «высокими» резонами цивилизации. Уловил – и выразил в литературных образах, обогатив жанр путевых заметок достоинствами романа. Увидевшие себя в этих зеркалах в долгу не остались: Дефо травили и позорили, обвиняли и в продажности, и в лицемерии, и в опрометчивости, и даже в невежестве. Он же брался за перо и… Вот как, например, отвечал (говоря, по обыкновению, о себе в третьем лице) тем, кто хулил его за необразованность:

«1. Владеет французским так же бегло, как и своим родным английским. Знает испанский, итальянский и немного славянский, ибо случалось ему немало бывать среди поляков и московитов. Знает он немного и португальский, а всё же считается, что он – необразован.

2. Обладает достаточными знаниями в области экспериментальных наук, имеет солидную научную коллекцию, и всё же – необразован.

3. Он знаток географии, весь мир представляет себе как на ладони. По любой европейской стране может дать обзор обстановки, природы, рек, главных городов, торговли, мало этого, сообщить кое-что из истории и политических интересов этой страны, а всё-таки он – необразован.

4. Искусен в астрономии, разбирается во всех движениях небесных тел как специалист, но всё же он – необразован.

5. Знаток истории, и, пожалуй, его можно назвать универсальным историком, ибо все исторические труды, написанные на его родном языке и переводные, он читал, а те, что не переведены, доступны ему на французском или итальянском. Но нет, он – необразован.

6. А что до его собственной страны, то он просто-напросто ходячая географическая карта. Он объехал весь остров, а многие его части и по нескольку раз, он и писал о своей стране, потому, когда выезжает он за границу, его нельзя упрекнуть в том грехе большинства английских путешественников, что стремятся узнать чужие страны, хотя не знают своей собственной. И все-таки человек этот – необразован.

А между тем множество людей, считающиеся образованными, совершенно ни к чему не пригодны. Это просто педанты, жующие греческий и латынь. Наши образованные люди представляются мне чем-то вроде механиков от образования, ибо они перебирают слова и спряжения, как старьёвщик своё добро на свалке».

У него, у Дефо, есть в литературе своя «норма»: простой и ясный («домашний») слог, умение смотреть на «современность» трезво и проницательно, способность показать «современного человека» частицей истории.

Такой частицей является и Робинзон, этот романтик самых прозаических изо всех человеческих занятий – торговли и предпринимательства. Путь его в Россию многотруден. Неистребимая страсть к путешествиям повлекла его в сопровождении Пятницы через Атлантику к берегам Канады, а затем Северной и Южной Америки. У берегов Бразилии Робинзон вновь навестил свой Остров, уже будучи обладателем патента его хозяина и правителя. И радости особой это посещение ему не доставило… Из Бразилии корабль Робинзона взял курс к мысу Доброй Надежды, оттуда на Мадагаскар, Суматру, в Сиам, Филиппинские острова и в Китай. А уже из Пекина в составе купеческого каравана Робинзон двинулся в Россию.

Проверка маршрутов Робинзона по сибирским рекам, произведенная уже в наши дни, подтверждает их удивительную точность день в день. Проявил Робинзон точность, крайне скупо описав Амур: эта река была тогда мало известна. И как бы ни подводила его память (а записную книжку он утопил в какой-то сибирской речке), мы и сейчас понимаем его поименования и Енисея, и Тобольска, и Соликамска.

Конечно, многое из того, что написано Дефо о России, производит сейчас впечатление не сведений, а сказки. Видевшие в Дефо невежду уверяли, что он в России не бывал и фактически ничего толком о ней не знал. Академик Михаил Павлович Алексеев (1896-1981), глубочайший знаток западноевропейской литературы, в свое время исследовал «русские страницы» Дефо исторически, и вот его вывод: Дефо «счастливо избежал небылиц», которые распространялись тогда о России, и осторожно воспроизвёл всё достовернее, что мог узнать о нашей стране.

Нельзя не обратить внимание, как писатель Дефо решает проблему отношения Робинзона к этой суровой, населённой язычниками, дикой, невежественной стране. Вчитайтесь в диалоги бывшего отшельника Острова Отчаяния с сосланным в Сибирь русским князем! Поистине поразителен разговор по душам двух людей, на долю которых выпали «необычайные приключения», жестокие испытания, отрыв от мира. Он просто дышит расположением к русским. Да, Дефо называл наших пращуров «медведями», говорил, что они «безрассуднее испанцев». Всё так. Зато душу свою его герой открывает не кому-нибудь, а русскому ссыльному, «Робинзону сибирскому», которого за мудрость души величает великим человеком безо всяких кавычек...

г. Москва

… Оказались мы теперь на берегу в Китае. Уж если в Бенгале, который благодаря деньгам я во многом почитал за свой дом, ощущал я себя заброшенным и отторгнутым от своей родины, то что мне было думать о самом себе теперь? Ведь забрался я ещё на тысячу лиг дальше от дома и полностью лишился всякой возможности вернуться.

Всё, что нам оставалось, это ждать, когда месяца через четыре в том месте, где мы находились, состоится очередная ярмарка, и тогда нам, может быть, удастся накупить всяческих изделий той страны, а вдобавок удастся подыскать среди китайских джонок или судов из Тонкина, которые объявят к продаже, что-нибудь подходящее, на чём доставить себя и свои товары куда нам будет угодно. Мне такая возможность приглянулась, а потому решил я ждать. Кроме того, поскольку личности нас самих не были предосудительными, то, случись зайти сюда любому из английских или голландских кораблей, наверное, была

бы у нас возможность погрузить все наши товары и перебраться в какое-нибудь место в Индии, поближе к дому.

Уповая на эти надежды, мы решили остаться на месте, однако и доставить себе удовольствие, предприняв два-три путешествия вглубь страны. Вначале мы отправились на десять дней посмотреть город Нанкин, и, сказать правду, город сей посетить стоило: говорят, что в нём миллион жителей, чему, впрочем, я не верю, выстроен он размеренно, все его улицы прямы и пересекают друг друга по прямым линиям, что весьма благотворно сказывается на всём его облике.

Но, стоит мне начать сравнивать бедствующих людей этих стран с нашими, изделия их рук, обычай их жизни, их государственное управление, их религию, их богатство и их блаженство, как это именуют некоторые, то должен признаться, у меня и помину в мыслях нет, что сие заслуживает поминания, или стоит моих трудов о сём повествовать, или усилий любых людей, кои жить будут после меня, о сём читать.

Весьма заметно, что мы дивимся величию, богатствам, пышности, церемониям, правлению, изделиям, торговле и быту сего народа не потому, что и в самом деле есть чему дивиться или, говоря откровенно, на что хоть мало-мальски внимание обращать, а потому, что изначально воистину утвердившись в варварстве сих земель, в господствующих там дикости и невежестве, мы не ожидаем найти в такой глуши ничего превыше невежества и дикости.

В противном случае, что их постройки рядом с дворцами и королевскими зданиями Европы? Что их торговля в сравнении с вселенской коммерцией Англии, Голландии, Франции и Испании? Что их города рядом с нашими с их богатством, мощью и весельем убранства, роскошной отделкой и бесконечным разнообразием? Что порты их, снабжённые немногими джонками и барками, в сравнении с нашим мореплаванием, нашими торговыми флотами, нашими большими и мощными военно-морскими силами? В нашем городе Лондоне торговли больше, чем во всей их могущественной империи. Один английский, или голландский, или французский боевой 80-пушечный корабль способен сражаться и уничтожить весь морской флот Китая. Однако нас всё же поражает и громадность их богатства, и их торговля, и власть их правителей, и сила их армий, поскольку, как я уже сказал, мы, считая их варварской нацией язычников, немногим лучше дикарей, не ожидаем у них всего такого, и это в самом деле подталкивает нас воображать себе всё их величие

и всю мощь, хотя на деле само по себе это вовсе ничего из себя не представляет, ведь, то, о чём я уже сказал про их корабли, можно сказать и про их армии и войска, все вооружённые силы их империи, пусть их выйдет все два миллиона человек на поле сражения, ничего они поделать не в состоянии, кроме как разорить страну и самим умереть с голоду. Доведись им осадить какой-нибудь крепкий городок во Фландрии или сразиться с вымуштрованной армией, так одна цепь германских кирасиров или французской кавалерии опрокинет всю конницу Китая, миллиону их пехотинцев не выстоять против одной изготовившейся к битве части нашей пехоты, выстроенной так, что её нельзя окружить, пусть даже численное соотношение будет двадцать к одному, да что там! – не похвалюсь, если скажу, что 30 000 германских или английских пехотинцев с 10-тысячной французской конницей наголову разгромят все силы Китая. То же и с нашими укреплёнными городами, и с искусством наших саперов в штурме и защите городов, в Китае нет такого укреплённого города, который и месяц бы выстоял против батарей и атак какой-либо европейской армии, а в то же самое время всем армиям Китая никогда не взять такой город, как Дюнкерк, при условии, что защитники его не вымрут с голоду, нет, не возьмут, хоть десять лет осаждать будут. Оружие огнестрельное у них есть, это правда, да только оно отвратительное, неуклюжее и подводит при стрельбе. Есть у них и порох, да только силы в нём нет; нет у них ни боевого строя, ни выучки владения оружием, ни умения нападать, ни выдержки отступать. Потому, должен признаться, странным мне кажется, когда я возвращаюсь домой и слышу, как соотечественники столь превосходно отзываются о мощи, богатствах, блаженстве, великолепии и торговле китайцев, ведь я-то своими глазами видел, что они суть презренная орда или толпа невежественных подлых рабов, отданных во власть таких правителей, которые только на то и способны, чтобы править эдаким народом. Словом, раз уж я столь далеко отошёл от своего замысла, то, не будь столь непостижимо велико расстояние от Московии и не будь московитская империя почти такой же грубой, беспомощной и дурно управляемой толпой рабов, царь Московии мог бы с великой лёгкостью погнать всех китайцев из страны и завоевать её за одну военную кампанию. И если бы царь, который, как я слышал, государь взрослеющий и начинающий, по всему судя, приобретать значимость в мире, выбрал сей путь, вместо того, чтобы нападать на воинственных шведов, каковой попытке ни одна из европейских держав не позавидо-

вала и ни одна от нее не отговорила, он, возможно, к этому времени был бы уже императором Китая, вместо того, чтобы быть побитым королем Швеции при Нарве, когда силы последнего в шесть раз уступали по численности[1]. Точно так же, как их мощь и величие, их мореплавание, их торговля, их земледелие несовершенны и беспомощны в сравнении с тем, что есть в Европе, а равно и их познания, их учения, их умения в науках. Есть у них глобусы и сферы небесные, вкус к познанию математики, однако, когда вникнешь в состояние их знаний, то какими же близорукими представляются их учёные! Им ничего не известно о движении небесных тел, невежество их столь велико, что даже, когда происходит затмение солнца, они считают, что это великий дракон напал на него и сбежал вместе с ним, тут они по всей стране начинают грохотать в барабаны и котлы, отпугивая чудовище, – совсем как мы, когда сажаем в улей рой пчел.

Поскольку поездка была единственной в своём роде, какую я совершил за всё время своих путешествий, о которых веду рассказ, то больше не стану я давать описания стран и народов, дело это не моё и в мои намерения никак не входит что-либо, кроме рассказа о собственных моих приключениях на протяжении жизни полной несравненных странствий, о долгой череде перемен, и, возможно, немногие из тех, кто будет жить после меня, услышат хоть что-то подобное. Так что буду я очень мало распространяться обо всех этих огромных просторах, пустынных землях и многочисленных народах, хотя придётся мне поведать больше, нежели просто изложить собственную мою историю, когда потребует того нечто, меня у них заинтересовавшее. Находился я теперь, насколько в силах был подсчитать, почти в самом сердце Китая, примерно на линии тридцатого градуса северной широты, а поскольку мы возвращались из Нанкина, мне, сказать правду, запало на ум посмотреть на город Пекин, о коем я так много слышал, да и отец Симон каждый день надоедал мне уговорами отправиться туда. В конце концов, время его отъезда было определено, и еще один миссионер, кому предстояло отправиться с ним, прибыл из Макао, нужно было решать: едем мы или не едем, – и я направил монаха к моему партнеру, предоставив всё выбору последнего, тот после долгих раздумий согласился, и мы собрались в путешествие. С самого начала нам очень повезло с тем, как мы отправились в путь:

[1] Для осады Нарвы с гарнизоном около 2.000 человек Петр Первый собрал русскую армию численностью до 35 тысяч, далеко не все из них участвовали в сражении 19 ноября 1700 г., которое король Карл XII начал с более чем 10-тысячной армией. – *Здесь и далее примечания переводчика*.

нам было позволено путешествовать в свите одного из их мандаринов, своего рода вице-короля или высшего должностного лица в своей провинции, занимавшего очень высокое положение, передвигавшегося при великом скоплении и великом почитании того самого народа, который эти правители ввергали порой в большую нужду, поскольку во всех землях, по которым они проезжали, жители были обязаны снабжать провизией их самих и всю их свиту. Тот мандарин, кого мне довелось наблюдать воочию, путешествуя в его обозе, был таков, что, хотя мы как сопровождающие мандарина и получали достаточно провизии, как для себя самих, так и для наших лошадей, от земель, по каким проезжали, всё ж обязаны были платить за всё, что получали, по рыночным ценам страны, и прислужник мандарина, ведающий продовольствием, должным порядком взимал с нас плату, так что путешествие в свите мандарина, пусть и было великим для нас благодеянием, всё ж не было уж очень щедрой милостью для нас, а сказать правду, великой выгодой для него, если принять во внимание, что, помимо нас, еще более тридцати человек путешествовали тем же манером, ведь жители предоставляли провизию бесплатно, а он забирал себе все наши деньги, предназначенные им.

Мы добирались до Пекина двадцать пять дней по земле бесконечно заселённой, но жалко ухоженной, даром, что китайцы так бахвалятся усердием народа, жалкой, говорю я, в том смысле, когда терпеть сие приходилось бы нам, кто понимает, как жить следует, или когда сравнивать с тем, что есть у нас самих, но не для самих несчастных этих бедняг, которые не ведают ничего другого. Гордость этого народа бесконечно велика, превыше её нет ничего, кроме их нищеты, которая усугубляет то, что я называю их мучением, и мне должно думать, что голые дикари Америки живут куда счастливее, ведь, раз у них нет ничего, так и желать им нечего, тогда как китайцы горды и кичливы, а в основном-то они обычные бедняки и работяги, показное их хвастовство неописуемо и главным образом находит выражение в их одежде и в зданиях, а также в содержании множества слуг и рабов и, что до последней степени смехотворно, в их презрении ко всему на свете, кроме самих себя.

Должен признаться, что впоследствии я с бóльшим удовольствием путешествовал в пустынях и бескрайних диких просторах Великой Татарии, нежели здесь, и тем не менее дороги в Китае хорошо вымощены, хорошо ухожены и очень удобны для путешественников, но ничто так грубо не поражало меня, как

надменность, властолюбие и кичливость народа, живущего в самой вопиющей непритязательности и невежестве, ибо всей их хваленой искусности нет более. И мы с моим другом отцом Симоном весьма потешались, когда сталкивались с нищенской гордыней этого народа. Вот, к примеру, лигах в десяти от города Нанкин подъезжаем мы к дому одного поместного дворянина, как именовал его отец Симон, прежде всего, мы имеем честь мили две[1] проехать верхом вместе с хозяином дома, и тот на своем коне выглядит сущим Дон Кихотом из-за смешения пышности и бедности.

Наряд этого сального дона очень бы подошёл какому-нибудь скарамушу, или фигляру, и состоял из грязного ситца и всякой мишуры, являющейся непременным украшением шутовского балахона, вроде свисающих рукавов, кисточек, разрезов и прорезей почти со всех сторон, а поверх всего этого жилет из тафты, засаленный, как у мясника, и свидетельствующий о том, что Его Милость самый что ни на есть законченный неряха.

Его конь, неухоженная, худая, голодная, хромая кляча, из тех, что в Англии продают за 30-40 шиллингов, а ещё у него два раба, которые следуют за господином на своих двоих, чтобы подгонять его несчастную клячу, в руке Его Милость держит хлыст, которым он отделывает животину с головы столь же истово, сколь его рабы – с хвоста. Вот так он и едет рядом с нами с десятью-двенадцатью слугами и, как нам сказали, едет из города к себе в поместье примерно в полулиге впереди нас. Мы продолжаем неспешное наше путешествие, а этот образчик дворянина опередил нас, и когда через час мы остановись на отдых в деревне, то, минуя поместье этого великого человека, увидели его на пороге маленького домика совершающим трапезу, домик окружало нечто вроде сада, но хозяина было легко увидеть и, как нам объяснили, чем больше мы на него смотрели, тем большее удовольствие ему доставляли.

Сидел он под деревом, похожим на уменьшенную пальму, которая укрывала его тенью сверху, с головы, и с южной стороны, однако, под деревом стоял еще и большой зонт, который придавал этому месту вполне пристойный вид, дворянин, мужчина тучный, сидел развалясь в большом кресле с подлокотниками, а еду ему подавали две женщины-рабыни, были у него и ещё две, чьи обязанности, думаю, очень немногие дворяне в Европе приняли бы себе в услугу: одна кормила помещика с ложки, а другая одной рукой держала блюдо, а другой подбирала все, что Его Милость позволял себе проносить мимо рта

[1] Чуть более 3,2 километра.

и что падало на его бороду и жилет из тафты, потому как этот великий жирный скот почитал ниже своего достоинства пускать в ход собственные руки там, где короли и монархи предпочли бы делать это, лишь бы не терпеть на себе неуклюжие пальцы своих слуг.

Я воспользовался временем, чтобы поразмыслить над тем, в какие страдания ввергает людей гордыня и насколько, в глазах человека здравомыслящего, чреват неприятностями надменный нрав, столь дурно проявляемый. Предоставив этому жалкому человеку испытывать удовольствие оттого, что мы смотрим на него, будто бы восхищаясь его великолепием, мы, сказать правду, жалели и презирали его. Мы продолжили наше передвижение, лишь отца Симона любопытство задержало, захотелось узнать, какие яства вкушает правосудие страны при всём своём положении, и он уверял, что имел честь отведать снадобье, какое, на мой взгляд, вряд ли стал есть хоть какой английский пёс, если б его им попотчевали. Судите сами: месиво из варёного риса с большой долькой чеснока в нём, маленький мешочек, наполненный зелёным перцем, еще какое-то тамошнее растение, похожее на наш имбирь, но пахнущее как мускус, а по вкусу как горчица, всё это валится в одну кучу и в этом отвариваются маленькие кусочки или ломтики постной баранины. Такова была трапеза Его Милости, которую готовили в отдалении еще четверо или пятеро слуг. Если он кормил их еще скуднее, чем питался сам, не считая пряностей, то питание их должно быть воистину весьма малоприметным.

Что касается мандарина, с коим мы ехали, то ему воздавались почести, как королю: неизменно в окружении свиты дворян, при каждом своём появлении окружённый таким великолепием, что я и видел-то его мало, да и то издали, зато успел заметить, что во всей его свите не было такой лошади, намного краше которой, на мой взгляд, не выглядели бы в Англии наши почтовые лошади, зато китайские так укрыты снаряжением, накидками, упряжью и прочей подобной мишурой, что и различить нельзя, жирные они или тощие, словом, мы их, считайте, почти и не видели, разве что ноги да головы.

На душе у меня было легко, все мои беды и сложности, о коих я рассказывал, остались позади, думая о себе, я не испытывал беспокойства, отчего путешествие казалось мне ещё приятнее, да и неприятностей со мной никаких не приключалось, разве что, когда мы пересекали вброд небольшую речку, лошадь моя упала и, как порой выражаются, выбила у меня

почву под ногами, иными словами – сбросила в воду; место оказалось неглубокое, но я вымок насквозь: упоминаю об этом потому, что как раз тогда была размыта водой моя записная книжка, где хранились имена некоторых людей и названия мест, которые мне хотелось запомнить; просушить как следует книжку я не смог, листы её погнили и уже ничего нельзя было на них разобрать, что было для меня большой потерей, особенно из-за названий некоторых мест, о которых я упоминаю, повествуя об этом путешествии.

После длительного пути прибыли мы, наконец, в Пекин. Со мною не было никого, кроме того юноши, которого мой племянник, капитан, отдал мне в услужение и который оказался очень надежным и прилежным, а у партнера моего тоже никого не было, кроме одного слуги, бывшего ему родственником. Что же до португальца-лоцмана, то ему очень хотелось увидеть императорский двор, и мы, так сказать, оплатили ему проезд, то есть несли его расходы, связанные с пребыванием в нашей компании, и использовали его как переводчика, поскольку он понимал язык этой страны, хорошо говорил по-французски и немного по-английски, сказать правду, повсюду оказывался полезнейшим человеком. Вот, не прошло и недели нашего пребывания в Пекине, как он пришел ко мне, смеясь:

– Ах, сеньор Англезе, – говорит, – что я вам расскажу, отчего порадуется ваше сердце!

– Сердце мое радуется, – говорю я. – Что ж это может быть? В этой стране я не ведаю ничего, что могло бы сколько-нибудь всерьез порадовать или опечалить меня.

– Да, да, – сказал старик на ломаном английском, – сделает вам радость, мне печаль, простите, – вот такова была его речь. Меня еще большее любопытство одолело.

– С чего бы это, – сказал я, – вам печалиться?

– А с того, – ответил он,– что вы меня сюда двадцать пять дней везли, а оставите возвращаться одного, а куда мне идти, чтобы в свой порт попасть, без корабля, без лошади, без peccune[1]? – Так он называл деньги на своей ломаной латыни, которой немало веселил нас всё время.

Короче, сообщил он нам, что в городе находится большой караван московитских и польских купцов и собираются они недели через четыре или через пять в дорогу по суше до Московии, а он, лоцман, уверен, что мы воспользуемся таким случаем отправиться с караваном и оставим его возвращаться совсем одного. Признаюсь, новость его меня удивила, тайная радость

[1] *Испорч. лат.* от *pecunia* – монеты, деньги.

сама собою заполнила душу, я такую и описать-то не могу, потому как никогда не чувствовал такой радости ни прежде, ни с тех пор. Довольно долго я слова не в силах был вымолвить, но в конце концов обратился к старику:

– Откуда вы про это узнали, – спросил я, – уверены вы, что это правда?

– Да, – говорит он, – нынче утром встретил я на улице старого своего знакомого, армянина, из тех, кого вы греками зовёте, а он с ними в караване, в последний раз он из Астрахани пришел и собирался в Тонкин направиться, где я знавал его когда-то, но передумал и теперь решил пойти с караваном до Москвы, а потом вниз по реке Волге до Астрахани.

– Что ж, сеньор, – говорю я, – не волнуйтесь, что вас оставят возвращаться в одиночестве, уж если это способ для меня вернуться в Англию, то вина целиком на вас ляжет, если вы вознамеритесь в Макао возвращаться.

После чего мы вместе обсудили, как поступить, и я спросил моего партнера, что он думает по поводу новости, какую лоцман принёс, отвечает ли она состоянию его дел? Тот сказал, что так хорошо уладил все свои дела в Бенгале и оставил своё имущество в таких надёжных руках, что, поскольку мы здесь совершили отличное путешествие и если бы смог он приобрести китайского шёлка, как тканого, так и сырца, такого, чтоб перевозить стоило, то он бы с радостью отправился в Англию, а потом пустился бы в плавание обратно в Бенгал на кораблях Ост-Индской Компании.

Порешив на этом, мы договорились, что португалец-лоцман пойдёт с нами и мы оплатим его расходы в дороге до Москвы или до Англии, как он пожелает. Сказать правду, не стоило бы из-за этого считать нас чересчур щедрыми, если б мы не вознаградили его ещё больше за все те услуги, кои он нам оказал и которые в самом деле всего того стоили, а то и больше, ведь он не только был нашим лоцманом на море, но и нашим посредником на берегу, а то, что он раздобыл нам японского купца, стоило бы нам нескольких сотен фунтов из нашего кармана. Так что мы посоветовались и охотно были готовы его отблагодарить, а точнее, сказать правду, воздать ему по справедливости, поскольку он был для нас необходимейшим человеком во всех случаях. Мы договорились дать ему золота в монетах, которое, как я подсчитал, стоило нам обоим около 175 фунтов, и нести все его расходы и на самого себя и на лошадь, исключая только вьючную лошадь с его товарами.

Договорившись об этом между собой, мы позвали лоцмана и сообщили ему о нашем решении. Он жаловался, сказал я ему, что мы оставляем его одного возвращаться, так вот должен ему сказать, что мы решили, что ему вообще незачем возвращаться, что мы, договорившись отправиться в Европу с караваном, порешили, что и он должен отправиться с нами, вот мы и позвали его выяснить, что он об этом думает. Лоцман покачал головой и сказал, что путешествие это долгое, а у него нет pecune, чтобы добраться до туда или содержать себя, когда он до туда доберется. Мы сказали, что так и предполагали, а потому решили сделать кое-что для него, чтоб он убедился, насколько ценим мы оказанные им услуги и насколько он нам приятен. Затем я сообщил, сколько мы решили дать ему прямо здесь и что он может это отложить, как и мы поступим с нашими деньгами, а что до его трат, если он пойдёт с нами, то мы благополучно и доставим его до берега (вопросы жизни и несчастных случаев не рассматриваются), будь то в Московии или в Англии по его выбору, за наш собственный счёт, за исключением оплаты перевозки его товаров.

Предложение наше лоцман встретил с таким порывом чувств, что выразил готовность весь свет обойти с нами, так что, короче, все мы приготовились к путешествию. Вместе с тем, как с нами, так и с другими купцами пришлось немало повозиться, и вместо того, чтобы быть в готовности через пять недель, потребовалось четыре месяца и еще несколько дней, прежде чем все было собрано и готово.

Лишь в начале февраля по нашему стилю выехали мы из Пекина, партнер мой со старым лоцманом успели быстренько наведаться обратно в порт, где мы высадились, и распродали оставленные нами там товары, а я вместе с китайским купцом, с которым свёл кое-какое знакомство в Нанкине и который приехал в Пекин по своим делам, побывал в Нанкине, где купил девяносто штук прекрасной узорчатой ткани и около двухсот штук отличного шёлка нескольких видов, некоторые с вплетением золотых нитей, и привёз это всё в Пекин как раз к возвращению моего партнёра. Помимо этого купили мы большое количество шёлка-сырца и кое-какие другие товары, груз наш со всеми этими товарами потянул на три тысячи пятьсот фунтов стерлингов, что вместе с чаем и выделанными ситцами да с тремя верблюжьими поклажами мускатного ореха и пряностей, было погружено на всех выделенных нам восемнадцать верблюдов, не считая тех, на которых ехали мы сами, причем, у каждого из

нас были две-три запасные лошади и две лошади, груженные провизией, так что всего у нас было 26 верблюдов и лошадей.

Компания подобралась очень большая, насколько помню, имела она при себе от трёх до четырех сотен лошадей и состояла из ста двадцати человек, очень хорошо вооружённых и обеспеченных на все случаи жизни, ведь точно так же, как на восточные караваны нападают арабы, здешние подвергаются нападениям татар, хотя в общем-то не таких опасных, как арабы, и не таких варварских, когда они побеждают.

Компанию составили люди нескольких национальностей, главным образом московиты, которых было более шестидесяти, купцов и жителей Москвы, хотя некоторые из них были ливонцами, были в ней, к нашему особому удовлетворению, и пять шотландцев, по всему судя, людей огромного опыта в делах и весьма состоятельных.

После одного из дневных переходов проводники, а было их пятеро, созвали всех благородных господ и купцов, иными словами, всех путешествующих, за исключением слуг, на большой совет, как они его называли. На сем большом совете каждый внёс определенную сумму денег в общий котел на необходимые расходы по закупке в пути фуража там, где иначе его не достать, на оплату услуг проводников, приобретение лошадей и всякое такое. На нём же был учрежден поход, как это называлось у проводников, а именно: названы капитаны и офицеры, которым в случае нападения надлежало всех нас собрать и отдавать команды, каждому был назначен свой черёд командовать. Нельзя сказать, чтобы это привело нас к большему порядку, чем то потребовалось от нас в пути, как будет отмечено в своё время.

Дорога на всём ее протяжении до границы страны весьма и весьма обжита, по большей части, горшечниками и глиномесами, иными словами, людьми, которые месят глину для изготовления фарфора. Наш португальский лоцман, у кого всегда в запасе было чем так или иначе нас повеселить, когда я поравнялся, ухмыльнулся и пообещал показать мне величайшую в сей стране редкость, после которой я, говоря о Китае, должен буду вослед всему уже высказанному дурному, сказать, мол, видел я одно, чего больше во всем свете не увидеть. Мне очень не терпелось узнать, что же это такое. Наконец, лоцман сообщил: это дом дворянина, весь построенный из китайского материала.

– Ну так, – говорю я, – разве то, из чего построены их здания, не продукт их собственной страны, а потому все это – китайские материалы, разве не так?

– Нет, нет, – говорит он, – я имею ввиду, это дом, целиком сделанный из того китайского материала, какой вы в Англии зовёте фарфором, да и мы у себя в стране тоже.

– Что ж, – говорю я, – такое возможно. А насколько он большой? Сможем мы поместить его в короб и приторочить на спину верблюда? Если так, то мы купим его.

– На верблюда! – восклицает старик-лоцман и взмывает обе руки вверх. – Да в нём семья из тридцати человек живёт!

Тут мне и вовсе любопытно стало взглянуть на дом. Когда же я подъехал, то ничего особенного не разглядел: бревенчатый дом, или дом, выстроенный, как говорится у нас в Англии, с обшивкой и штукатуркой, зато вся штукатурка и вправду была фарфоровой, иными словами, дом был обмазан той глиной, из которой изготовляют фарфор.

Внешняя сторона, которую припекало солнце, была покрыта глазурью и выглядела прекрасно: совершенно белая, расписанная синими фигурами, как в Англии расписывают большие изделия из фарфора, и прочная, словно обожжённая. Внутри же все стены вместо деревянной обшивки были выложены обожжёнными и расписанными плитками (похожие на небольшие квадратные плитки, которые у нас в Англии зовутся кухонными), все сделанные из прекраснейшего фарфора, и фигурами, прекрасными, сказать правду, сверх всякой меры, необычайно разнообразных цветов, смешанных с золотом. Многие плитки составляют всего одну фигуру, соединены они так искусно, притом, что раствор готовится из той же глины, что очень трудно усмотреть, где у плиток стык. Полы в комнатах сделаны с тем же рисунком и они так же тверды, как и покрытые глиной полы, что в ходу в некоторых частях Англии, особенно в Линкольншире, Ноттингемшире, Лестершире и др., тверды, как камень, и гладки, но плитка на них не обожжена и не разрисована, разве что в помещениях поменьше, вроде кладовых, которые словно бы целиком выложены одной и той же плиткой. Потолки и, к слову, вся штукатурная отделка во всём доме из той же глины, и, наконец, крыша покрыта такими же плитками, только блестящими и совершенно чёрными.

Что и говорить, то был поистине Фарфоровый Дом, называемый так доподлинно и буквально, и, не совершай я переход, так остался бы на несколько дней, чтобы хорошенько рассмотреть все его особенности. Как мне сказали, в саду имелись фонтаны и пруды с рыбками, все точно так же выложенные по дну и стенам, а по дорожкам стояли прекрасные статуи, вылепленные из фарфоровой глины и целиком обожжённые.

Раз уж это одна из достопримечательностей Китая, то тут они могут позволить себе достичь совершенства, только я более чем уверен, что китайцы преувеличивают их значимость. Мне, к примеру, рассказывали такие невероятные вещи про их искусность в изготовлении фаянсовой посуду, что я и передать не в силах, поскольку знаю, что такое не может быть правдой. Рассказывали мне, к примеру, об одном работнике, который сделал корабль со всем такелажем, мачтами и парусами из глины, достаточно большой, чтобы на нем поместилось пятьдесят человек, если бы рассказчик сообщил мне, что мастер спустил корабль на воду и совершил на нем плавание в Японию, я бы, может, и сказал бы что-нибудь на это, но так-то я знал, что вся эта история, если коротко и испросить извинения за выражение, сплошное враньё, а потому только улыбнулся и ничего на это не сказал.

Необычный Фарфоровый Дом задержал меня, и я на два часа отстал от каравана, за что начальствующий в тот день над караваном оштрафовал меня на сумму, равную трём шиллингам, и уведомил: случись такое на третий день пути, когда мы оказались бы за Стеною, до которой еще три дня добираться, он должен был бы оштрафовать меня на сумму вчетверо большую и заставить меня просить прощения на следующем сборе совета; так что обещал я впредь придерживаться порядка, поскольку, правду сказать, впоследствии сам убедился, что порядки, установленные для того, чтобы держать нас всех вместе, были абсолютно необходимы для общей нашей безопасности.

Ещё через два дня мы миновали Великую китайскую стену, возведенную как укрепление против татар. Сооружение и в самом деле великое, протянувшееся бесполезным трактом по холмам и горам, где скалы непроходимы, а пропасти такие, что никакой враг не сможет приблизиться или вверх забраться, а уже если заберётся, то никакая стена его не остановит. Как нам сказали, тянется стена почти на тысячу английских миль[1], тогда как протяженность всей страны, которую эта стена со всеми её извивами и изгибами отграничивает, по прямой линии – пятьсот, высотой она около четырех саженей[2] и в некоторых местах стольких же достигает в ширину.

Я с час простоял, не покидая нашего строя, поскольку так длинен был караван, проходивший в ворота, простоял, говорю

[1] Более 1 600 километров. По последним сведениям, стена (некоторые ее участки сооружались еще и в XVII в.) протянулась по северу Китая на 8 851,8 км (с учётом ответвлений).

[2] Около 7,3 метра.

я, на месте целый час, разглядывая её в обе стороны и вблизи и в отдалении, то есть насколько глаза хватало, и проводник нашего каравана, превозносивший стену как чудо света, с нетерпением ожидал, что о ней скажу я. Я сказал ему, что это самое великолепное, что может держать татар в отдалении, и, кажется, он не понял, в каком смысле это была мною сказано, а потому принял за похвалу. Однако старый лоцман рассмеялся:

– Ах, сеньор Англезе, – говорит он, – цветисто вы выражаетесь!

– Цветисто? – переспросил я. – Что вы хотите этим сказать?

– Как же, речь ваша так глядится белой, а эдак черной, так весёлой, а по-другому скучной. Вы говорите ему, что эта стена хороша для того, чтобы держать татар на расстоянии, а меня вы этим самым убеждаете, что она ни на что не годна, кроме как держать татар на расстоянии, и никого больше не остановит, кроме как татар. Я вас понимаю, сеньор Англезе, я вас понимаю, – говорит он, – только, вот, сеньор китаец понял вас на свой лад.

– Что ж, – говорю я, – сеньор, вы полагаете, она выстоит против любой армии из наших соотечественников, хорошо обученной в артиллерии, или наших сапёров с двумя ротами минёров; разве не обрушат они её в десять дней, чтобы армия смогла построиться в боевые порядки и войти в страну, или рвануть её в воздух со всем её фундаментом и прочим так, что от неё и следа не останется?

– Так-то оно так, – говорит он, – это мне понятно.

Китайцу ужас как хотелось узнать, что я сказал, и я дал лоцману позволение донести до него мои слова через несколько дней, поскольку к тому времени мы уже почти покинули эту страну и китайцу вскоре предстояло покинуть нас, но когда он узнал, что я сказал, то весь остаток пути проехал молча и, пока он оставался с нами, мы больше не слышали никаких чудесных россказней о китайской мощи и величии.

После того, как миновали мы сие мощное Ничто, именуемое стеной, нечто вроде Стены Пиктов[1], столь знаменитой в графстве Нортумберленд и возведённой римлянами, мы стали замечать, что местность становится малонаселённой, а люди

[1] *Или Стена Адриана. Пикты* – группа кельтских племён, населявших Шотландию, в середине IX в., были завоёваны скоттами и смешались с ними. Во II в. римский император Адриан решил, что Шотландия не стоит того, чтобы отправлять туда дополнительные легионы, отодвинул границы империи назад и от моря до моря построил знаменитую стену длиной 70 миль (чуть больше 112 км), доныне носящую его имя.

предпочитают жить в укреплённых городках и городах из опасения стать жертвами опустошительных набегов татар, которые грабили громадными армиями, а потому не встречали сопротивления со стороны голых жителей этой открытом земли.

И вот тут я стал убеждаться в необходимости во время похода держаться вместе с караваном, ибо видели мы несколько вооружённых отрядов татар, блуждавших по округе, однако, разглядевши их хорошенько, я больше подивился тому, что китайскую империю могло бы завоевать такое отребье, ибо были татары попросту ордой, или толпой диких мужиков, не держащих ни строя, ни порядка, не ведающих ни дисциплины, ни тактики ведения сражений.

Их лошади, несчастные худые клячи, ничему не обучены, ни к чему не пригодны – вот что сказали мы в первый же день, когда их увидели, что произошло после того, как мы ступили на землю менее возделанную человеком. Наш начальствующий над караваном дал позволение примерно шестнадцати из нас отправиться, что называется, на охоту, которая состояла всего-навсего из погони за овцами. Впрочем, можно было это назвать и охотой, потому как более диких и быстрых на ноги животных сей породы я в жизни не видывал, разве что они на большое расстояние бегать не способны, так что, стоит лишь начать травлю, как можно быть уверенным в добыче, потому как бродят они стадами по тридцать-сорок голов и, как и подобает истинным овцам, держатся вместе, когда пускаются наутек.

Как раз преследуя добычу в этой странной охоте, мы и повстречались примерно с сорока татарами, охотились ли они, как и мы, на баранов или выискивали иного рода добычу, про то не ведаю, но, как только мы показались, один из них очень громко загудел в своего рода рог, издававший варварский звук, какого я прежде не слыхивал и, между прочим, вовсе не желаю услышать ещё когда-нибудь. Мы все решили, что это сигнал, сзывающий всех своих, так оно и оказалось: и получаса не прошло, как появился ещё отряд человек из сорока-пятидесяти на расстоянии мили, однако к этому времени мы уже со своей охотой покончили.

Один шотландский купец из Москвы, оказавшийся среди нас, едва заслышав рог, в двух словах сообщил, что теперь нам ничего другого не остаётся, как сразу же, не теряя времени, атаковать татар; выстраивая нас в боевой порядок, он спросил, хватит ли у нас решимости, на что мы ответили, что готовы следовать за ним; вот он и поскакал прямо на татар, они же

стояли, не сводя с нас глаз, как какая-нибудь толпа зевак, не выстроившись ни в какой строй, вообще не проявляя никакого подобия порядка, но вскоре, поняв, что мы наступаем, стали метать стрелы, которые, по счастью, летели мимо, судя по всему, стрелки не цель выбрали неверно, а неверно учли расстояние, потому как их стрелы упали перед нами, зато так точно в цель направленные, что окажись мы ярдов на двадцать[1] поближе, то потеряли бы несколько человек ранеными, если не убитыми.

Мы тут же встали, и, хотя дистанция была велика, выстрелили, послав татарам в обмен на их деревянные стрелы свинцовые пули, а сразу же после залпа ринулись в галоп, чтобы обрушиться на них с мечом в руке, ибо так приказал ведший нас Отважный Шотландец, был он, сказать правду, всего лишь купец, но в данном случае вёл себя с такой решимостью и отвагой и вместе с тем с таким хладнокровным мужеством, каких я не встречал в бою ни у кого из мужчин, более пригодных для командования. Как только мы подскакали, тут же выстрелили по татарам из пистолетов в упор и отступили, однако, они бросились удирать в величайшей панике, какую только вообразить возможно. Если кто и остался на месте, так это трое, державшиеся против нашего правого фланга и знаками призывавшие всех остальных вернуться и стать рядом с ними, в руках у этой троицы были кривые сабли, за спиной у них висели луки. Наш отважный командир, не призывая никого следовать за собой, галопом подскакал к ним и своей фузеей свалил одного из татар с лошади, убил второго выстрелом из пистолета, а третий сам удрал. Тем и окончилось наше сражение. Для нас, однако, сопровождалась она той бедой, что все наши бараны, за которыми мы гнались, убежали. У нас ни один человек не был ни ранен, ни убит, а что до татар, то оставили они человек пять убитыми, сколько же их получили ранения, мы не знали, зато знали: второй их отряд был так перепуган громом наших ружей и пистолетов, что поспешил скрыться и больше не пытался напасть на нас.

Всё это время мы находились в китайских владениях, а потому татары и не были так смелы, как будут впоследствии, зато дней через пять мы вступили в пространную совершенно необжитую пустыню, которая не отпускала нас на протяжении трёх переходов днём и ночью, так что пришлось нам везти воду с собой в больших кожаных флягах и вставать лагерем на всю ночь – так же, как, я слышал, поступают в Аравийской пустыне.

[1] Чуть более 18 метров.

Я спросил, чьи это владения, и мне сказали, что это своего рода граница, которую можно бы назвать «ничейной землей», поскольку пустыня – часть Каракатая, или Великой Татарии, хотя вся она и считается принадлежащей Китаю, всё ж никому и дела нет, чтобы охранять её от набегов воров, а потому считается она наихудшей из пустынь в целом свете, хотя нам предстояло пройти и пустыни гораздо большие.

Должен признаться, что поначалу, когда мы проходили по этим диким местам, мне было очень страшно. Два или три раза видели мы небольшие отряды татар, но они, похоже, занимались своими делами и не чинили нам никаких козней, а потому всё было, как при встрече человека с Дьяволом: если зло нас не трогает, то и нам к нему цепляться незачем, – мы позволяли татарам идти своей дорогой.

Однажды, впрочем, отряд их подобрался так близко, что выстроился и глазел на нас, для того ли, чтобы решить, как им поступить: нападать на нас или не нападать на нас, – того мы не знали, однако, когда мы отошли от них на некоторое расстояние, то составили из сорока человек арьергард и были готовы встретить татар, дав каравану отойти от нас на полмили или около того. Но через некоторое время татары ушли, поприветствовав нас на прощанье пятью стрелами, одна из которых попала в коня и вывела его из строя, на следующий день нам пришлось оставить это бедное животное, которому очень нужен был хороший кузнец. Мы подумали, что стрел было выпущено больше, просто они не долетели до нас, но в тот раз мы больше не видели ни стрел, ни татар.

После этого мы шли ещё около месяца, пути уже не были такими лёгкими, как поначалу, хотя мы по-прежнему находились во владениях императора Китая, проходили же по большей части мимо деревень, некоторые из них были укреплены из-за набегов татар. Когда мы прибыли в одно из таких поселений (потребовалось два с половиной дня для перехода, прежде чем мы попали в город Наум), мне понадобилось купить верблюда, которых во множестве продавали по всей дороге, как и лошадей, поскольку тут проходило такое множество караванов, что и те и другие часто пользовались спросом. Человеку, с кем я договаривался о доставке верблюда, предстояло отъехать и подыскать его мне, но я по глупости своей должен был вмешаться и сам отправиться вместе с ним. Ехать надо было мили за две от деревни, туда, где, очевидно, под охраной содержались и паслись верблюды и лошади.

Я пошёл туда пешком вместе с моим старым лоцманом, горя желанием хоть какого-то разнообразия. Когда мы дошли до места, то это оказался низменный заболоченный участок земли, обнесённый вокруг, словно парк, стеной из уложенных друг на друга камней без какого бы то ни было скрепляющего раствора или глины по щелям, и с небольшой охраной из китайских солдат у входа. Купив верблюда и сторговавшись в цене, я ушел, а китаец, пришедший со мной, вёл верблюда позади. Вдруг выскочили пять татар на конях, двое из них схватили китайца, отобрали у него верблюда, а остальные трое подступили к нам со старым лоцманом, видя, что мы безоружны, что, в общем-то, так и было, поскольку у меня не было никакого оружия, кроме меча, который никак не защитил бы меня от трёх всадников. Первый из приблизившихся встал как вкопанный, едва я выхватил свой меч (ибо татары отъявленные трусы), зато второй, подскочивший слева, нанёс мне удар по голове, который я почувствовал лишь потом и все гадал, когда в себя пришёл, что же со мной случилось и где это я, потому как напавший поверг меня пластом на землю, зато у старика-лоцмана, этого португальца, который нигде и никогда не пропадёт (так негаданное Провидение заботится о спасении от опасностей, нами непредвиденных), в кармане оказался пистолет, о коем ни я ничего не знал, ни татары, знай они, так, полагаю, и не напали бы на нас, однако, когда опасности нет, трусы становятся смелее.

Увидев, что я повержен, старик с отважным сердцем подступил к ударившему меня разбойнику и, ухватив одной рукой того за руку, другой с силой рванул его вниз и прострелил ему голову, убив на месте, после чего сразу же к тому, который остановил нас, как я говорил, и, не дав татарину снова двинуться вперед (всё было проделано в считанные мгновения), нанёс ему удар саблей, которая тоже была при нём, клинок человека не задел, зато врезался коню в голову, отхватив ухо с корнем и немалый кусок сбоку морды, бедное животное обезумело от раны, уже не слушалось всадника, хотя тот и держался молодцом, конь рванул и вынес татарина из-под удара лоцмана, зато, отскакав немного, взвился на дыбы, сбросил татарина наземь и сам рухнул на него.

В это время бедный китаец, которого лишили верблюда, пришёл в себя, но у него не было никакого оружия, однако, увидев, как татарин упал, а конь его рухнул на него, китаец быстро подбежал и схватил висевшее у татарина сбоку мерзкое недоброй славы оружие, напоминавшее по виду мясницкий

молот, но на самом деле не молот, выхватил его и замахнулся, чтобы вышибить им татарские мозги вон. Однако старику моему по-прежнему надо было потягаться с третьим из напавших; увидев, что тот не пустился наутёк, как того ожидал лоцман, и не бросается драться с ним, чего лоцман опасался, а стоит как вкопанный, старый португалец тоже встал на месте и принялся возиться с принадлежностями, необходимыми для того, чтобы перезарядить пистолет, однако, едва завидев пистолет, татарин (принял ли он пистолет за тот же самый или за другой, того я не ведаю) метнулся прочь, оставив моего лоцмана, моего воина-защитника, как звал я его после этого, полным победителем.

К тому времени я понемногу просыпался, поскольку поначалу полагал, что начинаю просыпаться, отрешаясь от сладкого сна, но, как уже говорил, никак не мог сообразить, где я, как оказался на земле и что вообще произошло. Словом, понадобилось время, чтобы чувства мои вернулись, я ощутил боль, хотя и не понимал, где, тронул рукой голову и отнял ладонь окровавленной, потом боль охватила голову, а ещё через мгновение вернулась память, и я вновь оказался в полном сознании.

Тут же вскочил я на ноги и схватился за меч, однако врагов уже и след простыл: я увидел, что один татарин лежит мёртвый, а конь его тихо-тихо стоит рядом с телом, чуть подальше увидел я своего воина-защитника и спасителя, который пошёл посмотреть, что натворил китаец, и возвратился, держа в руке кортик. Увидев, что я уже на ногах, старик бегом бросился ко мне, обнял меня, не скрывая великой радости, потому как до этого боялся, что я убит, а увидев, что я весь в крови, осмотрел рану, выяснил, что не так уж она и страшна, всего только, как принято говорить, голову разбило, да и впоследствии никаких неудобств от удара я не испытывал, разве что место, куда удар пришёлся, побаливало и прошло дня через три-четыре.

Победа эта, впрочем, особой выгоды нам не принесла: мы потеряли верблюда и приобрели коня, но примечательно то, что, когда мы вернулись в деревню, человек, с кем мы торговались, потребовал уплатить за верблюда. Я стал спорить, и дело дошло до местного китайского судьи, или, если выражаться на моем родном языке, мы предстали перед мировым правосудием. Надо отдать судье должное, действовал он с великой осмотрительностью и беспристрастностью и, выслушав обе стороны, здраво обратился к китайцу, который ходил вместе со мной покупать верблюда, чей тот слуга.

– Я никакой не слуга, – говорит тот, – а просто пошёл с этим чужаком.

– По чьей просьбе? – спрашивает судья.

– По просьбе чужака, – отвечает китаец.

– Значит, в таком случае, – говорит судья, – в то время ты был чужаку слугой, и верблюда передали его слуге, значит, передали ему, и он должен за него заплатить.

Признаюсь, всё было настолько ясно, что мне и сказать было нечего, однако с большим удовольствием понаблюдав за столь справедливым рассуждением о фактах и следствиях из них и столь точным изложением дела, я охотно заплатил за верблюда и послал за другим, однако, как вы могли заметить, я послал за ним, а не отправился самолично – с меня одного раза хватило.

Город Наум это граница китайской империи, говорят, что она укреплена, так оно и есть, поскольку крепостные сооружения там стоят, и, возьму на себя смелость утверждать, все татары Каракитая, которых, как мне представляется, несколько миллионов, не в силах обрушить их стен своими луками и стрелами, однако назвать эти укрепления мощными, если, положим, напасть на них с пушками, значит дать повод людям понимающим над собой же и посмеяться.

Нам потребовалось, как я уже говорил, два дня пути до этого города, когда по всей дороге были разосланы скорые гонцы, чтобы предупредить всех путешественников и караваны остановиться и поджидать, когда до них дойдёт посланная охрана, поскольку необычайное скопище татар общим числом в десять тысяч появилось милях в тридцати за городом.

Для путешествующих то была печальная новость, впрочем, местный правитель отнёсся к сему заботливо и мы очень радовались, услышав, что у нас будет охрана. И точно, спустя два дня появились двести солдат, присланных нам из какого-то китайского гарнизона слева от нас, и еще триста из города Наума, и вместе с ним мы отважно двинулись вперед. Три сотни солдат из Наума шагали впереди нас, двести шли позади, а наши люди – по обе стороны вереницы верблюдов с нашими пожитками, весь же караван находился в середине. При таком порядке и полной готовности к сражению мы почитали себя достойным противником для всех десяти тысяч монгол-татар, если те появятся. Однако на следующий день, когда они и вправду появились, всё было совсем иначе.

Стояло раннее утро, когда, выйдя из небольшого удачно расположенного городка, называемого Чанчжу, мы вынуждены

были переправляться через реку, причём, дожидаться парома, и будь у татар разведка, то как раз в такое время и следовало бы нападать на нас, когда караван уже переправился, а охрана с тыла оставалась за рекой; однако татары так и не появились.

Часа через три, когда ступили мы на землю пустыни, протянувшуюся миль на пятнадцать-шестнадцать[1], по густому облаку поднятой пыли обнаружили мы противника совсем рядом с собой, до татар было и в самом деле рукой подать, потому как шли они на нас лавой на полном скаку.

Китайцы, наша охрана спереди, которые всего день назад были так храбры на словах, растерялись, солдаты принялись оглядываться, что является верным признаком того, что солдат готов вот-вот пуститься наутёк. Старый мой лоцман, думавший, как и я, и находившийся рядом, окликнул:

– Сеньор Англезе, – говорит он, – этих мальцов надо бы подбодрить, а то они всех нас погубят, потому как, если татары так и будут наступать, китайцам ни за что не выстоять.

– Я с вами согласен, – сказал я, – только делать-то что?

– Делать! – говорит он. – Пошлите вперед по пятьдесят наших людей, пусть расположатся у китайцев на обоих флангах, приободрят их, и те станут сражаться, как храбрецы в компании храбрецов, а не то они все до единого врагу свои спины покажут.

Я тут же поскакал к нашему начальствующему и всё ему рассказал, тот со мной полностью согласился, и, соответственно, пятьдесят наших выдвинулись на правый фланг и пятьдесят – на левый, остальные же составили линию спасения. Мы выдвинулись, предоставив последним двумстам человекам составить свой отряд и стеречь верблюдов, лишь при крайней нужде должны они были направить сотню человек на помощь последним пятидесяти.

Словом, татары надвигались несметной тучей, сколько их было, сказать трудно, но, думали мы, десять тысяч, это по меньшей мере. Часть из них, бывшие впереди, приблизились и разглядели наше построение, взрывая копытами землю перед линией нашей обороны. Когда мы увидели, что противник приблизился на расстояние выстрела, наш начальствующий приказал обоим флангам быстро выступить вперед и дать по татарам залп с каждой из сторон, что и было сделано, однако татары ускакали, как я полагаю, доложить, чем были встречены. И, сказать правду, от нашего салюта у татар животы подвело, потому как они сразу остановились и стали совещаться, а потом ушли влево, отказавшись от своего замысла и ничем тогда

[1] Около 24-26 километров.

нас не задевая, что в наших обстоятельствах не могла нас не радовать, ведь сражение с противником такой численности не сулило ничего хорошего.

Через два дня после этого мы пришли в город Наун, или Наум, поблагодарили местного правителя за заботу о нас, набрали даров на сотню крон или около того и раздали их солдатам, посланным для нашей охраны, сами же остались в городке на день отдохнуть. В общем-то, это был гарнизон, где стояло девятьсот солдат, но причина тому была та, что прежде московитские границы проходили ближе, чем теперь, московиты забросили эту часть местности (она простиралась от этого города на запад примерно на двести миль) как бесплодную и непригодную к использованию, а еще более потому, что была она очень удалённой, так что трудно было посылать сюда для её защиты войска, потому как нас от Московии ещё отделяло больше двух тысяч миль[1].

После этого мы переправились через несколько рек, миновали две ужасные пустыни, на переход одной из которых потратили шестнадцать дней, – и все это по территории, которую, как я уже говорил, следовало бы называть «ничейной землей», а 13 апреля мы подошли к границам московитских владений. По-моему, первый город, или городок, или крепость (называйте, как вам угодно), принадлежавший царю Московии и находившийся на западном берегу реки Аргун, назывался Аргун.

Я просто нарадоваться не мог, что так скоро добрался до, как ее называл, христианской страны, ведь, хотя московиты, по моему мнению, едва заслуживают названия христиан, все ж делают вид, что они таковы, и по-своему очень набожны. Уверен, любому человеку, который странствует по свету, как я, и который наделен способностью к размышлению, пришло бы в голову, побудило бы его, говорю я, поразмыслить, что это за благодать попасть в мир, где известно Имя Божие и Искупителя, где оно почитается и где ему поклоняются, а не туда, где людям отказано в небесной благодати и они преданы сильным заблуждениям, поклоняются Дьяволу и простираются пред пнями и камнями, боготворят чудищ, стихии, ужасающих животных и изваяния или изображения чудищ. Не было ни городка, ни города, через которые мы проезжали, где не было бы своих пагод, своих идолов и своих храмов, где бы невежественные люди не поклонялись даже изделиям рук своих.

Теперь же мы прибыли туда, где, по крайней мере, по видимости появилось христианское богослужение, где колени пре-

[1] Около 3 220 километров.

клоняли пред Иисусом, где по невежеству ли, нет ли, но христианскую религию признавали, к имени Истинного Бога взывали и ему поклонялись, и при виде этого радостью наполнялась душа моя до самых укромных её уголков. Своим первым признанием в этом я поделился с нашим отважным шотландцем-купцом, о ком я выше рассказывал, и, взяв его за руку, сказал:

– Блажен Господь, вновь мы оказались среди христиан.

Шотландец улыбнулся и ответил:

– Не радуйтесь раньше времени, земляк, эти московиты христиане странные и, не считая одного лишь названия, очень немного по сути христианского предстоит вам увидеть в те несколько месяцев, которые продлится наш поход.

– Что ж, – говорю я, – и все-таки это лучше, чем язычничество и поклонение Дьяволу.

– Вот что я вам скажу, – говорит он, – не считая русских солдат в гарнизонах и немногочисленных обитателей городов на нашем пути, вся остальная эта страна, превыше тысячи миль дальше, населена наихудшими и самыми невежественными язычниками.

Так оно в самом деле и оказалось.

Теперь мы вышли на величайшую часть тверди земной, если я что-нибудь понимаю в поверхности земного шара, другой такой на всём остальном шаре не сыщешь. Мы находились, по меньшей мере, в тысяче двести милях от моря на востоке; в двух тысячах милях от дна Балтийского моря на западе; более чем в трёх тысячах милей, если мы Балтийское море минуем, от Британского и Французского каналов[1]. Полных пять тысяч миль отделяли нас от Индийского, или Персидского, моря на юге и около восьмисот миль от Ледовитого моря на севере. Более того, если поверить некоторых людям, то на северо-востоке, может, вообще моря нет, пока не обойдёшь вокруг полюса, а потом ещё на северо-запад, Бог весть, сколько по континентальной суше до самой Америки, хотя я могу привести кое-какие доводы, почему сам убеждён, что эти люди ошибаются.

Вступив во владения московитов, мы еще долго добирались до сколько-нибудь значительных городов, и нечего нам было обозревать, кроме вот чего: во-первых, все реки, текущие на восток (насколько я понимал по картам, что некоторые из каравана везли с собой), все эти реки, и это было ясно, впадали в большую реку Ямур, или Гаммур. Эта река, судя по ее естественному руслу, должна впадать в Восточное море, или Китайский океан; как нам поведали, устье этой реки сплошь за-

[1] Имеются в виду проливы Ла-Манш (Британский Канал) и Па-де-Кале.

росло осокой и тростником чудовищных размеров, например, три фута в обхвате и двадцать-тридцать футов в высоту[1]. Мне должно быть позволено сказать, что ничему из этого я не верил, а потом от реки этой для судоходства не было пользы, поскольку никакой торговли по ней не велось; татары, единственные, кому она была домом родным, ничем, кроме скота, не интересовались, так что никогда я не слышал, чтоб у кого-то хватило любознательности отправиться к устью реки на лодках или подойти к устью с моря на кораблях; зато вот что определённо: эта река, протекая должным образом на восток по своей широте, вбирает в себя великое множество рек и вливается в океан на этой широте, – так что мы уверены, что море там.

В нескольких лигах к северу от этой реки протекают несколько крупных рек, плывя по течению коих точно так же попадаешь на север, как, плывя по Ямуру, попадаешь на восток, и все они сливают свои воды с могучей рекой Тартарус, названной так по живущим на крайнем севере племенам могол-татар, которые, как утверждают китайцы, были первыми татарами на свете и которые, по мнению наших географов, и есть Гог и Магог, упомянутые в святом писании.

Реки эти, текущие на север, как и все другие реки, о коих мне доведётся говорить, с очевидностью подтверждают, что Северный океан граничит с сушей и в этой стороне, так что, по-видимому, ни в малейшей степени не разумно считать, что твердь земная тянется в той стороне до соединения с Америкой или что нет никакого сообщения между Северным и Восточным океанами. Впрочем, о сём я больше говорить не стану: таково было мое умозаключение в то время, поэтому я и упомянул о нём в этом месте. Мы уже продвинулись от реки Аргуна лёгкими и умеренными переходами и воочию были обязаны заботе царя Московии заложить и отстроить города с городками во стольких местах, где их только поместить можно, где солдаты стояли гарнизонами, подобно легионерам, которых римляне оставляли на местах в отдалённых провинциях своей империи, некоторые из них, как я читал, в частности, были расположены в Британии для безопасности торговли и предоставления приюта путешествующим. Так и тут: куда бы мы ни пришли, даром что в этих городках и крепостях гарнизоны и правители были русскими и исповедовали христианство, все же местные жители были сплошь язычниками, приносили жертвы идолам, поклонялись Солнцу, Луне и звёздам или всему Воинству Небесному, да не просто, а были самыми варварскими из всех встречавшихся мне дикарей

[1] Соответственно, около 92 см и 6-9 метров.

и язычников, разве что не ели они человеческого мяса, как то делают наши дикари в Америке.

Несколько примеров этого попались нам на просторах от Аргуна, где мы вошли в московитские владения, до города татар и русских совместно, называемого Норчинской, до которого мы добирались двадцать дней по нескончаемым пустыням и лесам. В деревушке близ последнего из таких городков меня разобрало любопытство взглянуть, какую жизнь здесь ведут люди, и оказалась она самою зверскою и непереносимою. В тот день, по-видимому, местные приносили великую жертву, поскольку врыли в землю старый ствол дерева, Идол, сделанный из дерева и страшенный, как Дьявол, во всяком случае, как что угодно, могущее представлять, на наш взгляд, Дьявола: у него была голова, которая уж точно не напоминала ни одно виданное на свете существо, уши такие же большие, как у козла рога, и такие же высокие, глаза размером с монету в одну крону[1], нос, как загнутый бараний рог, и вытянутая пасть от уха до уха, как у льва, с жуткими клыками, загнутыми, как нижний клюв попугая; одет Идол был так, что омерзительнее не придумаешь: сверху овечьи шкуры мехом наружу, большой татарский колпак на голове с двумя вылезающими из него рогами. Весь Идол высотой был около восьми футов, и всё же ног у него не было вовсе, равно и никакой пропорции в частях тела.

Это пугало было установлено на околице деревни, и, когда я подошёл, возле него собралось шестнадцать-семнадцать этих тварей (то ли мужчин, то ли женщин – сказать не могу, потому как в нарядах их не было различия, что на теле, что на голове), все они распростёрлись на земле вокруг сего чудовищного бесформенного бревна. Я не замечал среди них никакого движения, словно сами они были такими те брёвнами, как и Идол, сказать правду, я и принял их за брёвна, но, когда подошёл чуть поближе, они вскочили на ноги и издали воющий крик, словно бы стая из множества собак с лужёными глотками завыла разом, и отошли в сторону, будто недовольные, что мы их побеспокоили. Неподалеку от этого места, у двери хибары, или избушки, сделанной из высушенных шкур овец и коров, стояли три мясника (это я их принял за таковых), когда я подошёл к ним поближе, то увидел у них в руках длинные ножи, а внутри хижины виднелись убитые три овцы и один бычок или вол – похоже, их-то и предназначали в жертву бесчувственному бревну-Идолу, а эти трое были его жрецами, тогда как семнадцать распростёртых жалких

[1] Диаметр английской кроны составлял около 3,7-3,9 см.

людишек были теми, кто принесли подношение и творили молитвы сей деревянной колоде.

Признаюсь, меня больше тронули их глупость и грубое поклонение этому Страшилищу, чем что-либо ещё в моей жизни: видеть наиславнейшие и наилучшие творения Божьи, которым Он даровал такое множество преимуществ, уже самим сотворением, перед остальными творениями рук своих, вдохнул в них дух разума, а дух этот украсил качествами и способностями, призванными как сделать честь Творцу, так и быть почитаемыми самими сотворёнными, падшими и развращёнными до такой степени, куда большей, нежели глупость, чтобы простираться перед ужасающим Ничто – просто воображаемым предметом, ими же самими обряженным, их же собственным воображением созданным для них же страшным, наделённым лишь лохмотьями да тряпьём, видеть, что всё сие есть результат простого невежества, обращённого в дьявольское почитание самим Дьяволом, завидующим (своему Творцу) почтению и обожанию. Создания, склонные к подобным буйствам, излишествам, мерзостям и грубостям, если подумать, способны отвратить самое Природу.

Однако символ всего изумления и порицания в мыслях – вот он, я видел его своими глазами, и не было в сознании места дивиться ему или полагать неправдоподобным. Весь восторг мой обратился в ярость, я бросился к статуе или чудищу (называйте это как вам угодно) и мечом свои рассёк колпак, сидевший на его голове, пополам, так что он повис на одном из рогов, а один из наших караванщиков, бывший со мною рядом, ухватился за овчину, что прикрывала Идола, и сорвал её. Тут до слуха моего донёсся омерзительнейший крик и вой бежавших из деревни двух-трёх сотен человек, так что я был рад унести ноги, поскольку у некоторых мы заметили луки со стрелами, однако, в тот момент исполнился я решимости снова нанести сюда визит.

Наш караван три ночи простоял близ городка, примерно милях в четырех[1], чтобы отдохнуть, а заодно и заменить нескольких лошадей, захромавших или выбившихся из сил из-за бездорожья и долгого перехода через недавнюю пустыню, так что было у нас немного свободного времени для того, чтобы исполнить задуманное мною. Я сообщил о своём замысле шотландскому купцу из Москвы, в чьей храбрости успел уже достаточно убедиться (о чём выше было сказано), рассказал ему о том, что увидел, причём, не скрывал негодования тем, что до той поры и помыслить не мог, как низко может пасть

[1] Немногим менее 6,5 километра.

натура человеческая. Решил я, сказал я ему, что, если подберу четверых-пятерых хорошо вооружённых людей, кои согласятся пойти со мной, то пойду и уничтожу подлого омерзительного Идола и покажу этим тварям: раз уж нет у него силы самому себе помочь, то и не может он быть предметом поклонения или молитвенных обращений и уж вовсе не может помочь тем, кто приносит ему жертвы.

В ответ шотландец посмеялся надо мной.

– Рвение ваше, – говорит он, – может, и похвально, да только ваше-то собственное намерение в чём?

– Намерение, – сказал я, – в том, чтобы отстоять честь Господа, оскорблённую этим дьявольским поклонением.

– А как отстоять честь Господа? – спрашивает он. – Если люди не будут знать, чем вызваны и что означают ваши действия, если вы не расскажете, не растолкуете им это заранее, то они станут драться с вами и побьют, уверяю вас, ведь народ они отчаянный, особенно при защите Идола, какому поклоняются.

– Разве не можем мы, – заметил я, – сделать это ночью, а потом оставить им все наши доводы и причины, написанные на их же собственном языке?

– Написанные! – воскликнул он. – Да тут и одного человека на пять племен не сыскать, чтоб хоть что-то понимал в буквах или хоть слово мог прочесть на любом языке, даже на своём родном.

– Презренное невежество! – заметил я ему. – И всё же я решительно настроен осуществить задуманное: вероятно, Натура подтолкнёт их к тому, чтобы сделать из этого выводы, даст им понять, насколько они грубы, раз поклоняются таким мерзостям.

– Послушайте, сэр, – сказал купец, – раз уж вы в рвении своём так распалились, то должны сделать это, в то же время я призвал бы вас подумать над тем, что эти дикие племена силой подчинены владению царя Московии и, если вы это сделаете, то десять к одному, что они тысячами явятся к правителю Нерчинского, пожалуются и потребуют воздаяния, а если он им воздаяния не даст, то десять к одному, что они бунт поднимут, что даст повод к новой войне со всеми татарами в стране.

Это, признаюсь, на некоторое время заняло мою голову другими мыслями, только настрой во мне оставался всё такой же, и я целый день терзался тем, как привести мне свой замысел в исполнение. Ближе к вечеру купец-шотландец случайно повстречался мне во время прогулки по городку и пожелал поговорить со мной.

– Надеюсь, – сказал он, – я отвратил ваши мысли от вашего добродетельного умысла, а то я о нём с тех пор немного беспокоюсь, ведь Идол и идолопоклонство мне так же отвратительны, как и вам.

– Воистину, – говорю я, – в том, что касается исполнения, вы меня немного осадили, но от мыслей таких вовсе не отвратили: уверен, что я всё же так и поступлю до того, как покину это место, пусть даже меня выдадут им ради воздаяния.

– Нет-нет, – говорит он, – Бог не допустит, чтобы вас выдали этой шайке чудовищ, иначе сие означало бы предать вас смерти.

– Как это, – говорю я, – да что бы со мною сделали?

– Сделали бы, – говорит он. – Расскажу вам, что учинили они с несчастным русским, который открыто оскорбил их верования, вот так же, как и вы, и которого они сделали своим узником. Для начала его высекли стрелой так, чтобы он убежать не смог, потом раздели совсем догола и посадили на верхушку своего Идола-чудища, а сами встали кружком и принялись стрелять в него стрелами до тех пор, пока не истыкали ими всё его тело, а потому сожгли его вместе с торчащими стрелами как жертву Идолу.

– Этому самому Идолу?

– Да, – говорит купец, – вот этому самому.

– Ну что ж, – говорю я, – расскажу и я вам кое-что.

И поведал ему историю с нашими моряками на Мадагаскаре, как сожгли и разграбили они там целое селение, убив мужчин, женщин и детей, мстя за убийство одного из наших моряков (о чём я уже рассказывал), а закончив, прибавил:

– По мне, так мы и с этой деревней должны то же сделать.

Шотландец внимательно выслушал мой рассказ, но когда я заговорил о том, чтоб и в этой деревне учинить побоище, сказал:

– Вы очень сильно ошибаетесь: тот случай не в этой деревне произошёл, а почти за сто миль отсюда, хотя Идол и тот самый, потому как язычники устроили шествие и на себе перенесли его через всю эту местность.

– В таком случае, – говорю я, – наказан за сие должен быть Идол, и он будет наказан, если я нынешнюю ночь переживу.

Словом, поняв, что настроен я решительно, шотландец замысел мой одобрил и сказал, что я не должен отправляться один, что он пойдет со мной и еще уговорит одного крепкого малого пойти с нами, своего соотечественника, того, пояснил

он, который известен своим рвением, какого каждому из людей пожелать хотелось бы, против всего, на чем лежит отпечаток дьявольщины. Словом, привёл он мне своего товарища, шотландца, которого аттестовал как капитана Ричардсона, коему я представил полный отчёт о том, чему был свидетелем и, словом, обо всех своих намерениях. Тот с готовностью согласился пойти вместе со мной, даже если это будет стоить ему жизни. Итак, мы договорились отправиться только втроем. Сказать правду, я и своему партнёру предложил, но он отказался, заявив, что готов содействовать мне во всех случаях, когда речь идёт о моей защите, а тут предстоит приключение, которое совсем не в его духе. Так что, говорю, решили мы отправиться на дело всего втроем (да еще мой слуга) и привести своё намерение в исполнение той же ночью примерно в полночь, всемерно держа всё в тайне.

Впрочем, поразмыслив хорошенько, мы решили отложить это на следующую ночь, потому как каравану предстояло двинуться в путь утром: мы рассчитывали, что местный правитель не воспользуется тем, чтобы возместить идолопоклонникам потерю за наш счёт, когда мы будем вне его власти. Шотландец-купец, столь же стойкий в своей решимости осуществить наше предприятие, сколь и отважный в исполнении, достал мне татарский наряд из овечьих шкур с колпаком, а также лук и стрелы, обрядил в такое же себя и своего соотечественника, с тем, чтобы никто, заметив нас, не разобрал, кто мы такие.

Всю предшествовавшую ночь мы провели, смешивая то, что способно гореть, с Aqua-vitæ[1], порохом и тому подобными материалами, какие под рукой находились, а уже в ночь, когда отправились в свой поход, собрали в небольшой горшок достаточное количество смолы.

К месту мы подошли примерно в одиннадцать часов, обнаружив, что местные жители, ни в малейшей степени, не подозревают об опасности, нависшей над их Идолом. Ночь выдалась облачная, но света луны вполне хватало, чтобы разглядеть: Идол, где и как стоял прежде, там так и стоит. Весь народ, похоже, спал, и только в большой избе, или, как мы её называли, хибаре, где мы видели трёх жрецов, которых приняли за мясников, горел свет, когда же мы подобрались к двери, то услышали за нею разговор, который вели человек пять-шесть. Ну, мы и порешили: если обложить Идола нашими горючими шутихами и поджечь их, то эти люди сразу наружу побегут спасать Идола

[1] *«Вода жизни» (лат.),* полушутливое обозначение крепких спиртных напитков.

от пожара, устроенного нами на его погибель, а вот как поступить с ними, мы не знали. Поначалу даже думали отнести его подальше в сторонку и поджечь, но, когда подступили поближе, то поняли: уж слишком он велик, чтобы мы смогли унести его, – и опять несколько растерялись. Второй шотландец предложил предать огню хибару, или избу, и сбивать всех выбегающих из неё на землю ударами по голове, но я с этим не соглашался, поскольку был против смертоубийства и хотел, если возможно, избежать его.

– Ну что же, – сказал шотландец-купец, – тогда вот что, я скажу, надо делать: попробуем захватить их в плен, свяжем им руки за спиной и поставим стоять смирно и смотреть, как гибнет их Идол.

Так случилось, что у нас с собой было достаточно верёвок или бечёвок, которыми мы связывали огненные шутихи, так что мы решили первыми напасть на этих людей, производя как можно меньше шума. Первое, что мы сделали, это постучали в дверь, устроенную как нельзя лучше: один из жрецов Идола подошёл к двери, мы тут же схватили его, заткнули рот, связали руки за спиной и отвели к Идолу, где, пригрозив, чтоб он не смел подымать никакого шума, связали ему еще и ноги и оставили на земле.

После чего двое из нас встали у двери, поджидая, когда еще кто-то выйдет узнать, в чём дело, однако мы ждали так долго, что наш третий вернулся, а поскольку никто не выходил, мы тихонько постучались – и тут же вышли сразу двое, которых мы обработали тем же манером, зато вынуждены были все пойти с ними и уложить возле Идола на некотором расстоянии друг от друга. Когда пошли обратно, то увидели, что еще двое вышли из избы а позади них в дверях стоял третий. Мы схватили двоих, сразу же связали их, тогда третий попятился назад и закричал, мой шотландец-купец бросился на него и, выхватив приготовленное нами месиво, которое могло лишь нагонять дыму и вони, поджёг его и швырнул прямо в бывших в избе. К тому времени второй шотландец и мой слуга позаботились о тех двоих, кого мы уже связали по рукам, и отвели их к Идолу, дабы те убедились, сумеет ли их Идол выручить, и быстро вернулись к нам.

Когда брошенный нами запал настолько заполнил избу дымом, что люди в ней едва не задыхались, мы бросили туда кожаный мешочек другого рода, который горел, как свеча, и, идя на его свет, обнаружили, что осталось ещё четыре человека, из коих, как оказалось, двое были мужчинами, а двое женщинами,

кто-то из них, как мы предположили, предназначался для варварских дьявольских жертв. Появились они, короче, перепуганные насмерть, во всяком случае, настолько, что только сидели оцепенело да дрожали, не в силах из-за дыма и слова вымолвить.

Словом, взяли мы их, связали, как и остальных, – и всё это безо всякого шума. Мне следовало бы сказать, что вначале мы вывели их из избы, поскольку, сказать правду, сами уже, как и они, не могли выносить густой дым. Сделавши это, мы отвели их всех к Идолу. Придя туда, принялись за работу над этим бревном: поначалу вымазали его всего вместе с его одеянием смолой и всяким прочим, что у нас было, а именно, жиром, смешанным с серой, потом забили ему глаза, уши и рот порохом, а потом завернули в его колпак большущую огненную шутиху, после чего прилепили к нему всё способное гореть, что принесли с собою. Потом стали искать вокруг чего-нибудь, что помогло бы Идолу сгореть дотла, и тут мой слуга припомнил, что возле избы, где находились люди, есть целая куча сухого корма для скота (то ли соломы, то ли сена, я не помню), тут же он и один из шотландцев побежали и принесли полные охапки. Покончив с приготовлениями, мы развязали нашим пленникам ноги, освободили им рты и заставили встать лицом к чудовищному их Идолу, после чего подожгли его.

С четверть часа или около того простояли мы, пока не взорвался порох в глазах, ушах и во рту Идола и, насколько мы могли понять, расщепил и обезобразил образ его, словом, пока не увидели мы, что огонь превратил его в обычную колоду или бревно, тут занялся и сухой корм и мы, убедившись, что сгорит это бревно основательно, подумали, было, об уходе, однако, шотландец удержал нас, сказав, что уходить мы не должны, ибо эти заблудшие твари все разом бросятся в огонь и сожгут себя вместе с Идолом, так что мы решили задержаться, пока и всё сено не прогорит. После чего мы ушли, оставив язычников.

Утром мы ничем не отличались от наших попутчиков по каравану, сверх меры занятых подготовкой к продолжению нашего перехода, никто и предположить не мог, что мы провели ночь, где бы то ни было, помимо наших постелей, как то и полагалось бы путешественникам, чтобы набраться сил перед тяготами дневного перехода.

Только тем дело не кончилось. На следующий день великое множество сельских жителей не только из этой деревни, но и из сотни других, насколько мне известно, подступили к город-

ским воротам и весьма буйным образом потребовали у русского правителя воздаяния за оскорбление их жреца и за сожжение их Великого Чам-Чи-Таунгу (такое неудопроизносимое имя дали они чудовищному созданию, коему поклонялись). Жители Нерчинского поначалу пришли в великий испуг, ведь, как утверждают, татар собралось не менее тридцати тысяч, а еще через несколько дней их наверняка стало бы сто тысяч.

Русский правитель послал своих гонцов успокоить татар и пообещать им всего, чего те ни пожелают. Он уверял их, что ничего не знал о случившемся, что ни единая душа из его гарнизона не покидала город, что никто из горожан не мог учинить такого, и, если ему скажут, кто такое сделал, то виновные будут примерно наказаны. Татары надменно ответили, что вся страна почитала великого Чам-Чи-Таунгу, который обитал на Солнце, и ни единый смертный не осмелился бы причинить вред его образу, кроме каких-нибудь христианских неверных (так, кажется, именовали их татары), а потому объявляют они правителю войну, а заодно и всем русским, которые, по их словам, суть неверные и христиане.

Правитель, все еще терпеливый и не желающий, чтобы его обвинили, будто он дал повод к войне или нарушил указание царя, строго приказавшего обращаться с покорёнными землями заботливо и обходительно, по-прежнему обещал татарам всё, что мог, и, наконец, заявил им, что утром из города в Россию направился караван, так, наверное, кто-то из путешествующих и учинил им такое оскорбление, сказал также, что, если татар это удовлетворит, то он пошлёт вслед за караваном и расследует дело. Это, похоже, несколько утихомирило татар, и правитель, таким образом, послал за нами и подробно известил нас о том, как дело обстоит, а вдобавок ещё и намекнул, что, если сделал это кто-то из нашего каравана, то им лучше всего бежать, однако, независимо от того, делали ли мы это или нет, всем нам следовало с великой поспешностью двигаться вперед, а он, правитель, меж тем попытается насколько можно удержать татар.

Со стороны правителя то было весьма по-дружески, однако, когда дошло это до каравана, то никто в нём ничего не знал о случившемся и о том, что повинны в этом мы: нас менее всех подозревали в таком, никто даже и вопроса нам не задал по этому поводу. Вместе с тем, начальствующий в то время над караваном воспользовался намёком, который дал нам правитель, и мы шли маршем без существенных остановок два дня и две ночи, пока не устроили привал у деревни под названием

Плотус, да и тот ненадолго, а поспешили дальше к Яровне, еще одной колонии царя Московского, где рассчитывали оказаться в безопасности. Однако следует заметить, что оттуда мы пустились в двух – или трёхдневный переход и вышли в обширную безымянную пустыню, о коей я побольше расскажу в другом месте, и, не сделай мы этого, так более чем вероятно, что всех бы нас уничтожили.

Шёл второй день перехода после Плотуса, когда позади на большом расстоянии от нас поднялись тучи пыли, некоторые из наших людей были убеждены, что за нами погоня. Мы направились в пустыню, а когда проходили мимо большого озера, называвшегося Шакс-озеро, заметили, как на другом берегу озера появилось великое множество лошадей, направлявшихся на север (караван же наш следовал на запад),. Мы видели, как они повернули на запад, как и мы, но посчитали, что мы пойдём тем же берегом озера, тогда как мы, по счастью, пошли южным берегом и еще два дня их не видели, поскольку те были уверены, что мы по-прежнему перед ними, и двигались вперёд, пока не вышли на реку Удда, реку очень большую выше по течению к северу, в том же месте, где к ней подошли мы, речка оказалась узкой, и её можно было перейти вброд.

На третий день то ли преследователи поняли свою ошибку, то ли разведка их сообщила о нас, они припустились за нами, когда наступили вечерние сумерки. Мы успели, к великому своему удовлетворению, расположиться лагерем в месте, очень удобном для ночлега, поскольку находились в пустыне, пусть и в самом начале её, протянувшейся более чем на пятьсот миль[1], и на всем этом протяжении не было ни городка, в котором можно было бы встать на отдых, сказать правду, мы и не ожидали никакого жилья до самого города Яровна, до которого было еще два дня пути. В этой же стороне пустыни имелись немногочисленные леса и протекало несколько мелких речек, впадавших в большую реку Удда, которая несла свои воды узким протоком между двумя небольшими, но очень густыми лесами, где мы и разбили на ночлег своей маленький лагерь, ожидая нападения ночью.

Никто, кроме нас самих, не знал, из-за чего нас преследуют, однако для могол-татар было обычным делом рыскать по той пустыне, сбившись в вооружённые отряды, так что караваны всегда на каждую ночь превращали свои стоянки в укрепления против них как против армий грабителей, так что в самом преследовании не было ничего нового.

[1] Более 800 километров.

Но в ту ночь мы разбили самый выгодный лагерь изо всех ночей наших переходов, поскольку расположились между двумя лесами с небольшой речушкой, бежавшей прямо перед нами, так что нас нельзя было окружить или напасть на нас, откуда бы то ни было, кроме как спереди или сзади, мы к тому же позаботились о том, чтобы насколько возможно сильно укрепиться спереди, уложив всю нашу поклажу вместе с верблюдами и лошадьми в одну линию по ближнему берегу реки и соорудив позади засеки из поваленных деревьев.

В таком положении мы отстояли лагерем ночь, однако, враги напали на нас до того, как мы его покинули, причем, напали они не по-воровски, как мы того ожидали, а прислали нам трёх гонцов с требованием выдать тех людей, которые оскорбили их жрецов и огнём сожгли их Бога Чам-Чи-Таунгу, с тем, чтобы и они могли сжечь виновных в огне, после чего, обещали татары, они уйдут восвояси и не причинят нам больше никакого вреда, иначе же они всех нас пожгут огнём.

Наши люди, казалось, были весьма озадачены таким посланием и принялись всматриваться друг в друга, чтобы понять, у кого на лицах вина проявится заметнее всего. Но ответ был один: «никто», – никто этого не делал. Начальствующий над караваном послал сообщить, что вполне убеждён: к случившемуся не причастен никто из нашего лагеря, мы мирные купцы, путешествующие по своим торговым делам, и мы не причиняли никакого вреда ни татарам, ни кому-то ещё, а потому они должны поискать своих врагов, нанесших им оскорбление, в другом месте, мы таковыми не являемся, а потому желаем, чтобы они нас не тревожили, ибо, если потревожат, то мы должны будем защищаться.

Татары ответом остались далеко не удовлетворены, а утром на рассвете громадной толпой явились к нашему лагерю, однако, увидев, что к нам не просто подступиться, не решились продвинуться дальше ручья у нас спереди. Там они и стояли, нагоняя на нас страху одним своим числом, ведь было их, по самому скромному подсчету, тысяч десять. Так стояли они, глядя на нас, а потом, издав жуткой вой, засыпали нас тучей стрел, но мы от них были вполне надежно защищены, поскольку укрылись под своей поклажей, и я не помню, чтобы кто-то из нас был ранен.

Спустя некоторое время мы заметили, как татары сдвинулись немного вправо, и стали ожидать их сзади. Но тут один сообразительный малый, казак, как их называют, из Яровны, состоявший на службе у московитов, обратился к начальствующе-

му над караваном со словами: «Я пойду и отправляю всех этих людей аж до самой Сибилки», – то есть до города, бывшего, по меньшей мере, в четырёх-пяти днях пути к югу и довольно далеко позади нас. Взяв свой лук со стрелами, малый садится верхом и скачет прочь прямо от задней части нашего лагеря как бы обратно в Нерчинской, после чего делает большой крюк и приближается к армии татар, словно был послан срочно им вослед, чтобы поведать долгую историю, будто люди, которые сожгли Чам-Чи-Таунгу, ушли в Сибилку с караваном неверных (как называл их казак), то есть христиан, и что они вознамерились сжечь Бога Шал-Исара, принадлежавшего тунгусам.

Поскольку казак этот сам был простым татарином и в совершенстве говорил на их языке, он настолько ввел наших преследователей в заблуждение, что они его истории поверили и на полном скаку помчались к Сибилке, которая, похоже, была в пяти днях пути на север, и уже через три часа всех их след простыл и больше мы о них никогда не слышали и так и не узнали, добрались они до того города, что назывался Сибилка, или нет.

Итак, мы благополучно добрались до города Яровны, где стоял гарнизон московитов и где мы отдыхали пять дней, поскольку караван совершенно выбился из сил после последнего дневного перехода и из-за отсутствия отдыха ночью.

После сего города мы вступили в ужасную пустыню, которая потребовала от нас двадцати трёх дней перехода. Ночью за неимением лучшего мы укрывались в шалашах, а начальствующий над караваном раздобыл шестнадцать местных повозок, чтобы перевозить воду и провизию, и каждую ночь эти повозки становились нашей защитой, выстраиваясь вокруг небольшого лагеря, так что, если бы появились татары (если бы только не явились они в очень большом количестве, сказать правду), то никак не смогли нам навредить.

Мы вполне нуждались в отдыхе после такого длительного перехода, ведь в той пустыни не видели мы ни дома, ни деревца, только редкие кустарники. Встречалось нам множество охотников на соболей (как они себя называют), все они были татарами из Могол-Татарии, частью которой являлись эта местность, и частенько нападали на малые караваны, но нам они не попадались по нескольку вместе. Мне было любопытно взглянуть на добытые ими соболиные шкурки, только никак не мог я говорить с ними, поскольку приближаться к нам охотники не осмеливались, да и среди нас не находилось смельчаков подходить к ним поближе.

После того, как прошли мы эту пустыню, караван вступил в местность, весьма хорошо обжитую, то есть, увидели мы города и крепости, поставленные царём Московии с постоянными гарнизонами солдат для охраны караванов и защиты этих земель от татар, которые иначе сделались бы весьма опасными для путешествий. Его Царское Величество отдал такие строгие приказы по добротной охране караванов и купцов, что, как только в тех местах слышали о татарах, так гарнизонные отряды всегда направлялись от одной крепости до другой блюсти безопасность путешественников.

И таким образом правитель Адинского, коему мне выпал случай нанести визит через посредство шотландца-купца, который был с ним знаком, предложил нам охрану из пятидесяти человек, коль скоро мы предвидим некую опасность при переходе до другой крепости.

Задолго до этого я полагал, что, чем ближе мы будем подходить к Европе, тем более населёнными окажутся земли и более цивилизованными люди, однако, как я убедился, ошибался я и в том, и в другом, поскольку нам ещё предстояло пройти племя тунгусов, где видели мы те же, а то и похуже прежних, приметы язычества и варварства, только тунгусы были завоеваны московитами и полностью подавлены и оттого не представляли такой опасности, зато в том, что касалось грубости поведения, идолопоклонничества и многобожия, их не превосходил ни один народ в мире. Все они были одеты в шкуры животных, и из таких же шкур строились их жилища, отличить мужчину от женщины невозможно ни по грубости черт, ни по одежде, а зимой, когда землю застилает снегом, они живут под землей в жилищах похожих на погреба, которые соединяются друг с другом подземными ходами.

Если у татар есть свой Чам-Чи-Таунгу для всей деревни, а то и для всей страны, у тунгусов свои идолы в каждой избе и в каждой пещере, к тому же они поклоняются Звездам, Солнцу, Воде и Снегу, словом, всему, чего не разумеют, разумеют же они очень мало, так что едва ли не всякая стихия, всякое необычное понуждает их к жертвоприношениям.

Впрочем, мне следует не больше заниматься описаниями людей, чем земель, выходя за рамки, потребные для собственного повествования. Сам я не встретил ничего для себя необычного во всей этой земле, полагаю, из-за той самой пустыни, что тянулась, как я уже недавно упоминал, по меньшей мере, на 400 миль[1], половину из которых занимала еще одна пусты-

[1] Около 674 километров.

ня: без единого дома, дерева или куста, – преодолеть которую нам удалось за тяжелый 12-дневный переход, когда мы вновь вынуждены были нести с собой собственные запасы провизии, а также воды и хлеба. Когда мы вышли из пустыни и одолели ещё два дня пути, то подошли к Янизаю, московитскому городу или крепости на широкой реке Янизай. Река эта, как нам здесь говорили, разделяет Европу и Азию, хотя наши картографы, насколько я уведомлён, с этим не согласны, вместе с тем река определённо является восточной границей древней Сибири, ныне являющейся лишь одной из провинций обширной московитской империи, хотя самоё по себе она равна по величине всей Германской империи.

Всё же и там видел я всё ещё преобладающее невежество и язычничество за пределами московитских гарнизонов, вся эта земля между рекою Обью и рекою Янизай всецело языческая, а народ её такой же варварский, как самые отдалённые из татар, более того, как любое из известных мне племён в Азии или Америке. Заметил я также, на что и указал московитским правителям, с кем имел возможность побеседовать, что несчастные язычники ничуть не мудрее и не ближе к христианству, находясь под властью московитов; правители признавали, что сие вполне правдиво, однако, как они утверждали, это вовсе их не касается: коли будет на то царская воля обратить своих подданных сибиряков, или тунгусов, или татар, то делать это следовало бы, направляя сюда вместе с ними священников, а не солдат, и прибавляли при этом с искренностью, коей я и не ждал, что сами они того мнения, что забота их монарха не столько в том, чтобы делать их этих племён христиан, сколько в том, чтобы делать из них подданных.

От этой реки до большой реки Оби мы шли по диким, неухоженным местам, не могу сказать, чтобы почва эта была бесплодна, она просто лишена людей и доброго ухода, но самоё по себе это приятнейшая, плодороднейшая и милейшая земля. Все обитатели её, коих мы видели, язычники, за исключением тех, кто был прислан жить среди них из России, поскольку это места (я имею ввиду по обеим берегам реки Оби), куда отправляют московитских преступников, коих не предают смертной казни, и откуда убежать им практически нет никакой возможности.

Не могу сообщить ничего существенного о собственных своих делах до времени, когда приехал я в Тоболски, столичный город Сибири, где и задержался на некоторое время по следующему случаю.

Путешествие наше длилось уже почти семь месяцев, стремительно надвигалась зима, и мы с моим партнёром сошлись на совет, чтобы обсудить наши собственные дела, во время которого сочли нужным, поскольку направлялись мы не в Москву, а в Англию, обсудить, что нам делать дальше. Нам говорили про сани и северных оленей, которые могли бы повезти нас по снегу в зимнее время, и в самом деле имелось там всякое такое, все особенности чего донести просто невероятно, что позволяет русским больше путешествовать зимой, чем есть у них возможность передвигаться летом, потому как на своих санях они способны гнать ночью и днем: вся природа оказывается целиком во власти смерзшегося снега, который делает все холмы, долины, реки и озёра гладкими и твёрдыми, как камень, и люди едут по его поверхности, вовсе не обращая внимания на то, что находится под нею.

Увы, мне ни разу не приходилось пускаться в подобной зимнее путешествие, целью моей была Англия, а не Москва, и путь мой мог пролегать двояко: либо вместе с караваном до Ярослава, а потом на запад до Нарвы и Финляндского залива, а там по морю или по суше до Дантцика, где я мог бы с хорошей выгодой для себя продать свой китайский груз; либо должен я покинуть караван в небольшом городке на Двине, откуда всего за шесть дней можно добраться по воде до Архангела, а уж оттуда наверняка можно было добраться на судне до Англии, Голландии или Гамбурга.

Пускаться в любое их таких путешествий сейчас, зимой, было бы нелепо, поскольку Балтика до самого Дантцика покрыта льдом, а мне в тех краях не найти по суше прохода, который был бы намного безопаснее, нежели путь среди могол-татар, точно так же нелепо отправляться в Архангел в октябре, когда все суда уже уйдут оттуда и даже те купцы, которые живут в городе летом, зимой, когда суда уходят, перебираются на юг в Москву, а потому ничто меня там не ждёт, кроме жуткого холода, нехватки провизии, и должен буду я обосноваться в пустом городе на всю зиму. Так что, приняв всё во внимание, решил я, что куда лучше для меня будет распрощаться с караваном, запастись на зиму провизией там, где я находился, (то есть) в Тоболски в Сибири, где я мог быть уверен в трёх вещах, кои позволят пережить холодную зиму: обилие провизии, которую можно позволить в тех краях, теплый дом и достаточно топлива, к тому же и превосходная компания, о которой в своём месте я расскажу всё полностью.

Теперь я находился в совершенно ином климате, нежели на своём любимом Острове, где никогда не испытывал я холода, если не считать случаев, когда меня бил озноб от лихорадки, напротив, мне много стоило носить вообще какую-либо одежду, никогда не разводить огонь, иначе как снаружи дома и только для необходимости готовить себе пищу, и проч. Теперь же я пошил себе три добротных жилета с просторными халатами поверх них, свисавшими до пят, и с пуговицами на запястьях – и все это было подбито мехом, чтобы достаточно хранить тепло.

Что до тёплого дома, то, должен признаться, я весьма не люблю наш обычай в Англии разводить огонь в каждой комнате дома в каминах с прямыми трубами, которые всегда, стоило огню погаснуть, делали воздух в комнате таким же холодным, как и на улице. И все же, сняв квартиру в хорошем городском доме, я велел устроить камин в виде очага в центре шести отдельных комнат, наподобие печки, дымоход, по которому дым поднимался бы вверх, с одной стороны, и дверцу, дающую доступ к огню, – с другой. При этом во всех комнатах было в равной мере тепло, зато огня не было видно, – как раз так, как в Англии отапливают бани с парными.

Посредством сего у нас всегда во всех комнатах был один и тот же климат, и равно сохранялось тепло, и, как бы холодно ни было снаружи, внутри всегда было тепло, даром что мы и огня не видели, и от дыма неудобства не испытывали.

Самым чудесным оказалось то, что достойную компанию можно было найти и здесь, в стране столь же варварской, как и самые северные окраины Европы подле покрытого льдом океана, и всего лишь в нескольких градусах от Нова Зембла.

Однако в этой стране, где все государственные преступники Московии, как я отмечал прежде, отправляются в ссылку, сей город был полон дворян, князей, людей благородных, полковников – короче, людей всех рангов из аристократии, помещиков, военных и придворных Московии. Здесь были знаменитый князь Голлиоцен, старый генерал Робостиский и ещё ряд важных лиц, а также несколько дам.

Через моего шотландца-купца, с кем я, тем не менее, тут и распрощался, я завёл в городе знакомства с несколькими из этих вельмож (а часть из них принадлежала к высшей знати), которые долгими зимними вечерами, пока оставался я в Тоболски, наносили мне весьма приятные визиты. Однажды вечером я беседовал с князем, одним из сосланных государственных министров царя Московии, и так случилось, что впервые заго-

ворил о том, что довелось пережить мне. Князь щедро делился со мной всеми прелестями величия, великолепия владений и абсолютной власти императора русских, когда я, прервав его, сказал, что сам был правителем куда более великим и могущественным, чем любой из царей Московских, даром что владения мои были не столь велики, а народ мой не столь многочислен. Русский вельможа, казалось, несколько удивился и, глядя на меня во все глаза, принялся расспрашивать, что я под этим подразумевал.

Я заметил, что удивление его поубавится, стоит мне только объясниться. Во-первых, сообщил я князю, в моём абсолютном распоряжении находились жизни и судьбы всех моих подданных. Далее, невзирая на мою абсолютную власть, не было у меня во всех моих владениях ни единого человека, не довольного моим правлением или мною лично. Князь при этих словах покачал головой и молвил, что тут я и в самом деле превзошёл царя Московии. Все земли моего царства, сообщил я ему, находились в моей собственности, а все мои подданные были не просто моими арендаторами, но арендаторами по своей воле: они стали бы сражаться за меня до последней капли крови; не было на свете тирана (ибо таковым я сам себя признавал), которого бы столь единодушно любили и в то же время столь жутко боялись его подданные.

Потешив некоторое время слушателей подобными загадками государственного правления, я раскрыл секрет и поведал им полную историю своей жизни на Острове, того, как удавалось мне управляться и с собою, и с людьми, мне подвластными, о чём я с тех пор уже успел оставить описание. Слушатели были безмерно потрясены моей историей, в особенности князь, сказавший мне со вздохом, что истинное величие жизни состоит в том, чтобы быть хозяевами самих себя, что он променял бы положение, в какое жизнь ввергла меня, на престол царя Московского и что здесь, в ссылке, на какую был обречён, познал он большее блаженство, нежели тогда, когда обладал высочайшей властью при дворе своего владыки, царя. Высшая человеческая мудрость, заметил князь, в том, чтобы привести к ладу наш нрав и обстоятельства, в каких мы оказываемся, в самих себе обрести покой под грузом величайших глумлений извне.

Когда он только-только приехал сюда, признался князь, так бывало волосы на голове и одежду на себе рвал, как до него то же проделывали и другие, однако, потребовалось немного времени и раздумий, чтобы сделать усилие и, заглянув в самого

себя, приноровиться ко всему вокруг. Князь уяснил, что разум человека, однажды употреблённый на осмысление состояния вселенской жизни и на то, сколь мало зависит от мира сего истинное блаженство, в совершенстве способен создать блаженство для самого себя, полностью удовлетворяясь самим собою, и пригоден для собственных своих наилучших целей и желаний, пользуясь разве что незначительным содействием мира сего. По мнению князя, воздух, чтобы им дышать, пища, чтобы поддерживать жизнь, одежда для тепла и свобода для упражнений тела с целью быть здоровым – вот чем ограничивается всё то, что мир сей способен дать нам. И пусть величие, власть, богатства и удовольствия, в коих некоторые находят себе отраду в мире сём, могут выпасть и на нашу долю, пусть многое из того покажется мило нам, всё ж, как он убедился по зрелом размышлении, всё это удовлетворяет самые грубые из наших пристрастий, такие как наше честолюбие, как нашу привередливую гордыню, нашу алчность, нашу суетность и нашу чувственность – всё то, что, сказать правду, суть плод наихудшего в человеке, сами по себе преступления и несут в себе семена всех способов преступного, зато не имеют никакого отношения и никак не связаны ни с одной из тех добродетелей, кои делают нас людьми мудрыми, или с теми добродетелями, кои отличают нас как христиан.

Ныне, лишённый всяческих надуманных блаженств, которым князь некогда радовался, полностью отдаваясь всем этим порокам, он, по его признанию, обрёл свободное время, чтобы вглядеться в тёмную их сторону, где обнаружил все виды уродливости, и теперь убеждён: лишь добродетель делает человека истинно мудрым, богатым и великим, хранит его на земном его пути для высшего счастья в жизни загробной. И в этом, сказал князь, они более счастливы в своём изгнании, чем все их враги, кои купаются во всяческой роскоши и власти, которые они (сосланные) оставили в своём прошлом.

– Нет, сэр, – говорит он, – понуждаемый обстоятельствами, кои называют жалкими, разумом своим подходить ко всему этому политически, я, однако, если я хоть что-то понимаю в самом себе, ни за что бы не вернулся обратно, пусть даже царь, мой властелин, призвал бы меня и восстановил во всем прежнем моём величии, уверяю вас, я не стал бы стремиться обратно, как, уверен, не станет стремиться моя душа, когда будет ей позволено покинуть сие узилище тела и почувствовать вкус благости потусторонней жизни, вновь оказаться в темнице плоти

и крови, в коей обитает ныне, не оставит она Небеса для того, чтобы погрязнуть в грязи и преступлениях дел человеческих.

Говорил он это с таким пылом, с такой убеждённостью и таким душевным подъёмом, наглядно отражавшемся в выражении его лица, что было очевидно: то было истинное чувство его души, не оставлявшее места для сомнений в его искренности.

Я признался князю, что как-то в прошлом своем бытии возомнил себя чем-то вроде монарха, зато его я считаю не только монархом, но и великим завоевателем, ибо тот, кто одержал Победу над собственными непомерными желаниями и полностью овладел самим собой, дав разуму всецело править своей волей, конечно же, более велик, чем тот, кто захватил какой-нибудь город.

– Однако, милорд, – спросил я, – позволено ли будет мне задать вам вопрос?

– Приветствую его от всей души, – ответил он.

– Если дверь вашего освобождения откроется, – сказал я, – воспользуетесь ли вы этим, чтобы избавить себя от этой ссылки?

– Постойте, – сказал князь, – ваш вопрос деликатен и требует кое-каких серьезных уточнений для того, чтобы дать искренний ответ, и я вам его дам от всей свой души. Ничто из известного мне на белом свете не подвигло бы меня на избавление от нынешнего состояния изгнанника, кроме двух вещей. Во-первых, счастье моих близких и, во-вторых, чуть более тёплый климат. Но я возражу вам вот в чём: если речь пойдет о возвращении к пышности двора, почестям, власти и суете государственного министра, к богатству, веселью и удовольствиям, иными словами, к причудам придворного, если сей момент мой владыка известит, что восстанавливает всё отнятое у меня, – я стану возражать, если только я хоть как-то знаю самого себя, я не покину сих диких мест, этих пустынь, этих замёрзших озер ради дворца в Москве.

– Однако, милорд, – сказал я, – по-видимому лишены вы не только удовольствий двора, власти, влияния и богатства, коими пользовались ранее, но вы, возможно, отрешены от некоторых жизненных удобств, ваше имение, наверное, конфисковано, имущество разграблено, а того, что осталось у вас здесь, возможно, не хватает на покрытие обычных жизненных нужд?

– Верно, – ответил он, – если вы считаете меня каким-то вельможей, князем и проч. По сути, таков я и есть, только попробуйте отнестись ко мне всего лишь как к человеку, как к любому человеческому созданию, ничем не отличимому ни от

какого другого, и я сразу окажусь способен не страдать ни от какой нужды, если только не навалится на меня болезнь или расстройства. Впрочем, дабы не вдаваться в спор по этому вопросу, возьмите нас, чей здешний быт вам знаком. Нас в этом городе пятеро титулованных дворян, живём мы совершенно обособленно, как и подобает государственным ссыльным; мы располагаем кое-чем, оставшимся от кораблекрушения наших судеб, что позволяет нам не отправляться на охоту из-за одной только необходимости добывать себе пищу, однако, бедные солдаты, стоящие тут и не имеющие такого подспорья, живут куда в большем достатке, чем мы; они отправляются в лес и ловят соболя и лисиц – месяц трудов обеспечивает их на целый год и, поскольку расходы на жизнь тут невелики, вовсе не трудно содержать самих себя. Так что сие возражение отметается.

У меня нет места полностью передать все приятнейшие разговоры, которые я вёл с этим поистине великим человеком, во всех них он доказал, что разум его настолько вдохновлён высшим познанием сущего, настолько находит опору в религии, равно как и в обширной мудрости, что его презрение к миру сему действительно так же велико, как он и утверждает, что остаётся он всегда самим собой до последнего, как то станет ясно из историю, которую я собираюсь поведать.

Я пробыл в городе восемь месяцев, и все они представлялись мне тёмной жуткой зимой, когда мороз был так силён, что я и носу не мог высунуть наружу, не завернувшись в меха и не укрыв лицо мехом, как маской, или, точнее, капюшоном с единственной дырой для дыхания и двумя поменьше – для глаз. Месяца три, по нашим прикидкам, световой день был совсем короткий: не более пяти часов, самое большее – шесть; только снег постоянно покрывал землю, и погода стояла ясная, так что совсем темно не было никогда. Лошади наши содержались (или, точнее, сохранялись на голодном пайке) под землей, а что касается слуг, то мы наняли троих ухаживать за лошадьми и за нами, и нам то и дело приходилось растирать им отмороженные пальцы на руках и ногах и принимать меры, как бы они не омертвели и не отвалились.

То верно, что в домах было тепло, стояли они близко друг к другу, стены толстые, света мало, все застеклённые окна двойные; ели мы главным образом вяленую оленину, заготовленную летом, вполне добротный хлеб, хоть и испечённый в виде караваев или лепёшек, высушенную рыбу нескольких видов и иногда свежую баранину или говядину – мясо было весьма вкусное.

Все виды провизии на зиму закладываются летом и хорошо приготавливаются; пили же мы воду, смешанную с Aqua-vitæ, вместо бренди и – в виде лакомства – медовуху вместо вина, которая, впрочем, у русских отменного качества. Охотники, которые выбирались в лес в любую погоду, часто приносили нам свежей оленятины, очень жирной и вкусной, а иногда и медвежатины, хотя до последней мы были не очень охочи. У нас с собой был хороший запас чая, которым мы угощали своих друзей, о коих говорилось выше. Словом, принимая всё во внимание, жили мы весело и хорошо.

Наступил март, дни сделались значительно длиннее, а погода – по крайней мере, более сносной, так что другие путешественники стали готовить сани, чтобы отправиться на них по снегу, и собираться, чтобы быть в готовности к отъезду, только я, как уже говорил, приготовился ехать в Архангел, а не в Московию или на Балтику, а потому сидел недвижимо, очень хорошо зная, что суда с юга не отправятся в те края раньше мая-июня и что, если попаду я туда к началу августа, это получится как раз к сроку, когда суда станут готовиться к отплытию, вот почему, говорю я, уезжать я, как другие, совсем не спешил, словом, проводил я многих, а точнее, всех других путешественников. Как представляется, они каждый год отправляются отсюда торговать в Москву: везут туда меха и покупают на них всё необходимое, что привозят, дабы снабдить товарами свои лавки. Были и другие, которые для тех же целей отправлялись в Архангел, но и они тоже, учитывая, что придётся сделать более 800 миль обратного пути, уехали раньше меня.

Короче, к концу мая я принялся готовить всё к погрузке, и, занимаясь этим, задумался вот над чем: я понимал, что люди, с которыми я познакомился, сосланы царём Московии в Сибирь, но зато, когда они туда прибыли, то им была предоставлена свобода отправляться куда угодно, так почему бы не поехать им в те края мира сего, какие они сочтут более для себя подходящими? И я принялся изучать, что могло воспрепятствовать им предпринять такую попытку.

Только все мои гадания закончились, стоило мне только заговорить о сём предмете с лицом, о коем я уже упоминал, и ответил он мне так:

– Сэр, подумайте, во-первых, – сказал князь, – о месте, где мы находимся, а во-вторых, в коих мы условиях находимся, в особенности о большей части людей, сосланных сюда. Нас окружает кое-что покрепче решёток и запоров: с севера несудо-

ходный океан, в котором никогда не ходят под парусом суда да и лодки не плавают, причем, будь даже у нас и то и другое, разве знали бы, куда на них направляться? Отправься мы любым иным путем – и пришлось бы более тысячи миль[1] пробираться по собственным владениям царя да еще обходами, совершенно непроходимыми, если не считать дорог, устроенных властью да городами, где стоят её воинские гарнизоны, – так что нам ни по дороге не пройти незамеченными, ни прокормиться, если мы иным путем пойдем, а значит, впустую и пытаться.

Крыть мне, сказать правду, это было нечем, стало ясно, что ссыльные находятся в тюрьме, которая на каждую йоту была столь же надежна, как если бы их заключили в узилище замка в Москве. Впрочем, пришло мне на ум, что я, несомненно, мог бы стать орудием, предоставившим возможность для побега этой великолепной личности, и, какие бы трудности мне ни встретились, уж, конечно же, попытаюсь увезти его. Этим я однажды вечером с ним и поделился: представил ему дело так, что мне очень легко увезти его с собой, в самой стране никто его сторожить не станет, а поскольку я еду не в Москву, а в Архангел и передвигаюсь как бы караваном, то не обязан останавливаться в опорных городках в пустыне, а могу каждую ночь разбивать лагерь, где вздумается, стало быть, мы легко могли бы беспрепятственно добраться до самого Архангела, где я сразу же укрою его на каком-нибудь английском или голландском судне и безопасно вывезу вместе с собой; что же до средств существования и прочих мелочей, то это будет моей заботой до тех пор, пока он не сумеет содержать себя получше.

Князь выслушал меня очень внимательно и, пока я говорил, всё время серьёзно смотрел на меня. Более того, по его лицу я видел, что слова мои взбудоражили его чувства, он то бледнел, то румянился, глаза его казались покрасневшими, а сердце трепетало так, что это было заметно даже по выражению на лице. Да и ответил он мне не сразу, когда я умолк, а только после того, как, немного помолчав, обнял меня и произнёс:

– Сколь же безрадостны мы, существа безнадзорные, каковы мы есть, коль скоро даже наши величайшие деяния дружбы становятся нам западнёй, а мы делаемся искусителями друг для друга! Мой дорогой друг, предложение ваше столь искренне, в нём столько доброты, оно настолько само по себе бескорыстно и настолько рассчитано к моей выгоде, что я должен бы очень мало знать о мире, если бы не подивился ему и одновременно не выразил бы свою вам признательность за него. Только неуж-

[1] Более 1600 километров.

то вы поверили, что я был искренен, столь часто убеждая вас в своем презрении к миру? Неужто вы посчитали, что я всю душу вам открыл и что я, в самом деле, испытываю здесь ту меру блаженства, которая ставит меня превыше всего, что способен дать мне мир? Неужто вы поверили, что я был искренен, когда говорил, что не вернусь, если меня вновь позовут, хотя бы для всего, чем был я некогда при дворе, будучи в фаворе у царя, моего владыки? Неужто вы, друг мой, считаете меня честным человеком или вы видите во мне хвастливого лицемера?

Тут князь умолк, будто хотел услышать мой ответ, однако, на самом деле, как вскоре я понял, умолк он потому, что все чувства его пришли в движение, а в большом его сердце шла борьба, и он не в силах был продолжать. Я, признаюсь, был поражён этим, как и самим человеком, и пустил в ход некоторые доводы, пытаясь убедить вырваться на свободу: сказал, что ему следует рассматривать это как дверь, открытую Небесами во имя его спасения, как зов Провидения, которое опекает и упорядочивает все события, убеждал сделать благо самому себе и с пользой послужить миру сему.

Князь к этому времени уже пришёл в себя.

– Откуда вам известно, сэр, – говорит он пылко, – что сие зов с Небес, а не, возможно, уловка иного орудия? Может быть, представленное в соблазнительных красках зрелище блаженства как спасения, само по себе есть западня для меня и ведет ровнехонько к моей погибели? Здесь я свободен от искушения возвратом к былому низменному своему величию, там же нет во мне уверенности, что все семена гордыни, честолюбия, алчности и роскошества, кои, как мне известно, хранит натура, не прорастут и не пустят корни, словом, вновь не возьмут надо мною власть – и тогда счастливый узник, коего ныне видите вы как властелина вольности своей души, сделается жалким рабом собственных чувств при всей полноте личной свободы. Дорогой сэр, уж позвольте мне остаться в блаженном заточении, избавленному от преступлений жизни, нежели покупать зрелище свободы ценой вольности моего разума, ценою будущего счастья, ныне прозреваемого мною, но кое, боюсь, тогда скоро потеряю из виду, ведь я всего лишь плоть, человек, просто человек со страстями и пристрастиями, которые способны владеть мною и уничтожить меня, как и всякого другого человека. О, не тщитесь быть равно и другом, и искусителем моим!

Если я прежде был поражён, то теперь попросту онемел, молча стоял, глядя на князя, и, сказать правду, любовался тем,

что видел. Борения души его были так велики, что, даром, что мороз стоял лютый, князь весь покрылся обильным пóтом, и я понял, что ему потребно дать волю наболевшему в душе, а потому, молвив словечко-другое, я оставил его наедине со своими мыслями и, вновь ожидая с ним встречи, удалился к себе домой.

Часа через два я услышал, как кто-то подошёл к двери моей комнаты, и уже собирался открыть дверь, как он сам открыл её и вошёл.

– Дорогой мой друг, – произнёс князь, – вы едва не перевернули всё во мне, но я выстоял. Не предавайтесь обиде, что я не внял вашему предложению, уверяю вас, это не от недостатка понимания, что вызвано оно вашею добротою, я и пришёл, чтобы самым искренним образом признать сие в вас, однако, надеюсь, я одержал победу над самим собой.

– Милорд, – сказал я, – надеюсь, вы полностью убеждены, что не противитесь зову Небес.

– Сэр, – сказал он, – исходи это с Небес, так та же сила побудила бы меня принять этот зов, однако, надеюсь – и полностью в том убеждён, – что велением Небес отклоняю я сей зов, и я бесконечно доволен при расставании, что в ваших глазах по-прежнему останусь человеком честным, пусть и не свободным.

Мне ничего не оставалось, как уступить и убеждать его, что не преследовал я никакой иной цели, кроме искреннего желания оказаться ему полезным. Князь крепко обнял меня и уверил, что чувствовал это и всегда будет за это признателен, и с такими словами предложил мне в подарок великолепных соболей, сказать правду, слишком дорогой, чтобы я мог принять такой подарок от человека в его положении; я бы уклонился от него, только князь и слышать не желал об отказе.

На следующее утро я послал своего слугу к его сиятельству с небольшим подарком, состоявшим из чая, двух штук китайской камчатной ткани и четырёх небольших брусочков японского золота общим весом более шести унций[1] или около того, но всё это не шло ни в какое сравнение со стоимостью его соболей, которые, откровенно признаться, как выяснил я по возвращении в Англию, стоили около 200 фунтов. Князь принял чай, одну штуку ткани и один из золотых брусочков, на котором была оттиснута затейливая японская печать (его, как я понял, он принял в качестве редкой диковины), но отказался взять что-либо еще, а со слугой передал мне, что желает переговорить со мной.

Когда я пришёл, он начал с того, что мне известно, что произошло меж нами, а потому надеется, что больше я к этому делу

[1] Около 170 грамм.

возвращаться не стану, но, поскольку я сделал ему столь щедрое предложение, он спросил, не буду ли я настолько добр, чтобы предложить то же самое другому лицу, кое он мне назовёт и в ком принимает большое участие. Я ответил, что не сказал бы, что склонен оказать ту же услугу кому-либо, кроме него самого, поскольку особо ценю его и был бы рад оказаться орудием его спасения, вместе с тем, если князь соблаговолит назвать мне это лицо, то я дам ему свой ответ, и надеюсь, он не будет на меня в обиде, если мой ответ окажется для него обидным. Речь идёт, сообщил князь, всего лишь о его сыне, который, хоть я его и не видел, находится в таком же положении, как и он сам, более чем в двухстах милях[1] отсюда, по ту сторону реки Оби, но, если я дам согласие, то он пошлёт за ним.

Я, нимало не колеблясь, сказал, что сделаю это, не пожалев церемонных слов, чтобы убедить князя, что сие всецело ради него, что, понимая тщетность своих усилий переубедить его, я готов выказать ему своё уважение, взяв на себя заботу о его сыне. Впрочем, речи мои были чересчур длинны, чтобы повторять их здесь. На следующий день князь послал за сыном, а еще дней через двадцать тот прибыл вместе с посланцем, приведя с собой шесть или семь лошадей, гружённых весьма роскошными мехами, которые в целом представляли собой очень большую ценность.

Слуги молодого князя привели лошадей в город, но самого его оставили неподалеку до ночи, когда он пришел incognito[2] к нам на квартиру и отец представил его мне. Говоря коротко, мы согласовали то, как поедем, и всё, что имело отношение к путешествию.

Я закупил значительное количество шкурок соболей и чёрных лисиц, прекрасных горностаев и тому подобных роскошных мехов, купил их, говорю я, в городе в обмен на некоторые товары, привезённые из Китая, в частности, гвоздику и мускатный орех, большую часть которых я продал здесь, а остальное – в Архангеле по куда более выгодной цене, чем смог бы получить в Лондоне. Партнёр же мой, весьма падкий на прибыль и более меня занимавшийся нашими товарами, был отменно доволен нашим пребыванием в городе, с точки зрения произведенного нами здесь обмена.

Начался июнь, когда покинул я это далёкое место, этот город, о каком, уверен, мало слышали на свете, да он и в самом деле был так далеко от торговых путей, что я и не представ-

[1] Около 330 километров.

[2] Под чужим именем, тайно.

ляю, кто и как бы мог много о нём рассказывать. Мы теперь шли очень небольшим караваном, всего из тридцати двух лошадей и верблюдов, и все они считались моими, хотя мой новый гость был владельцем одиннадцати из них. Самым естественным образом мне пришлось взять с собой больше слуг, чем прежде, и молодой князь считался моим дворецким. Что за великим человеком считался я сам, то мне не ведомо, да и не очень-то заботило, чтобы разузнавать. На сей раз нам предстояло преодолеть наихудшую и самую большую из пустынь, какие только попадались нам за время всего перехода, сказать правду, я называю её наихудшей, потому как в дороге в одних местах мы слишком глубоко увязали в грязи, а в других едва одолевали ямы да ухабы, лучшим способом выразить это был бы такой: мы полагали, что нам нечего опасаться отрядов татар или разбойников и они никогда не заберутся на эту сторону реки Оби, или, по крайней мере, разве что очень изредка. Увы, мы убедились в обратном.

У моего молодого князя был с собою преданный слуга-московит, или, скорее, сибиряк, отлично знавший эти места, и он вёл нас потайными дорогами, позволявшими нам уклоняться на великом сём пути от захода в главные городки и города, такие как Тюмень, Соли-Камской и некоторые другие, поскольку стоявшие там московитские гарнизоны были весьма проницательны и строги в своих осмотрах путешественников и в розыске, как бы кто из важных ссыльных персон не сбежал этим путём в Московию. Мы же, обходя, таким образом, города, так что весь наш поход проходил по пустыне, принуждены были разбивать лагерь и ютиться в шалашах, хотя могли бы превосходно устраиваться в городских домах. Молодой князь понимал это и не позволял нам из-за него не останавливаться в домах, когда мы проходили через несколько городов, сам же он ночевал со слугами в лесах и всегда встречал нас в условленных местах.

В Европу мы вступили, лишь переправившись через реку Кама, которая в этих краях является рубежом между Европой и Азией, и первый город на европейской стороне носил название Солой-Камаской, и это всё равно, что сказать: большой город на реке Кама. В нём, как нам показалось, уже явно были заметны перемены в людях, их быте, их привычках, их религии, их делах. Впрочем, мы допустили ошибку, ведь нам предстояло пересечь огромную пустыню, которая, по описанию, в некоторых местах тянется более чем на семьсот миль[1], зато там, где шли мы, протяжённость её не превышала двухсот миль, так вот, пока

[1] Около 1 130 километров.

не миновали мы сих ужасных мест, то замечали очень мало отличия этой земли от Могол-Татарии: народ, по большей части, языческий, немногим лучше дикарей Америки, дома и поселения их полны идолов, жизнь он ведёт всецело варварскую, за исключением тех, кто живёт в больших городах, вроде упомянутого выше, и близлежащих к ним деревень, где все люди, как они сами себя называют, христиане, последователи греческой церкви, однако, в свою религию они привносят такое множество пережитков суеверия, что в некоторых местах её едва-едва отличишь от колдовства или чёрной магии.

Пробираясь этими лесами, я, откровенно говоря, думал, что, в конце концов, нас, возомнивших себе, что все опасности, как и прежде, позади, должно быть, ограбит до нитки, а то и перебьёт до смерти какая-то шайка разбойников, из какой они были земли: то ли бродячие банды остяков, тоже татар своего рода, дикого народа с берегов Оби, забравшихся в эдакую даль, или охотники на соболей из Сибири – я никак понять не мог, зато все они были верхом на конях, вооружены луками со стрелами и поначалу числом человек в сорок пять. Приблизившись к нам на расстояние двух мушкетных выстрелов и ни о чём не спрашивая, они окружили нас своей кавалерией и пару раз убедительно дали понять о своих намерениях. Через некоторое время они выстроились прямо у нас на пути, после чего мы вытянулись небольшой шеренгой (нас всего было шестнадцать человек) перед верблюдами и, перестроившись, таким образом, остановились и направили слугу-сибиряка, ухаживавшего за молодым князем, узнать, что это за люди. Хозяин с великой охотой позволил ему идти, потому, как вполне опасался, что это может быть сибирский воинский отряд, посланный на его поимку. Слуга подошёл к тем людям с флагом замирения и обратился к ним, хотя малый и говорил на нескольких местных языках или, скорее, языковых диалектах, однако, ни слова не мог понять из сказанного в ответ. Впрочем, после нескольких поданных ему знаков не подходить ближе, дабы не подвергаться опасности, малый понял: его упреждают, что, если он двинется дальше вперед, то по нему начнут стрелять. Малый вернулся обратно, зная немногим больше прежнего, разве что заметил: судя по одежде, задержавших нас можно бы причислить к калмыцким татарам или к черкесским ордам и их, должно быть, ещё больше за великою пустыней, хотя сам он никогда не слыхивал, чтобы эти люди раньше забирались так далеко на север.

Для нас это было слабым утешением, с другой стороны, помочь себе мы ничем не могли. Слева от нас, на расстоянии в четверть мили[1], находилась небольшая рощица, или скопление деревьев, стоявших плотно друг к другу и очень близко от дороги. Я тут же решил, что нам нужно добраться до тех деревьев и укрепиться среди них как можно лучше, поскольку, прежде всего, я подумал о том, что деревья во многом послужат отличной защитой от разбойничьих стрел, а уж потом о том, что разбойники не смогут там пойти на нас всей шайкой врукопашную. Правду сказать, первым предложил это мой португалец-лоцман, и сей случай преотличнейше его характеризует в том плане, что всякий раз, когда грозила нам величайшая опасность, именно он был более всех готов и способен направлять и ободрять нас. Мы тут же со всей скоростью, на какую были способны, двинулись и заняли рощицу, татары же, или разбойники (мы так и не поняли, как их называть), стояли себе, как стояли, не пытаясь преследовать нас. Добравшись до деревьев, мы с великим облегчением обнаружили, что растут они на болотистом и упругом, как губка, клочке почвы, с одной стороны которого бьёт очень обширный родник, дававший начало небольшому ручью, который неподалеку впадал в другой, такой же большой, родник, словом, там было начало, или исток, довольно большой реки, называвшейся, как мы позже узнали, Вирчка. Деревьев, что росли вокруг родника, было не более двухсот, зато они были большими и располагались довольно плотно, так что, как только мы оказались в рощице, то поняли, что теперь можем совершенно не опасаться врагов, если только те не слезут с коней и не нападут на нас пешими.

Однако чтобы еще больше затруднить нападение, наш португалец с неутомимым прилежанием подрезал у деревьев большие ветви и оставил их, не совсем отсечённые, свисать от дерева к дереву так, будто он возвёл почти кругом нас непрерывную ограду.

Здесь мы и стояли несколько часов, выжидая, куда двинется враг, не замечая в его рядах вообще никакого движения, как часа за два до наступления ночи они бросились прямо на нас, и, если раньше мы этого не заметили, то теперь убедились, что число их возросло, очевидно, к шайке присоединились того же рода люди, ибо подступал к нам отряд лошадей из восьмидесяти, причем, как нам показалось, на некоторых восседали женщины. Разбойники двигались, пока не оказались на расстоянии половины выстрела от нашего леска, тогда-то мы произвели вы-

[1] Чуть более 400 метров.

стрел из мушкета без пули и обратились к ним по-русски, спрашивая, чего им нужно, и прося их следовать своею дорогой, они же, будто бы и не поняв ничего из нами сказанного, с удвоенной яростью бросились прямо к краю рощицы, не понимая, что мы от них так загородились, что им не пройти. Наш старый лоцман стал нашим капитаном, нашим командующим, так же, как совсем недавно сделался он нашим фортификатором, и убеждал нас не открывать огня, пока разбойники не приблизятся на пистолетный выстрел, чтобы мы могли наверняка стрельбой своей наносить урон, убеждал он ещё и, как дойдёт дело до пальбы, то целиться хорошенько, мы же упрашивали его дать команду «огонь!», которую он откладывал столь долго, что, когда мы дали залп, разбойники были от нас на расстоянии двух пик.

Прицелились мы столь точно (или Провидение столь уверенно направляло наши пули), что убили четырнадцать нападавших и еще нескольких ранили, к тому же попали и в нескольких лошадей, поскольку все мы зарядили своё оружие самое малое двумя, а то и тремя пулями.

Разбойники были ужасно напуганы нашим огнём и тут же откатились от нас на сотню перчей[1]. За это время мы успели вновь зарядить ружья и, видя, что разбойники так и остались на том расстоянии, сделали вылазку и отловили четыре-пять лошадей, наездников которых посчитали убитыми. Подойдя к мертвым, мы легко убедились, что это татары, только не смогли понять, из какой они земли и как забрались промышлять разбоем в такую даль.

Спустя примерно час разбойники предприняли попытку снова напасть на нас и поскакали в объезд нашего леска посмотреть, нельзя ли в другом месте прорваться, однако, убедившись, что мы готовы дать им отпор повсюду, снова отошли, а мы решили в ту ночь не трогаться с места.

Можете быть уверены, что спали мы мало, зато большую часть ночи укрепляли наши позиции, загораживали проходы в рощицу и строго по очереди несли вахту, охраняя себя. Мы дожидались светлого дня, а когда тот наступил, то позволил сделать нам безрадостное открытие: враги наши, которые, как мы полагали, были обескуражены оказанным нами приёмом, теперь возросли числом до не менее трех сотен человек и поставили одиннадцать-двенадцать шалашей или навесов, словно собрались взять нас осадой, их небольшой лагерь, устроенный на открытой равнине, находился примерно в трёх четвертях

[1] Перч (иначе называют род или шест) – мера длины, применявшаяся, как правило, при обмере земли и равнявшаяся 5,03 метра.

мили[1] от нас. От этого открытия мы, скажу честно, оторопели, и, признаюсь теперь, я про себя решил, что потеряю и себя, и всё, что имел. Потеря имущества не так угнетала меня (пусть даже оно было и весьма значительным), как мысль попасть в руки таких варваров в самом конце своего путешествия после стольких перенесённых мною трудностей и невзгод, причём, прямо в двух шагах от порта, где ждали нас безопасность и спасение. Что до моего партнёра, то он просто из себя выходил от ярости, заявлял, что потеря товара для него означает его конец и что лучше ему умереть, чем мёрзнуть да голодать, – и он готов был сражаться до последней капли крови.

Молодой князь, столь отважный, каким только мог быть человек из плоти и крови, тоже стоял за битву до последнего, да и мой старый лоцман был того мнения, что мы можем оказать сопротивление всем этим разбойникам на той позиции, какую занимали. Таким образом, весь день у нас ушёл на споры о том, что нам делать, но к вечеру мы выяснили, что число наших врагов ещё больше возросло, возможно, расположились они вокруг несколькими отрядами для поимки дичи, а первые были посланы как лазутчики, чтобы призвать на помощь и выведать всё про добычу. И как было нам узнать, не станет ли к утру их ещё больше? Вот и принялся я выяснять у тех людей, которых взяли с собой из Тоболски, нет ли каких других, более укромных путей, следуя которым мы могли бы уйти от разбойников ночью и, если получится, укрыться в каком-нибудь городке или получить помощь для охраны нас во время прохода через пустыню.

Сибиряк, бывший слугою молодого князя, сказал, что, коль скоро мы намерены улизнуть от разбойников и не сражаться, он мог бы взяться за то, чтобы вывести нас ночью к дороге, которая идёт на север до Петроу, и у него не было никаких сомнений, что по ней мы бы ушли не замеченные татарами, да вот, заметил он, господин его заявил, что не отступит и предпочтёт сражаться. Я пояснил сибиряку, что он не так понял своего господина, ибо тот человек слишком умный, чтобы любить сражения ради них самих, что я уже успел на деле узнать, как храбр его господин, однако, молодой князь отлично понимает, что семнадцати-восемнадцати лучше не вступать в сражение с пятью сотнями, если только не принудит к тому неизбежная необходимость, так что, если считает он, что сумеем мы улизнуть ночью, то нам ничего другого не остаётся, как попытаться сделать это. Слуга ответил, что если его господин даст такое повеление, то он жизнь свою положит, чтобы всё исполнить. Мы быстро уговорили молодого

[1] Чуть более 1 200 метров.

князя, пусть и приватным порядком, дать такое повеление, и тут же приготовились осуществить его на деле.

Первым делом, только стало темнеть, мы у себя в лагере разожгли костёр, в котором поддерживали огонь, и так устроили, чтоб горел он всю ночь, из чего татары могли бы понять, что мы все ещё тут, однако, как только стало темно (иными словами, настолько, что видны стали звёзды, поскольку раньше наш Проводник и шагу не желал делать), мы, заранее водрузив свою поклажу на лошадей и верблюдов, последовали за своим новым Проводником, который, как я вскоре убедился, сверялся с Полярной, или Северной, звездой на всём долгом пути по этой равнинной местности.

Когда мы без отдыха прошагали очень нелегкие два часа, стало светлеть, даром что кромешной тьмы так всю ночь и не было, а тут стала всходить Луна, так что, короче, стало светлее, чем нам того хотелось бы, впрочем, к шести часам утра мы проделали почти сорок миль[1]•, да только истина была в том, что мы едва не загнали лошадей. Тут мы набрели на русскую деревню под названием Кермажинской, где остановились отдохнуть, и в тот день о калмыцких татарах и слыхом не слыхивали. Часа за два до наступления ночи снова тронулись в путь и шли до восьми часов утра, хотя и не так быстро, как прежде, а около семи часов миновали речушку, называвшуюся Кирча, и подошли к вполне большому городку, весьма населенному, где жили русские, называвшие его Озомойс. Тут мы услышали, что несколько отрядов или орд калмыков рыскали по пустыне, но нас уверили, что мы теперь от них в полной безопасности, что, можете не сомневаться, доставило нам огромное удовольствие. Тут же пришлось нам доставать свежих лошадей, а поскольку все нуждались в хорошем отдыхе, простояли мы в городке пять дней. Мы с моим партнёром решили пожаловать нашему честному сибиряку, выведшему нас сюда, за его службу проводника десять испанских золотых пистолей.

Через пять дней мы дошли до Вюслимы на реке Вычегда, которая впадала в Двину, и были очень рады, приблизившись к окончанию нашего путешествия по суше, поскольку река эта была судоходна и по ней можно было за семь дней доплыть до Архангела. Вскоре, 3 июля, мы добрались до городка Лавренской, где обзавелись двумя грузовыми лодками и баркой для собственного размещения и откуда отплыли 7 июля, благополучно прибыв в Архангел 18-го, всего затратив на переход год

[1] Около 64,3 километра.

пять месяцев и три дня, считая восемь месяцев и несколько дней нашего зимовья в Тоболски.

В Архангеле нам пришлось шесть недель дожидаться прибытия судов, а должны были бы и дольше засидеться, если бы на месяц раньше любого из английских судов не прибыл корабль-гамбуржец. Тогда, поразмыслив о том, что город Гамбург, возможно, окажется таким же выгодным рынком для наших товаров, как и Лондон, мы все зафрахтовали этот корабль; когда мой груз оказался на борту, то, естественно, я отправил туда же и своего дворецкого следить за сохранностью товаров, это означало, что у моего молодого князя появилась достаточная возможность укрыться, никогда не сходя на берег, на всё время, пока мы оставались в городе, как он и поступил, чтобы не быть замеченным кем-либо из московских купцов, которые наверняка, увидев, опознали бы его.

Мы вышли из Архангела 20 августа того же года и после не особенно плохого плавания 13 сентября вошли в Эльбу. Здесь мы с моим партнёром очень выгодно распродали наши товары как из Китая, так и соболей и проч. из Сибири, так что моя доля заработанного при разделе составила 3 475 фунтов 17 шиллингов и 3 пенса, невзирая на множество понесённых нами потерь и выплату разных податей, стоит только иметь в виду, что я присовокупил сюда и купленные в Бенгале бриллианты на сумму около шестисот фунтов.

Здесь молодой князь оставил нас и последовал дальше вверх по Эльбе, направляясь ко двору в Вене, где он решил искать защиты и откуда он мог бы вести переписку с теми из друзей своего отца, которые оставались в живых. Прежде чем расстаться, он выказал мне все свидетельства своей признательности за оказанную мною услугу и за то доброе, что я сделал для князя, его отца.

В заключение скажу, что, проведя около четырех месяцев в Гамбурге, я оттуда по суше добрался до Гааги, где взошёл на борт почтового пакетбота и прибыл в Лондон 10 января 1705 года, после того, как отсутствовал в Англии десять лет и девять месяцев.

И здесь, твердо решив более не изводить себя волнениями, я в настоящее время готовлюсь к более длительному, нежели все прежние, путешествию, проведя 72 года жизни в бесконечном разнообразии и набравшись вполне достаточно знаний, чтобы уразуметь достоинство уединённой жизни и блаженства мирного скончания наших дней.

ХРИСТИАНСКИЕ МОТИВЫ В РОМАНЕ «ТИХИЙ ДОН»

Роман «Тихий Дон» содержит целый массив тем, образов, мотивов, связанных с православными идеями и ценностями, с текстом Священного Писания. Многочисленные библейские цитаты и образы, которые отражены и в речи автора, и в речи персонажей, становятся структурообразующими компонентами эпического повествования и образуют развернутый «контекст понимания» (М. М. Бахтин), определяемый православной доминантой русской культуры. На этот контекст указывают отдельные слова, формулы («И будет мор на людях, глад, и восстанет брат на брата и сын на отца...»; «Поднявший меч бранный от меча да погибнет»), образы-символы (чёрного солнца, ветра и бури, карающего меча), события Священной истории (ситуация Страшного суда, Вавилонского плена и т. д.).

Христианская тема входит в роман через реалистическое изображение православного уклада жизни донского казачества, художественное осмысление исторического пути России, освоение новых эпических форм воплощения по-настоящему духовного содержания.

Рисуя православный мир тихого Дона, М. А.Шолохов акцентирует внимание на том, что казачий быт православно оформлен, иконы являются непременным атрибутом каждого казачьего куреня: «В углу под расшитыми полотенцами тусклый глянец серебряных икон...» (I, 33)[1]; «...вверху – образа в бумажных ярко-убогих ореолах» (I, 69); «Петро сунул Григорию в руку конец платка, вспрыгнул на лавку, повёл его по-за столом к невесте, сидевшей под образами» (I, 112). Речь казаков изобилует выражениями, связанными с православной верой: «Царица Небесная, прости меня, грешницу...» (I, 40); «...Царство Небесное старику...» (I, 49); «Пустите, ради Христа, заночевать» (I, 74); «Погодку дает Бог. – Слава Богу, держится» (I, 99) и т. д. Глубокая привязанность героев к традиции выражается и в привычных жестах, действиях персонажей, которые никогда не забывают перекреститься – входят ли они в курень, садятся или встают из-за стола, ложатся спать и т. п. Любое дело (рыбалка, покос, сватовство) начинается с призывания имени Божия и характерного жеста, передающих христианский строй мыслей и мироощущения казаков, с молоком мате-

ри впитавших в себя многовековые традиции православного тихого Дона: «– Заброди, с Богом...» (I, 42); «На крыльце Петро прощался с родными... – Ну, с Богом. Час добрый, – проговорил старик, крестясь» (I, 38); «Пантелей Прокофьевич перекрестился на беленький стручок далёкой колокольни, взял косу» (I, 60).

Изображая православный уклад тихого Дона, ту систему ценностей, которая веками складывалась на Дону, М. А.Шолохов делает особый акцент на непрерывности духовной традиции, передающейся из поколения в поколение и обеспечивающей слаженность и устойчивость жизни большой семьи тихого Дона. «Такая наша казацкая повадка. В старину было, а нам к старине лепиться...» (I, 170) – говорит один из представителей старшего поколения, подчеркивая определяющую роль традиции, предания для казаков, соединяющих людей в соборном единстве жизни – смерти, радости и скорби. В художественном мире классика, традиция предстаёт как нечто связующее, организующее народную жизнь, является силою внутреннею, проникающей во всю жизнь народа, в совесть и мысль всех её членов. Бережное, уважительное отношение к традиционным ценностям, на которых в течение многих веков держался народный быт и миропорядок, утверждение незыблемого хода вещей, освящённого прошлым, связано с идеалом соборности, вырастающим из самой русской истории, из бытия и быта русского народа, из жизни «миром», крестьянской общиной. Патриархальный семейный уклад, картины совместного труда, лагерных сборов, хуторских и станичных сходов и тому подобное – всё это суть проявления соборного, «хорового» начала казачьей жизни.

Обращаясь к изображению воцерковлённого семейного и хозяйственного быта, М. А. Шолохов подчеркивает одухотворённость мельчайших бытовых деталей, показывает, что православный уклад жизни поддерживался казаками из года в год, из поколения в поколение. «Живые» традиции усваивались в процессе детского воспитания. «...Ты – казак, вот и поедем со мной на поля, – обращается Григорий Мелехов к Мишатке, – будем ячмень косить, копнить, на косилке будешь с дедом сидеть, коней будешь погонять... А Полюшка останется с бабкой домоседовать... Её, девичье, дело – полы подметать, воду бабке носить из Дону в маленькой ведрушонке, да и мало ли у них всяких бабьих делов?» (IV, 158).

Нравственный опыт и идеалы казачества входили в жизнь ребёнка с молитвой: «Ну, ступай, умойся, причешись, помолись Богу, а потом придёшь, посидишь со мной» (IV, 147), – говорит умирающая Наталья Полюшке.

Хранительницей веры в романе выступает казачья семья, особенно в лице старших её представителей. В семье Мелеховых веру

пытались хранить до конца. Даже в годы Гражданской войны, когда многие семейные основы рухнули, Мелеховы не отказываются от православной традиции: «Помолясь, всей семьей сели за стол» (IV, 60). На важность семейной молитвы как религиозного акта освящения единства семьи в шолоховском эпосе обратила внимание И. Цыценко: «... в ней любовь не только к Богу, но и друг к другу. Поэтому так естественно молятся все: не только искренне верующие Ильинична, Пантелей Прокофьевич, Дуняшка, Наталья, но и окончательно впавшая в грех после смерти Петра Дарья, и давно утративший незыблемость веры Григорий» (16, 60)[2]. Семья Мелеховых предстаёт в романе как средоточие всей полноты живой и плодотворной соборной традиции, хранилище нравственного опыта казачества.

Единство мелеховской семьи, освящённое верой и молитвой, раскрывается в описании праздничного застолья, за которым сходятся разные поколения и возрасты: «Пришёл из церкви Пантелей Прокофьевич. Просфорку с вынутой частицей разломил на девять частей – по числу членов семьи, роздал за столом. Сели завтракать. Петро, тоже принарядившийся... сидел рядом с Григорием. Против них на краешке табуретки мостилась Дарья... Наталья кормила детей печёной тыквой... Дуняшка сидела рядом с отцом. Ильинична расположилась на краю, поближе к печке.

Ели, как и всегда по праздникам, сытно и много» (II, 250–251).

Описания семейных обедов в литературе имеют сакральный смысл. По мнению протопресвитера Александра Шмемана, «образ праздничного пира, пронизывающий всю Библию,... есть центральный образ жизни. Образ жизни при её сотворении, а также образ жизни в её конце и исполнении: "... да ядите и пиете за трапезою Моею в Царствии Моём..." (Лк. 22:30)» (17, 67). Пища не есть только нечто материальное, ограниченное «физическими» потребностями человека. Она напоминает о главной цели человеческого существования – приобщении, причастии Божественной жизни. Поэтому «принятие пищи по-прежнему сохраняет черты обряда – последнего "естественного таинства", совершаемого в кругу семьи или друзей, таинства жизни, которое есть нечто большее, нежели просто "еда" и "питьё", чем простое удовлетворение телесных нужд. И вот, даже не отдавая себе отчёта – в чём это "нечто большее", люди всё равно стремятся к нему. Сами того не зная, они алчут и жаждут жизни как таинства» (17, 12).

Неторопливое, размеренное течение времени, незыблемость привычного казачьего порядка, ощущение эпического единства, устойчивости и повторяемости жизни создаётся благодаря особой организации художественного времени романа. Это циклическое время церковного года, соединяющее прошлое, настоящее и будущее

в каждом моменте бытия, выводящее человека за пределы земной жизни социума к вечности, освящающее каждое мгновение циклического земного года. На эту особенность православного ощущения времени указывал Д. С.Лихачев: «Христианские праздники – это не только память о событиях Священной истории, о святых и пр. События вновь и вновь совершаются ежегодно в одно и то же время. Они не исчезли, они существуют в вечном мире и продолжают существовать во временном, повторяясь в христианском календаре... В событиях Священной истории – Ветхого и Нового Заветов – обнаруживаются непреходящие явления, как бы живущие вечно, повторяющиеся в ежегодном круговороте не только праздников, но и всех дней недели, связанных с той или иной памятью о священных событиях» (6, 66–67).

Праздники и святые дни являются теми моментами, к которым стягиваются все нити шолоховского сюжета. Казаки живут и творят в извечном годовом цикле Священной истории, измеряя время от Рождества до Крещения, от Святок до Масленицы, от Великого Поста до Пасхи, от Пасхи до Троицы и т. д. Покров и Михайлов день, Вербное воскресенье и августовские Спасы, Чистый четверг и Успение – многозначительные временные вехи шолоховского повествования, в которых сквозит сакральный православный смысл казачьей жизни, встаёт символический поэтический образ тихого Дона. При этом в центре первых глав романа-эпопеи оказывается праздник Святой Троицы, от которого начинается повествование не один раз: «За два дня до Троицы хуторские делили луг» (I, 53); «От Троицы только и осталось по хуторским дворам: сухой чабрец, рассыпанный на полах, пыль мятых листьев да морщиненная, отжившая зелень срубленных дубовых и ясеневых веток, приткнутых возле ворот и крылец» (I, 58); «С Троицы начался луговой покос» (I, 58). Любовь, согласие, единение, которые царствуют в предвечном совете Живоначальной Троицы, отражаются в земной жизни, одухотворяют народный быт. Картина лугового покоса у Шолохова пронизана радостным, праздничным началом, ощущением живой связи времен и поколений, уважением к традиции: «С самого утра зацвело займище праздничными бабьими юбками, ярким шитвом завесок, красками платков. Выходили на покос всем хутором сразу. Косцы и гребельщицы одевались будто на годовой праздник. Так повелось исстари» (I, 58). Именно в эту пору расцветает поздняя бабья любовь Аксиньи и выздоравливает после соборования Наталья.

Закономерность начинать очередной узел повествования с Троицы, видимо, не случайна. Троица Единосущная и Нераздельная в православной традиции является символом соборности, единения и смирения в любви: «да будут едино, яко же и мы» (Ин. 17,21). Эта идея была глубоко выражена преподобным Сергием Радонежским.

По выражению его жизнеописателя, преподобный Сергий, основав свою монашескую общину, «поставил храм Троицы, как зерцало для собранных им в единожитие, дабы взиранием на Святую Троицу побеждался страх перед ненавистною раздельностью мира». Святой Сергий здесь вдохновлялся молитвой Христа и Его учеников: «да будут едино, яко же и мы». Именно этот «Троичный идеал» (о. П. Флоренский) единства, взаимной любви и согласия, со времён преподобного Сергия Радонежского определявший все стороны русской жизни, противопоставил М. А. Шолохов всеобщему разделению и расколу, грозивших гибелью России.

Изображая разлагающийся и распадающийся быт, М.А.Шолохов показывает, как человеческая жизнь начинает трагически расходиться с евангельским идеалом любви, смирения, всепрощения, служения ближнему. Православный календарь помогает писателю выявить противоречие между христианскими ценностями и духовным состоянием человека, поражённого грехами своеволия, прелюбодеяния, преступившего заповеди, которыми веками созидался и креп тихий Дон. Примечательно, что сближение Григория и Аксиньи происходит на праздник Святой Троицы, когда на землю сходит благодать Святого Духа, перерождающая человека, очищающая его от всего тёмного, греховного. Всепоглощающая страсть разрушает гармонию окружающей жизни, вносит разлад в картину благополучного, устоявшегося быта казаков.

Тема греха, смерти доминирует в описании ночного свидания героев: «Рывком кинул её Григорий на руки - так кидает волк к себе на хребтину зарезанную овцу, путаясь в полах распахнутого зипуна, задыхаясь, пошёл» (I, 62). Образ зарезанной овцы, восходящий к библейскому образу жертвенного агнца, становится символом трагичности бытия. Продолжая традиции русской классической литературы, Шолохов показывает, что блуд часто соседствует со смертью. Нарушая установленный Богом закон, герои совершают духовное преступление, приносят в жертву то светлое, христианское начало, которое есть в каждом из них, ибо «душа человеческая — по природе христианка» (Тертуллиан). С этого момента начинается необратимая ломка устоев бытия тихого Дона, которая затем выльется в трагедию революции и Гражданской войны.

Противоречие между высшей гармонией, сверхмирным единством бытия и внутренней враждой и раздробленностью мира проявляется и в описании Пасхи, которая организует художественное время романа в соответствии с православным календарём, высвечивая скрытое, но вполне реальное содержание происходящего, оценивая события с позиций единой и единственной Истины: «Из церкви

через распахнутые двери на паперть, с паперти в ограду сползали гулкие звуки чтения, в решётчатых окнах праздничный и отрадный переливался свет, а в ограде парни щупали повизгивавших девок, целовались, вполголоса рассказывали похабные истории» (I, 206).

Пасха, понимаемая как символ воскресения и любви, вечного обновления и возрождения жизни, торжества над хаосом и смертью, делает очевидным несоответствие между высшими идеалами и духовным состоянием человека, не замечающего «праздничного и отрадного» света, распинающего своего ближнего (во время Светлого богослужения казаки, оскорбляя, унижая Наталью, пуская ей вслед «грязное, позорное слово», доводят её до отчаяния, толкают на самоубийство).

Наиболее явно это несоответствие раскрывается во время Гражданской войны, в частности в сцене массовой казни подтёлковского отряда, совершаемой на Пасху. Трагический разлад ощущают и сами участники происходящего, что выражается в следующем полилоге:

«– Какой позор, Подтёлков! Со своими же братьями и мы будем проливать кровь? Оставь! Столкуемся и так!..

– Иди воюй, Аника, а мы с родными братьями сражаться не будем!

– Мы им и без оружия доверимся.

– Святая Пасха – а мы будем кровь лить?» (II, 329–330).

Сцену, выдержанную в едином «пасхальном» ключе, пронизывает чувство духовного единения. Форма хора, к которой прибегает писатель, позволяет ему отчётливо и выпукло отразить соборность внутреннего состояния казаков. Автор отмечает духовную близость между пленными и захватившими их в плен сразу после сдачи отряда – по русскому пасхальному обычаю они стали христосоваться. Но классовая ненависть оказывается сильнее христианской любви. На Пасху (символ смерти и воскресения, время спасительных страстей Христовых) казаки распинают своих ближних, обагряют землю братской кровью. Именно в этом видится М. А. Шолохову главная причина трагедии России, отступившей от веры, утратившей страх Божий, возлюбившей эгоизм и своеволие.

Пасхальный архетип вновь актуализируется в финале романа. Григорий Мелехов возвращается домой накануне главного христианского праздника, не дожидаясь амнистии, обещанной советской властью. Духовный путь героя проецируется на судьбу всего казачества, осознавшего, что только смирение, предполагающее покаяние и взаимопрощение, способно было остановить очередную русскую смуту.

Этот соборный идеал любви и прощения выражает казачка-мать, проводившая на восстание трёх сыновей: «...скоро замерень вый-

дет?.. К Пасхе-то замиритесь? И на чуму они вам сдались? И чего вы с ними стражаетесь? Чисто побесились люди... Вам, окаянным, сладость из ружьев палить да на кониках красоваться, а матерям-то как? Ихних ить сынов-то убивают, ай нет? Войны какие-то попридумали...» (III, 212). Страдания матери соотносятся с великой жертвой Богородицы, отдавшей Сына на распятие, во имя спасения погрязшего в грехах человечества. Напоминая казакам о пасхальном идеале любви, старуха указывает им путь к спасению, к прекращению братоубийственной розни. Пасха, предваряемая страданиями и смертью Христа, стоянием Божьей Матери у Голгофского Креста, – это призыв к ответной любви человека к Богу, к возвращению падшего человека в лоно Небесного Отечества. Трагическое разделение казачества, начавшееся в романе на Троицу, должно быть преодолено в Светлое Христово Воскресение, которое становится символом возрождения соборной общности, объединения всего народа.

Православная идея соборности организует и пространство романа. Христианские святыни оказываются не просто деталями пейзажа, они вырастают до символов огромной художественной силы. Ценностным центром шолоховской картины мира становится образ часовенки на развилке дорог, который появляется уже в первом абзаце романа-эпопеи, возвращая нас к духовным просторам допетровской святой Руси. Вторая книга романа завершается образом новой часовни, которую устанавливает над могилой Валета безымянный старик, утверждая верность казачества старым традициям, вере предков. Образ часовни на развилке дорог становится точкой отсчёта в духовно значимом пространстве повествования, задавая нравственный вектор оценки происходящего на смутном перекрёстке человеческой истории. Это стремление к христианской святыне как к центру национальной картины мира коренится в русской соборности, собранности вокруг Церкви, которая должна победить хаотическое разделение и вражду мира и человечества.

Образ часовни в романе вписан в природный контекст, являясь неотъемлемой частью шолоховского пейзажа, утверждая мысль о единстве всей твари, собранной вокруг храма. Особенно ярко эта мысль проступает в описании могилы Валета: «Через полмесяца зарос махонький холмик подорожником и молодой полынью, заколосился на нём овсюг, пышным цветом выжелтилась сбоку сурепка, махорчатыми кистками повис любушка-донник, запахло чабрецом, молочаем и медвянкой. Вскоре приехал с ближнего хутора какой-то старик, вырыл в головах могилы ямку, поставил на свежеоструганном дубовом устое часовню. Под треугольным навесом её в темноте теплился скорбный лик Божьей Матери... в мае бились возле часовни

стрепета, выбили в голубом полынке точок, примяли возле зелёный разлив зреющего пырея: бились за самку, за право на жизнь, на любовь, на размножение. А спустя немного тут же возле часовни, под кочкой, под лохматым покровом старюки-полыни, положила самка девять дымчато-синих краплёных яиц и села на них, грея их теплом своего тела, защищая глянцево оперённым крылом» (II, 351).

Пышное цветение степной природы, битва стрепетов и зарождение новой жизни символизируют победу любви над смертью. Мотивы загробной жизни, ангелов, Страшного суда, христианский обряд захоронения, часовня со скорбным ликом Божьей Матери напоминают о сопричастности человека инобытию, переводят повествование в план трансцендентных истин, объединяя противоречивую, разорванную реальность через связи, существующие в православном сознании. «Остроугольная верхушка часовни» становится символом вознесения, воскрешения, восстановления целостности распавшегося на части мира. Благодаря введению этого образа-топоса происходит сакрализация пространства. Образ тихого Дона, родной земли, заявленный в названии и в эпиграфах романа, одухотворяется, включается в географию Святой Руси, национальное начало сливается с православным.

Исследуя духовные истоки и причины русской трагедии XX века, М. А. Шолохов обращается к вечным темам Священного Писания, размыкая эмпирические рамки повествования, наполняя его метафизическими, универсальными смыслами. При этом ведущим в осмыслении и оценке жизни отдельного человека и целого народа становится мотив Голгофы, Распятия, Креста.

Этот образ возникает с первых страниц повествования, являясь важной приметой народного быта. Все встречающиеся в тексте многочисленные элементы, отсылающие к кресту (кресты-тельники, крест, венчающий церковный купол, намогильные кресты, характерные жесты персонажей и т. д.), образуют один общий ассоциативный комплекс.

Мотив креста имплицитно присутствует уже в структуре заглавного эпиграфа романа, удерживая в своей организации духовную целостность художественного мира, его пространственно-исторический образ: жизнь-крест. Эпическое повествование открывает пространственная картина мироустройства, структура которой также очерчена крестообразно, распахнута на все стороны света – восток, запад, юг и север. «Мелеховский двор – на самом краю хутора. Воротца со скотиньего база ведут на север к Дону... На восток... – Гетманский шлях... часовенка на развилке; за ней – задёрнутая текучим маревом степь. С юга – меловая хребтина горы. На запад – улица, пронизывающая площадь, бегущая к займищу» (I, 19). Географические характеристики наполняются у М. А. Шолохова христи-

анским содержанием, которое в полной мере раскрывается в сцене похорон Валета: «Положили в могилу по-христиански: головой на запад...» (II, 351). В связи с географическими представлениями находятся и представления исторические: впереди, на востоке, – начало мира и рай, сзади, на западе, – конец мира, его будущее и Страшный суд. И, может быть, не случайно мелеховский курень располагается на восточном краю хутора; отсюда уходит и сюда же неизменно возвращается блудный сын тихого Дона, пытаясь обрести утраченный рай и гармонию, восстановить разрушенную целостность жизни.

Христианский образ распятия вновь появляется в главе, описывающей первый бой Григория, подчеркивая неестественность, безнравственность войны, её духовно-разрушительное действие: «Глухо охнула земля, распятая под множеством копыт» (I, 284). С этого момента образ распятой земли будет неоднократно появляться в романе-эпопее, разрастаясь до символа всеобщей трагедии и выполняя важную сюжетно-композиционную функцию.

Мотив крестной жертвы, голгофских страданий достигает кульминации в эпизоде отъезда последнего русского императора из Ставки в Могилёве: «...с глубочайшей волнующей яркостью воскресил он (Листницкий) в памяти февральский богатый красками исход дня, губернаторский дом в Могилёве, чугунную запотевшую от мороза ограду и снег по ту сторону её, испещрённый червонными бликами низкого, покрытого морозно-дымчатым флёром солнца. За покатым свалом Днепра небо крашено лазурью, киноварью, ржавой позолотой, каждый штрих на горизонте так неосязаемо воздушен, что больно касаться взглядом» (II, 93).

Нельзя не заметить, что в основе такого цветового ряда лежит не непосредственное восприятие, а иконопись. Описание февральского дня, в котором доминируют три цвета: красный – символ неизрёченной, пламенной любви Божией к роду человеческому, а также крови, золотой – цвет славы, величия и достоинства и голубой – цвет неба, подчинено иконописному изображению царя-страстотерпца. С учетом этого получает новый смысл и портрет императора: «По бледному лбу косой черный (цвет плача и покаяния. — *Н. С.*) полукруг папахи», – перед нами лик Спасителя со смертным венчиком вокруг чела, намёк на мученическую кончину государя. Это впечатление усиливается символикой фиолетового цвета, принятого в дни памяти Креста Господня и соединяющего в себе красный – цвет крови Христовой и Воскресения, и синий указующий, что Крест открыл нам дорогу в небо.

Обращает на себя внимание повторяющаяся деталь – падающая рука императора, «потрясающее, непередаваемое положение руки,

беспомощно лежавшей на колене», при виде которой Листницкий (его глазами мы видим сцену в Могилёве) «упал на снег и рыдал, как мальчишка», словно оплакивая в этот момент всю Россию, оставшуюся без «удерживающей» руки.

Отречение и убийство Николая II были осмыслены писателем в духе библейской символики. Величественные, скорбные тона, в которых выдержано описание свергнутого императора, портретные детали, цветовая гамма, подчиненная иконописному канону, характерные жесты предвещают мученическую кончину государя. Отъезд Николая II из Ставки стал началом крестного пути царя-искупителя. Трагедия династии Романовых претворилась в мистерию русского народа, который вместе со своим царём взошёл на Голгофу, чтобы через крестные страдания и муки искупить грехи России.

С падением самодержавия, которое обеспечивало целостность и прочность соборного организма России и сдерживало распространение зла в мире, «тайна беззакония» (2 Фес. 2:7) получила свободу. Распад, который был порождён моралью войны, охватывает все социальные и духовные связи, приводит к разрушению нравственных устоев и традиционной культуры, к утрате людьми Отечества и веры. Разрыв связи человека с Богом становится одной из ведущих характеристик народной жизни в «Тихом Доне». Тема сиротства, заявленная уже в первом эпиграфе («Цветен наш батюшка тихий Дон сиротами»), лейтмотивом проходит через весь роман, обнажая ситуацию Богооставленности человека и мира.

В конце четвертой книги романа М. А. Шолохов рисует картину, выразительно свидетельствующую о духовной драме богозабвения. В опустевшем хуторе стоит заброшенная церковь: «...полуразрушенная церковная ограда зияла проломами. "Кирпич на печки понадобился", – равнодушно подумал Григорий. Церковь стояла по-прежнему маленькая, вросшая в землю. Давно не крашеная крыша ее золотилась ржавчиной, стены пестрели бурыми подтёками, а там, где отвалилась штукатурка, – ярко и свежо краснел обнажённый кирпич» (IV, 235). Всеобщая «мерзость запустения», воцарившаяся на тихом Дону в годы второй русской Смуты, сожжённые и разорённые курени, дворы, заросшие лебедой и черным бурьяном, полуразрушенная церковная ограда, намогильные кресты, снизу доверху оплетённые синими вьюнками, – следствие одичания народной души, «заросшей» травой забвения (в повести А. Платонова «Сокровенный человек», рассказывающей о том же историческом времени, именно так — «заросшая душа» — характеризуется главный герой Фома Пухов).

Центральный образ картины — образ разрушенной церкви. Это «маленькая» церковь, утратившая связь с небом, «вросшая в зем-

лю». М.А.Шолохов показывает, что Животворящий Крест, венчающий церковный купол, в народном сознании более не обладает силой Божественного спасения. Вид поруганной христианской святыни лишь усиливает впечатление заброшенности и запустения, бренности и тщеты человеческой жизни. В обстоятельствах разрухи и равнодушия к гибнущим святыням уничтожаются даже «стариковские священные книги». «Новый Завет был, такая святая книжка, – тоже искурил. Старый Завет искурил. Мало этих заветов святые угодники написали» (IV, 301), – с долей горькой иронии сетует Прохор Зыков.

Утрата духовных ценностей, забвение христианской традиции проявляется в изменении отношения к смерти: если до исторических потрясений каждое скорбное место освящалось крестом или одинокой часовней в степи, при дороге, то в смутное время дед Сашка, Аксинья, Пантелей Прокофьевич, сотни безымянных казаков, сгинувших в огне Гражданской войны, остаются лежать вне церковной ограды, без креста – символа христианской веры в спасение и бессмертие души, надежды на спасение и милосердие.

Образ креста лейтмотивом проходит через всё шолоховское повествование, обрастая новыми ассоциациями, смыслами, контекстами, формируя один из основных идейно-смысловых пластов художественной концепции «Тихого Дона». Символическое наполнение исходного образа и мотива, важного для понимания истории и судьбы народа, раскрывается по мере эпического постижения хода жизни, его трагического смысла.

Центральным событием в романе М. А. Шолохова является Верхнедонское восстание, история кровопролитной, братоубийственной войны на Дону. Безукоризненная и достоверная правда о Вёшенском восстании соединяется с религиозно-философским осмыслением того духовно-материального крушения, которое выпало в XX веке на долю России, отступившей от Бога, нарушившей Его святые заповеди, вступившей на греховный путь беспощадной ненависти, кровавого насилия и взаимного истребления. Герои М.А.Шолохова отказываются верить в незыблемые христианские ценности, которые в течение нескольких веков определяли все стороны жизни казачества: «...Бога-то нету? Я в эти глупости верить давно перестал. С 15-го года как нагляделся на войну, так и надумал, что Бога нету. Никакого! Ежели бы был – не имел бы права допущать людей до такого беспорядка. Мы, фронтовики, отменили Бога, оставили Его одним старикам да бабам. Пущай они потешаются» (IV, 391). Эти слова Григория Мелехова перекликаются с Псалмом 13: «Сказал безумец в сердце своем: "нет Бога". Они развратились, совершили гнусные дела; нет делающего добро» (Пс. 13:1). Жизнь «без креста», противление людей Абсолютному Зако-

ну бытия, отказ следовать нормам христианской морали превратил человеческое существование в кровавую смуту.

Кульминационным моментом в изображении Верхнедонского восстания является описание расправы казаков с красными солдатами Котлярова. Если в начале Вёшенского мятежа старому казаку удалось спасти Михаила Кошевого от зверской расправы восставших хуторян, напомнив им о Евангельской заповеди «Не убий» («Что вы, креста не имеете, что ли?.. В отца жизню не вдунешь, а человека загубишь!» — III, 163), то в разгар братоубийственной розни призыв к имени Бога в мольбах о защите и милосердии не может остановить жестокое и бессмысленное кровопролитие: «Один из еланцев не выдержал – когда на хуторе Бобровском его начали умело и жестоко бить старики, он закричал дурным, мальчишеским криком, разорвал ворот гимнастерки, стал показывать казакам, бабам висевший у него на шее, на черном от грязи и пота гайтане маленький нательный крест:

– Товарищи! Я недавно вступил в партию!.. Пожалейте! Я в Бога верую! У меня двое детишек!.. Смилуйтесь! У вас тоже дети есть!» (III, 300).

Но ослеплённые ненавистью и жаждой мщения казаки остаются равнодушными к страданиям и мольбам пленных красноармейцев, продолжая распинать своих ближних, искажать образ Божий в человеке, обагрять землю братской кровью.

В хаосе смуты и безвременья оказались подорваны исконные начала русской души с её отзывчивостью, жалостью, состраданием ближнему в его бедах и горестях, милостью к побеждённому, безоружному врагу. Освободившись от сдерживающих начал христианской нравственности, человек превратился в средоточие разрушительных и гибельных страстей.

Этот глубинный смысл трагического конфликта эпохи выходит на первый план в сцене казни Петра Мелехова, в портрете которого вновь появляются ассоциации с крестными муками Спасителя: «Петро вытер мокрый лоб, на ладони остались полосы розового кровяного пота» (III, 185). Шолохов подчеркивает, что убийство Петра совершается не просто его однохуторянами, в нём участвует кум Мелехова Иван Алексеевич Котляров. К нему, а не к Мишке Кошевому обращается Петро с мольбой о пощаде, трижды напоминая ему о том, что они соединены узами высшего, духовного родства в Таинстве Крещения: «Кум... Кум Иван, ты моего дитя крестил... Кум, не казните меня!» (III, 185). (Этот мотив будет развит в романе «Поднятая целина» в эпизоде убийства Хопровых Яковом Лукичем и Половцевым).

Иван Алексеевич, участвуя в казни Петра, своего брата во Христе, совершает неслыханное преступление, соединяющее грехи Каина и Иуды, и становится зачинателем нового, небывалого зла. Отречение Котлярова,

нарушение высших требований нравственности и справедливости, отказ нести «крестную ответственность» («Я за кума Петра не ответчик» (III, 305), – скажет он потом Дарье Мелеховой) порождает цепь новых преступлений, способствует непрерывному возрастанию зла в мире.

Борьба света и тьмы, добра и зла, жизни и смерти, Православного Креста и красной звезды достигает своей кульминации в сцене гибели деда Гришаки. Характерно, что поведение и слова старика Коршунова, который единственный из героев романа ищет разгадку происходящего в Библии, воспринимаются окружающими как безумие, помешательство, подтверждая извечную истину о том, что «слово о кресте для погибающих юродство есть, а для спасаемых – сила Божия» (1 Кор. 1, 18). Мотив безумия получает своеобразное преломление в романе. «Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, – говорит апостол, – тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом» (1 Кор. 18, 19). Следуя русской православной традиции, согласно которой юродство устраивалось Господом для того, чтобы посрамить мир, чтобы показать, что его (мира) ценности во многом ложные, временные и преходящие, в образах сошедшего с ума раненого красноармейца, прижимающего к сердцу пучок сорванного душистого чабреца (символ Троицы в романе), и юродивого Паши, которого казаки из банды Фомина учат, как «правильно» рубить человека, М. А. Шолохов вскрывает трагическую несовместимость образа Божия и образа зверя в человеке: «Всё понял, родненький, всё. Так и сделаю... поставлю на коленочки раба Божьего и шеечку ему перережу... как есть перережу!» (IV, 413).

Именно в этом — почти бессознательном — обнаружении за красной звездой «русского Креста» и состоит, по мнению А. Л. Казина, мировое значение эпопеи: «“Тихий Дон” вдвинул русское самосознание в центр национальной Голгофы» (V, 400). История России XX века явлена в романе как средоточие вселенской борьбы добра и зла, притязающего на бессмертную душу человека. В материальном мире исторического бытия эта духовная битва отражалась войнами и междоусобицами, смутами и социальными катаклизмами.

Национальный тип русской религиозности неразрывно связан с исповедничеством, которое выразилось не только в церковной жизни, но и в быту, в намоленных иконах и фресках, в литературе. Главные черты такого подвига – это свидетельство правды Божией всей своей жизнью и связанная с этим готовность пострадать за правду даже до смерти. По мнению В. А. Никитина, «творчество писателей, верных своему нравственному долгу, по существу является воплощением именно исповедничества… А в русской литературе, которую Томас Манн назвал «святой», роль исповедничества

исключительна. Пафос греха и покаяния, страдания и искупления одухотворяет всю нашу литературу, для которой совесть, благодать и милосердие – выше закона и законничества. Русская литература человеколюбива, потому что христолюбива, на этом незыблемом основании стоят такие её столпы, как Гоголь, Пушкин и Достоевский… Лучшие русские писатели, воспевшие идеалы Святой Руси, её подвижников и её вечевые колокола, дух православной соборности, глубоко это чувствовали и понимали. И сами были исповедниками, и нередко становились мучениками, готовыми пострадать за великую идею» (VIII, 339–340). Именно в России писательское служение стало духовной миссией, а голос писателя – олицетворением народной совести, возвысившись до пророческого звучания.

В XX веке Россия явила православному миру сонм великих святых – Исповедников и Новомучеников Российских. Исповедниками стали, прежде всего, служители алтаря. В духовном сопротивлении силам тьмы рядом с ними были и тысячи простых людей, крестьян и рабочих, были и писатели, деятели культуры и науки, сохранившие незапятнанной совесть, – как весть о Боге и своем человеческом призвании. Именно к ним относятся слова Господа: «Блаженны изгнанные за правду» (Мф. 5, 10); «вы соль земли» (Мф. 5, 13).

Путь религиозного исповедничества, начатый великими русскими писателями, не был прерван. Не устояла Россия, но устояла великая русская литература, продолжавшая в эпоху гонений свидетельствовать о том, что Христос есть путь и истина, и жизнь (Ин. 14, 6), сохранившая евангельский дух любви и самопожертвования.

В лучших творениях советских писателей нет атеистического пафоса. Продолжая традиции русской классики, они утверждали незыблемые ценности: веру, семью, любовь, патриотизм. К таким писателям принадлежит, бесспорно, и М. А. Шолохов. Выступая на XV Международных Рождественских образовательных чтениях, В. А. Никитин сказал, что «его (Шолохова. – *Н. С.*) реализм не социалистический и не мистический, это реализм милостью Божией. Путь Григория Мелехова – путь русского человека, хранящего своё богодарованное человеческое достоинство, свою честь и верность Высшей Правде» (9).

Исповедничеством отмечен творческий путь самого писателя. В то время, когда пролетарские авторы прославляли торжество красной идеи, новой советской морали, победу антихристова начала в человеке, Шолохов занял позицию над схваткой: «ни те, ни эти не по совести». В течение многих десятилетий ему приходилось отбиваться от обвинений в плагиате, в политических ошибках, отстаивать свои произведения перед цензорами и другими политконтролерами. Известно, что борьба за финал «Тихого Дона» шла у Шолохова с самим Сталиным. Последний

настаивал на том, чтобы в финале романа Григорий все-таки стал большевиком. Но писатель не поступился правдой, не пошел против своей совести художника. В известном письме Е. Г Левицкой он твердо заявил о своей авторской позиции: «Делать Григория окончательно большевиком я не могу… Заявляю это категорически. Я предпочту лучше совсем не печатать, нежели делать это помимо своего желания, в ущерб и роману и себе… А я всё ж таки допишу "Тихий Дон"! И допишу так, как я его задумал» (10, 100). Во время коллективизации писатель первым начал говорить правду о голоде. Он пишет письма Сталину, пытаясь пробудить совесть властей: «Я видел такое, чего нельзя забыть до смерти»; «Слов нет, не все перемрут даже в том случае, если государство вообще ничего не даст». Шолохов поднял свой голос протеста против того произвола, который творился на Дону, первым осмелился заговорить о незаконных репрессиях. Во время Великой Отечественной войны он (опять же в числе первых) начинает разрабатывать одну из самых трагических в советской литературе тем — плен и отношение к пленным. В 1960–1970-е годы Шолохов активно выступает в защиту русской культуры, русского народа, имеющего за своими плечами великую и трагическую историю. Писатель не боялся говорить и писать правду, когда другие старались умалчивать о ней. В беседе с писателем-земляком А. Калининым Шолохов как-то сказал: «Писатель должен уметь говорить правду, как бы ни была она горька… К оценке литературного произведения в первую очередь нужно подходить с точки зрения правдивости» (10, 278).

В книге «Шолохов» В. О. Осипов приводит множество фактов биографии писателя, помогающих понять его отношение к православию: как юный Михаил Шолохов стал завсегдатаем библиотеки священника; как венчался с дочерью «служителя культа»; как спас Вёшенскую церковь от разрушения; как встречался и беседовал с Патриархом Пименом. Сегодня стали известны и рассуждения самого Шолохова о Боге, бессмертии, Истине, которые свидетельствуют о том, что автор «Тихого Дона» высоко ценил основы именно традиционной, христианской морали и нравственности, определяемые подготовкой человека к вечной жизни.

Пожалуй, лучше всего его отношение к вере можно передать словами одного из второстепенных персонажей «Тихого Дона», «высокого дряхлого деда», дающего казакам-второочередникам с хутора Татарского тексты молитв. В ответ на подтрунивания одного из казаков дед строго перебил: «Ты, молодец, не веруешь, так молчи!.. Ты людям не препятствуй и над верой не насмехайся. Совестно так-то и грех!» (I, 288).

М. А. Шолохов одним из первых в литературе послеоктябрьского периода вывел в своих произведениях целый ряд новомучеников и исповедников российских. В «Тихом Доне» эта тема становится глав-

ной для понимания русской трагедии XX века и системы ценностей романа. Свою власть большевики начали с убийства государя – помазанника Божия, священного лица, носителя особой силы благодати Духа Святого. Эта божественная сила, действующая через помазанника Божия, удерживала распространение зла тайны беззакония. «Тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь» (2 Фес. 2:7). По толкованию святителя Феофана Затворника, «удерживающий – это царская власть, которая, имея в своих руках способы удерживать движения народные и держась сама христианских начал, не попустит народу уклониться от них, будет его сдерживать… Когда царская власть падёт, народы заведут самоуправство… водворится безначалие, заведутся всюду такие порядки, благоприятные раскрытию антихристовых стремлений, сатане действовать будет просторно, он устремится похитить всю и человеческую, и божескую власть» (15, 319). Отношение Шолохова к Николаю II смыкается с позицией Русской Православной Церкви, прославившей императора и его семью в лике святых страстотерпцев.

В образе церковного ктитора Архипа Богатырёва писатель создал новый в советской литературе образ страдальца за веру, мужественно идущего под пулю, на смерть. (Этот образ получит развёрнутое воплощение в «Судьбе человека» в образе безымянного русского солдата, отказавшегося от святотатства в самом безысходном для себя положении: «Не могу... осквернять святой храм! Я же верующий, я христианин!»). Не случайно в сцене бессудного расстрела семерых хуторных стариков, обвинённых в пропаганде против советской власти, автор вызывает ассоциации с ветхозаветным образом патриарха – главы рода, верного Единому истинному Богу: «А позади всех величавой тяжеловатой поступью шёл старик Богатырев. Встречный ветер раздувал, заносил ему назад концы белой патриаршей бороды, прощально помахивая махрами кинутого на плечи шарфа» (III, 142–143). Соотнесение событий, развернувшихся на донской земле, с трагическим периодом священной истории, когда богоизбранный народ своими грехами и отступничеством ввергнул себя в рабство египтянам, устанавливает новую меру и масштаб происходящего – видение земной человеческой истории в свете Божьего Промысла: «По Божьему указанию всё вершится» (III, 252). Эти слова последнего хуторского «патриарха», деда Гришаки Коршунова, выражают внутренний смысл революционной эпохи, которая стала платой русского народа за грехи, вероотступничество, отречение от исконных святынь и заветов предков.

Судьбу новомученика разделяет безымянный казак, отправленный комиссаром Малкиным на расстрел только за то, что тот был «очень уж... на Угодника Николая похож бородой» (III, 216).

Героем-новомучеником следует признать и деда Гришаку Коршунова, который добровольно и в полном сознании принимает мученическую кончину от руки «антихристова слуги» Кошевого. На приказ Мишки оставить дом он дважды цитирует Священное Писание, а потом заклинает: «Изыди, супостатина!» Воин Христов умирает со словами смирения и молитвы из «Последования по исходе души от тела», напоминающими о главном назначении человека – о его сыновстве перед Богом: «После выстрела дед Гришака упал навзничь, внятно сказал: – ...Яко не своею си благодатию... но волею Бога нашего приидох... Господи, прими раба Твоего... с миром...» (III, 365).

В «Тихом Доне» Христа исповедуют не только белые, но и красные: еланец из сердобского отряда, показывающий избивающим его казакам маленький нательный крест (III, 280); «широколицый красногвардеец-казак» из подтёлковского отряда, который принимает мученическую смерть после причащения Святых Христовых Тайн:

– Нам и разговеться не пришлось…

– Да ить вы же большевики, какое вам разговенье?

– Ну-к что ж, большевики большевиками, а в Бога веруем.

– Хо! Брешешь?

– Истинный Бог!

– А крест носишь?

– А вот он. – И здоровый широколицый красногвардеец-казак, топыря губы, расстёгивал ворот гимнастерки, доставал висевший на бронзово-волосатой груди позеленевший медный крест.

Старики с вилами и топорами из отрядов по поимке «бунтовщика Подтёлкова» изумлённо переглядывались.

– А гутарили, будто вы отреклись от веры Христовой.

– Вроде вы уж сатане передались…

– Слухи были, будто грабите вы церкви и попов унистожаете.

– Брехня! – уверенно опровергал широколицый красногвардеец. – Брехню вам всучивают. Я перед тем, как из Ростова выйтить, в церкву ходил и причастие принимал» (II, 330).

Перед Святым Причащением священник читает от лица всех верующих молитву, которая начинается словами: «Верую, Господи, и исповедую, яко Ты воистину Христос, Сын Бога Живаго…». Каждый христианин в своей жизни призван к исповедничеству, к свидетельству о Христе: «Всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцом Моим Небесным» (Мф. 10:32). «Широколицый красногвардеец» принимает мученическую смерть после исповедания православной веры, получая надежду на вечное пребывание со Христом в Его Царстве.

Обращает на себя внимание употребление глаголов несовершенного вида (расстёгивал, доставал, переглядывались и т. д.), кото-

рые указывают на повторяющееся действие, придают всему эпизоду типичное звучание. Не случайна и анонимность этой сцены: широколицый казак говорит от имени многих красноармейцев, которые сохранили веру, верность традиционному укладу жизни, подчинённому церковному богослужебному кругу.

Братоубийственная Гражданская война осмысливается писателем в рамках апокалиптической символики. Сам М. А. Шолохов говорил о своем романе: "Тихий Дон" – это гражданская война, брат на брата, отец на сына шли...» Художник сознательно уподобляет трагические события начала XX столетия «последним временам», когда, по слову Священного Писания, «отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским» (Тим. 4:1), «и по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь» (Мф. 24, 12), и будут войны и смятения, «и глады и моры, и ужасные явления и великие знамения с неба» (Лк. 21, 11), «и тогда соблазнятся многие; и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга» (Мф. 24, 10), «и предаст же брат брата на смерть, и отец детей; и восстанут дети на родителей, и умертвят их» (Мк. 13, 12).

Весть о начале Верхнедонского восстания приносит всадник, который ассоциируется с образом меченосца на рыжем коне. Появление всадника, которому «дано взять мир с земли, и чтоб убивали друг друга» (Откр. 6:4), открывает линию апокалиптической символики в романе и знаменует начало кровопролитных войн.

Повествованию о братоубийственной войне на Дону предшествует пейзаж-предзнаменование. Картина, открывающая XIII главу шестой части, рисует тревожное затишье, установившееся на тихом Дону к началу 1919 года: «Пугающие тишиной короткие дни под исход казались большими, как в страдную пору. Полегли хутора глухой целинной степью. Будто вымерло всё Обдонье, будто мор опустошил станичные юрты. И стало так, словно покрыла Обдонье туча густым, непросветно-чёрным крылом, распростёрлась немо и страшно и вот-вот пригнёт к земле тополя вихрем, полыхнёт сухим, трескучим раскатом грома и пойдёт крушить и корежить белый лес за Доном, осыпать с меловых отрогов дикий камень, реветь погибельными голосами грозы...

С утра в Татарском застилал землю туман. Гора гудела к морозу. К полудню солнце вышелушивалось из хлипкой мглы, но от этого не становилось ярче» (III, 95).

Устойчивые образы ветра, грозы, тумана, солнца, леса, которые содержат принципиально важные идейные мотивы шолоховской прозы, наполняют пейзаж сокровенным смыслом, делают повествование более экспрессивным и напряжённым, навевают грусть и тяжёлые предчувствия, усиливают чувство трагического отчаяния и безысход-

ности. Автор пророчески поднимает над наступившей обманчивой тишиной казачьих станиц «калёно-красный... щит месяца», сияющий «кровяными отсветами войны и пожаров», рождающий «невнятную тревогу», предвещающий кровавые страницы грядущих событий. Не менее важным в этом образно-символическом ряду, преломляющем эпоху российской смуты, является образ падучей звезды: «На аспидно-чёрном небе в томительном безмолвии вспыхивают золотые зарницы, падают звёзды, отражаясь в текучей быстрине Дона» (IV, 54); «Сорвалась и стремительно скатилась к горизонту падучая звезда» (III, 24); «Вороное небо полосовали падучие звезды» (III, 31).

В духе древнерусской литературы, апокалиптической символики и в соответствии с народными приметами писатель видит в знаках природы предсказание общенародной беды. Начиная с третьей книги «Тихого Дона», в пейзажных зарисовках становится всё меньше спокойных и светлых тонов, значительно усиливается экспрессивная роль красного и чёрного цветов, нагнетаются мотивы смерти, беды, гибельного пожара.

Борьба света и тьмы, дня и ночи, которая проходит через весь роман, подключая его к духовной традиции, заданной еще первым произведением русской словесности — «Словом о Законе и Благодати» митрополита Илариона, достигает кульминации в образе чёрного солнца на чёрном небе, которые видит Григорий после смерти Аксиньи. Истоки этого образа также восходят к библейской символике: небесное знамение совершилось при распятии Богочеловека, когда солнце закрылось тёмным покровом мрака в самый полдень. Описывая «последние времена», когда скорбь разольётся по всей земле, апостол Иоанн Богослов говорит: «и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь» (Откр. 6, 12).

Солнечная символика получила глубокое осмысление в русской литературе начала прошлого столетия. «Есть времена, где солнце смертный грех», – утверждала М. Цветаева, грех отдельного человека и даже народа. Отрёкшийся от престола Николай II записал: «...притуманенное, не задёрнутое солнце». Образ чёрного солнца становится центральным в мандельштамовских стихах 1916–1920 годов: «У ворот Ерусалима / Солнце чёрное взошло...»; «Я проснулся в колыбели / Чёрным солнцем осиян»; «И для матери влюбленной / Солнце чёрное взойдет...» и др. В 1923 году И. Шмелев создал своё «Солнце мёртвых», книгу «о смерти русского солнца», по мысли И. С. Лукаша. «Рыдая, солнышко взошло», – заметил Н. Клюев в поэме «Погорельщина», воссоздавая пожар России. Включённое в этот образно-смысловой ряд шолоховское «чёрное солнце» (стилевой центр «Тихого Дона») становится символом духовной трагедии не

только Григория Мелехова, но и всего казачества, всего русского народа, погружённого в греховную тьму ненависти и братоубийства, ибо «кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит... тьма ослепила ему глаза» (1 Ин. 1, 11).

Авторская концепция Верхнедонского восстания, изображению которого целиком посвящена третья книга романа, раскрывается в финальном эпизоде шестой части «Тихого Дона»: Мишка Кошевой сжигает дома зажиточных казаков, и «на фоне аспидно-чёрного неба искристым рыжим хвостом распушилось рыжее пламя» (III, 367). Пожар становится символом войны и разрушения, неуклонной апостасийности мира, продолжая апокалипсическую схему романа, начавшуюся с появления всадника на огненно-рыжем коне. Впечатление ужаса и гибельности огня, которым, по обетованию, будет уничтожен весь мир (2 Пет. 3, 7), усиливается двойным употреблением цветового прилагательного «черный»: «на фоне аспидно-чёрного неба», «чёрные, углисто-сверкающие хлопья». Апокалипсическая картина пожара, которой завершается третья книга «Тихого Дона», характеризует состояние народного духа в эпоху смуты и безвременья, утратившего веру в спасительную силу Животворящего Креста Господня.

С гибелью деда Гришаки – духа и символа православного тихого Дона – в Татарском наступает всеобщая «мерзость запустения» антихристова царства «последних времён» (повторяющееся выражение «неимоверные запустение и разруха» становится лейтмотивом четвертой книги эпопеи, которая, по словам Л. Ф. Киселевой, оставляет ощущение «умирания» внешнего мира).

Таким образом, апокалипсические мотивы становятся ведущими в изображении Верхнедонского восстания, определяя стилевую тональность и сюжетно-композиционное движение романа, переводят повествование в план трансцендентных истин, где всё проверяется вечностью и конечной историей человечества. М. А. Шолохов изображает трагическое, кризисное состояние мира, фатально расколотого надвое, утратившего целостность. «Революция словно разделила нас на овец и козлищ» (II, 101), – скажет об этом времени герой «Тихого Дона», намекая на ситуацию Страшного суда. Шолохову присуще катастрофическое сознание и видение мира, в котором идет эсхатологическая битва между Богом и диаволом. Революция и Гражданская война были осмыслены художником как «малый апокалипсис», «суд внутри истории» (Н. А. Бердяев), плата русского народа за вероотступничество, размывание традиционных устоев нравственности, утрату исторической памяти. «В старину не так-то народ жил – крепко жил, по правилам, и никаких на него не было напастей. А ты, чадунюшка, доживёшь до такой поры-времени,

что увидишь, как землю всю опутают проволокой, и будут летать по синю небушку птицы с железными носами, будут людей клевать, как грач арбуз клюет... И будет мор на людях, глад, и восстанет брат на брата и сын на отца... Останется народу, как от пожара травы» (II, 80). Это предсказание столетней бабки Максима Грязнова сбывается на страницах шолоховской эпопеи, неудержимо устремлённой к катастрофическому исходу, к зловеще-роковой черте, о которой ещё в старозаветные времена предупреждали библейские пророки.

Но победа злого, жестокого, дьявольского начала в человеке не окончательна. Смута, которая была послана русскому народу как искушение, как мученический венец, показала, что как ни старались богоборцы, они так и не сумели вытравить из народной души христианских ценностей любви, служения ближнему: «И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей» (Мф. 10, 42). Этот Евангельский идеал жертвенности и сострадания буквально осуществляется на страницах «Тихого Дона»: «хмурясь от жалости», выполняет свой христианский долг вступившийся за пленных сердобцев старик-конвоир, напоивший измученных, жаждущих красноармейцев холодной ключевой водой из степного колодца (III, 301).

Особое звучание в связи с этим приобретает финальный образ картины, соединяющий восприятие героя с авторской оценкой происходящего: «Иван Алексеевич напился, стоя на коленях, и, подняв освежённую голову, увидел с предельной, почти осязательной яркостью», как «в неохватной величавой синеве небес, в недоступнейшей вышине» стремительно уплывало на север искрящееся белое облачко «и в далекой излучине Дона отражалась его опаловая тень», напоминая о вечном покое, о любви и милосердии Божием. Пушкинская тема «милости к падшим», составляющая авторский фон этой и ряда других трагических сцен романа, становится нравственно-философским императивом «Тихого Дона».

Разливу жестокости и насилия народ противопоставил сдерживающее и скрепляющее начало традиционной нравственности, христианский идеал милости («Блаженны милостивые; ибо они помилованы будут» – Мф. 5, 7). В связи с этим важным оказывается ценностное разграничение понятий Закона и Благодати. Если, по словам отца С. Булгакова, «душа православия... соборность», то благодать Божия – «зерно» самой соборности. Универсальная для русской ментальности оппозиция Закона и Благодати проходит через всю тысячелетнюю историю русской словесности и в значительной степени определяет духовное своеобразие русской культуры в целом. Антиномия Закона и Благодати, как показывает в своём исследова-

нии Б. П. Вышеславцев, – это антиномия «двух великих систем ценностей», причем, по мысли исследователя, «несовместимость закона и благодати совсем не есть только теоретическая антиномия... Это жизненный трагизм, развертывающийся в истории и, быть может, повторяющийся в жизни каждого из нас» (2, 28–29).

Два полюса духовности и два типа ценностной ориентации человека манифестированы в двух зеркальных сценах романа – разговор Мишки Кошевого с Прохором Зыковым, а затем с Григорием Мелеховым. Кошевой требует ответа перед законом («...должен человек всегда отвечать за свои дела... за службу в белых надо отвечать перед советским законом» – IV, 291), отвергая Евангельский идеал прощения и милосердия, о котором напоминают ему Прохор и Дуняшка: «Об старом забывать надо» (IV, 290); «...кто старое вспомянет, тому, говорят, глаз вон» (IV, 290). Эта позиция, глубоко укоренённая в недрах народного сознания, нашла отражение в пословицах и поговорках русского народа: «Бог прощал и нам велел» и др. Апелляция к традиционным началам казачьей нравственности, проверенным тысячелетним опытом народной жизни, придает словам Прохора и Дуняшки хоровое звучание. Кошевой судит с позиций наличной действительности человеческого существования, отраженной в законе, требующей «оправдания в сем мире», в то время как Дуняшка предлагает другую точку отсчета: не «снизу», не от условий «действительности» падшего мира, пусть и упорядочиваемой «законом», а «сверху», со стороны идеала – высокого призвания человека, «благодати и истины», явленной человеку Христом (7, 151), предполагающей надежду и веру в любого человека, хотя бы и живущего вне закона, потенциальную возможность покаяния, пока этот человек жив, а, следовательно, прощения и милосердия.

Столкновение двух жизненных позиций представлено и в эпизоде встречи Михаила с Григорием. Если Мелехов идёт навстречу Кошевому с открытым сердцем, с улыбкой, сокровенными думами (Григорий «хотел обнять Михаила» (IV, 314) – жест примирения, восстановления родственных связей), то Кошевой встречает его с холодной неприязнью, отчуждением, язвительной насмешкой и даже злобой. Кошевой не только против евангельского всепрощения, но настаивает на кровном отмщении: «За старые долги надо плотить сполна!» (IV, 323). Позиция Мелехова оказывается близка позиции Ильиничны: «Ты брата Петра убил, а я тебе что-то об этом не напоминаю...» (IV, 322), подкреплена традиционной этикой, понятиями о долге, милосердии, прощении. Он готов забыть старые обиды («Ежли все помнить – волками надо жить» – IV, 322), переступить через кровь, простить своего личного врага.

И. А. Ильин утверждает, что «светское правосудие строится на споре и диалоге омрачённых грехом людей, просьба о милости предполагает раскаяние в грехах, смиренное сознание собственных преступных немощей, оставление всем должникам, надежду на собственное прощение людьми и Богом» (4, 16–17). Но именно в этом отказывает Григорию Кошевой, который «сроду... не стеснялся об врагов руки поганить и зараз не сморгнёт при нужде» (IV, 322).

Евангельская тема милости и обещанного за неё блаженства становится одной из ведущих в шолоховском повествовании: «Этак и нас с тобой и Мишатку с Полюшкой за Гришу красные могли бы порубить, а ить не порубили же, поимели милость?» (IV, 96), — говорит Ильинична, отказавшаяся впустить в свой дом карателя Митьку Коршунова, устроившего самосудную расправу над семьей Кошевого. Прощаясь с умирающим Стерлядниковым, Чумаков обращается к другу: «Василий! Прощай и прости меня и всех нас, ради Христа! На том свете сойдемся, и нас там рассудят...» (IV, 407). Даже в жестоком палаче, у которого «не сердце, железяка заместо него», просыпается жалость, сострадание, чувство вины всех за всё. Убийство товарища осознается им как грех, поэтому Чумаков просит прощения, ожидая высшего суда, надеясь на милосердие Божие.

Мотив будущей жизни часто звучит на страницах «Тихого Дона». Г. С. Ермолаев подчеркивает его повторяемость и значимость в художественной концепции романа: «...веру в загробную жизнь открыто исповедуют многие герои М. А. Шолохова. Кривошлыков обеспокоен тем, что он и Подтёлков могут не узнать друг друга в мире ином, мысль о встрече с мужем после своей смерти даёт Дарье Мелеховой ощущение счастья» (3, 104). Прощаясь с Аксиньей, Григорий твёрдо верит в то, что расстаются они ненадолго. «Означает ли это, – задаётся вопросом исследователь, – что Григорий, который утратил веру в Бога во время Первой мировой войны, не мог примириться с потерей своей любимой и пришёл к тому, что стал рассматривать свою и Аксиньину смерть с точки зрения возможного воскрешения и вечной жизни, которая может быть дарована верующим людям Богом? Или он всегда верил в грядущую жизнь, независимо от того, что он утратил веру в заботу Бога о мире и счастье?» (3, 104). На наш взгляд, все эти упоминания о загробной жизни свидетельствуют о том, что даже во время разгула святотатства, безбожия и богоборчества в душе народа сохранялась «искра веры», которая и помогла ему пережить страшные испытания Гражданской войны.

Особое место в шолоховском мире занимает образ матери, которая своей безоглядной, жертвенной любовью противостоит злобе и сумасшествию войны, выражает наиболее решительный протест

против убийств. «Независимо от политической принадлежности их детей, – утверждает Г. С. Ермолаев, – в "Тихом Доне" матерей объединяет сходство их чувств и поступков» (3, 130). Чтобы подчеркнуть общность материнских переживаний, М. А. Шолохов помещает рядом два описания сражённых «неусыпным горем» матерей, сыновья которых были убиты на войне. Одна их них – мать восставшего казака, другая – красноармейца. С равным сочувствием изображает художник их «горючую тоску» по тем, кого они некогда носили в утробе, рожали в крови и бабьих муках (III, 248). Ни одна из этих женщин не взывает к отмщению. Не делает этого и Ильинична, потерявшая своего старшего сына. Более того, она упрекает Григория за убийство красных матросов и, испытывая «щемящую материнскую жалость» (IV, 279), прощает ненавистного ей Кошевого и принимает его в свою семью.

Естественная человечность матерей подкрепляется их традиционной религиозностью. В мольбах о защите и милосердии они обращаются к Богу, Его заступничеству вверяя судьбу своих детей: «Она, торопясь, сняла с себя нательный маленький крест – целуя сына, крестя его, надела на шею. Заправляла гайтан за воротник, а пальцы прыгали, кололи холодком. – Носи, Илюша. Это – святого Николая Мирликийского. Защити и спаси, святой угодник-милостивец, укрой и оборони... Один он у меня... – шептала, прижимаясь к кресту горячечными глазами» (II, 186); «На другой день, как только смерклось, старуха перекрестила собравшихся в дорогу своего двенадцатилетнего внучонка и одетого в казачий зипун красноармейца, сурово сказала: "Идите с Богом!.. Не мне кланяйся, Богу святому!.. Ну, ну, ступайте, оборони вас Господь!"» (IV, 30); «– Храни тебя Царица Небесная! – исступлённо зашептала Ильинична, целуя сына. – Ты ить у нас один остался...» (IV, 67).

В тексте романа имеется и указание на осуществление материнской молитвы: «Знать, еще горела тихим трепетным светом та крохотная звездочка, под которой родился Григорий; видно, еще не созрела пора сорваться ей и лететь, сжигая небеса падучим холодным пламенем. Три коня были убиты под Григорием за осень, в пяти местах продырявлена шинель. Смерть как будто заигрывала с казаком, овевая его чёрным крылом. Однажды пуля насквозь пробила мерную голову шашки, темляк упал к ногам коня, будто перекушенный.

– Кто-то крепко за тебя молится, Григорий, – сказал ему Митька Коршунов и удивился невесёлой Григорьевой улыбке» (III, 82).

Соборный идеал любви и прощения выражает «величественная и дородная старуха», потерявшая на войне трёх сыновей и вступившаяся за молодого, сошедшего с ума красноармейца: «Ты ослобони вот этого чернявенького. Умом он тронулся, к Богу стал ближе, и вам великий грех будет, коли такого-то загубите... Смерть-то над каждым

из вас крылом машет...» (IV, 28). Любовь и жалость матери простирается на всех детей, независимо от их классовой принадлежности: «Ты меня не боись, я тебе не лиха желаю. У меня двух сынков в германскую войну сразили, а меньший в эту войну в Черкасском помер. А ить я их всех под сердцем выносила... Вспоила, вскормила, ночей смолоду не спала... Вот через это и жалею я всех молодых юношев, какие в войсках служат, на войне воюют... Я не одна такая-то, все мы, матери, добрые... Жалко ить вас, окаянных, до смерти!» (IV, 29). Безымянная старуха говорит от имени всех матерей, вливая своё «я» в «мы», в соборный хор народной жизни.

Устами матери-казачки М. А. Шолохов утверждает высшую меру и оценку происходящего – в свете христианского (православного) сознания. В расколотом мире шолоховского романа глубокие нестроения, внутреннее разведение и разладица в отношениях между отцами и детьми улаживаются благодаря таинственному влиянию женщины. Казачка-мать выступает как связующее, объединяющее начало, восходящее к библейскому первообразу, несущее в мир свет истины, добра и любви и напоминающее о том, что «мир не есть хаос, и мировой порядок не есть нескончаемая кровавая смута. Есть любящее сердце Матери, которое должно собрать вокруг себя вселенную» (14, 29).

Идеал христианской любви к ближнему, милосердия, смирения, всепрощения, который никогда не умирал в народной душе и продолжал определять бытовое поведение казаков, становится залогом нового единения, возрождения соборной общности, преодоления отчуждения и мирового разлада. Идейно-стилевой анализ третьей и четвертой книг романа позволяет утверждать, что шолоховская концепция Гражданской войны близка позиции Русской Православной Церкви, осудившей братоубийственное кровопролитие, призывавшей «не поддаваться искушению, не губить в крови отмщения... свою душу» (13, 117).

Включение в текст эпопеи христианских мотивов и образов, евангельских цитат, переложение предсказаний и пророчеств из исторических книг ветхозаветных авторов на язык персонажей позволило художнику проникнуть в сокровенный смысл социально-исторических событий, открыть духовное измерение в жизни нации. «Россия всходит на Голгофу…» (II, 268) – эта фраза одного из второстепенных персонажей «Тихого Дона» становится вектором, определяющим логику сюжетно-композиционного движения и читательского восприятия романа, свидетельствующим о сопричастности земной истории вечности.

Примечание

[1] *Шолохов М. А.* Тихий Дон. Роман в четырех книгах. Том I // *Шолохов М. А.* Собр. соч.: В 8 т. / Сост. М. Манохиной. – М.: Художественная литература, 1985. С. 297. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

[2] Далее в тексте цитаты оформляются в скобках, с указанием номера источника в списке литературы и страницы.

Литература

1. *Вострышев М. И.* Патриарх Тихон / *М. И. Вострышев.* — М.: Молодая Гвардия, 1995.

2. *Казин А. Л.* Философия искусства в русской и европейской духовной традиции / *А. Л. Казин.* СПб.: Алетейя, Санкт-Петербургский университет МВД России, 2000.

3. *Непомнящий В. С.* Пушкин. Русская картина мира / *В. С. Непомнящий.* – М.: Наследие, 1999.

4. *Никитин В. А.* Подвиг христианского исповедничества в русской литературе XX века / *В. А. Никитин* // Сборник пленарных докладов XII Международных Рождественских образовательных чтений. – М., 2005.

5. *Никитин В. А.* Подвиг христианского исповедничества в русской литературе XX века [Звукозапись] / *В. А. Никитин* // XII Международные Рождественские образовательные чтения. Пленарные заседания. – М., 2004.

6. *Осипов В. О.* Шолохов / *В. О. Осипов.* – М.: Молодая гвардия, 2005.

7. *Пиккио Р.* «Слово о полку Игореве» как памятник религиозной литературы Древней Руси / Р. Пиккио // ТОДРЛ. Т. L. – СПб., 1997.

8. *Стрельцов А. М.* Версии не шолоховского авторства «Тихого Дона» (1928–1999). Критические очерки. Учебное пособие / *А. М. Стрельцов.* – Елец: ЕГУ, 2000.

9. *Тихон, патриарх.* Россия в проказе / *Патриарх Тихон.* – М.: Лодья, 1998.

10. *Феофан Затворник.* Толкование послания ап. Павла к Фессалоникийцам / Св. Феофан Затворник. – М., 1895.

11. *Цыценко И. И.* Этнотрадиция и семья в романе-эпопее «Тихий Дон» / *И. Цыценко* // Шолоховские чтения – 97. Проблемы изучения творчества М. А. Шолохова / Отв. ред. Н. И. Глушков. – Ростов-на-Дону, 1997. – С. 52–65.

Наталья СТЮФЛЯЕВА,
кандидат филологических наук,
г. Липецк

ПРИМЕТЫ КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЁМ

У Шолохова в романе «Тихий Дон» часто встречаются приметы, связанные с горой. Вот строки: «Из-за горы в белом величавом безмолвии вставали вершины белых клубящихся туч. От Дона, почти касаясь земли раздвоенными остриями крыл, чертили воздух ласточки, и далеко-далеко в синем поднебесье парил, уходя от подступавшей грозы, степной подорлик». Это описание предгрозового пейзажа напомнило мне примету, бытующую у нас в станице Казанской: «Туча идёт с Задонской горы – будет дождь».

Какие ещё приметы знает и использует писатель в своих романах «Поднятая целина» и «Тихий Дон»? Я продолжила чтение произведений Шолохова, отмечая в тексте приметы. Чаще всего попадались приметы, связанные с погодой. Например: «Но к ночи загудела гора, взголочились на площади вороны, ... и Пантелей Прокофьевич решил: «Прищемило весну, завтра саданёт мороз».

Разнообразие примет в романах меня заинтересовало, и я решила разобраться с самим понятием– «примета». С. И. Ожегов. толкует это слово так: «Примета – явление, случай, который в народе считают предвестием чего-нибудь» Д. Н. Ушаков уточняет – «Примета – в суеверных представлениях – признак, предвещающий что-либо». В издании «Приметы-подсказки на все случаи жизни» (составитель К. В. Воробьев) я нашла деление примет на погодные, обрядовые, бытовые, предрассудки. Я бы в этот ряд добавила и сонники, потому что вера в сновидения очень близка вере в приметы.

М. А. Шолохов в романах редко использует само слово «примета» или её формулировку, бытующую в просторечии. Чаще находим приметы в описаниях состояний природы: необыкновенно художественных и необычайно точных, в плане предсказания погоды.

«Февраль.… Жмут, корёжат землю холода. В белом морозном накале встаёт солнце. Из труб куреней по утрам строевым лесом вы-

Творчество М. А. Шолохова, сама личность писателя вызывают, как оказалось, всё больший интерес у молодых. Журнал публикует два любопытных, по мнению редакции, материала юных шолоховедов, собирающихся на регулярные конференции в Ростове-на-Дону.

сятся оранжевые столбы дыма». Это иллюстрация к примете: «Дым из трубы идёт вверх, к морозной, солнечной погоде».

С детства я знаю примету «Ласточки низко летают к дождю». В «Поднятой целине» нахожу ее художественное изложение: «Мелкие, словно брызги парного молока, капли отвесно падали на затаившуюся в туманной тишине землю… Голоса петухов сливались с чириканьем беззастенчивого купавшихся в лужах воробьев и писком ласточек, как бы припадавших в стремительном полёте к пахнущей дождём и пылью, ласково манящей земле».

В романе «Тихий Дон» я нашла примету о рыбалке, интересную для меня, дочери заядлого рыболова:

«– Не будет, батя, дела… месяц на ущербе…

– Сазан, он разно берёт. И на ущербе иной раз возьмётся».

Автор неоднократно опирается на примету, связанную с горой: «А над хутором шли дни, сплетаясь с ночами, текли недели, ползли месяцы, дул ветер, на погоду гудела гора, и, застекленный осенней прозрачной лазурью, равнодушно шёл к морю Дон».

«Вечерами глухо гудела гора, по стариковским приметам – к морозу, а на самом деле – вплотную подходила оттепель».

В пейзажах Шолохова я нахожу три символа: Дон, степь, гора. Дон символизирует вечность, незыблемость бытия, степь обозначает жизнь человека с его рождением, расцветом, угасанием. Гора – как колокол – гудит, звенит, предвещает, предупреждает о грозе, войне, переменах в природе, в укладе жизни.

В романе «Поднятая целина» отметила художественную формулировку известной приметы «Ведро на месяце не держится – быть дождям»: «Месяц был чеканно-тонкий, пологий, суливший обильные дожди…», дочитываю предложение и отмечаю еще одну всем известную примету «В мае дождь и гром и не нужен агроном» – «…и Яков Лукич, взглянув на него, окончательно утвердился в мысли: «Быть урожаю!»

То, что примета подтвердилась, свидетельствуют строки: «Озимые хлеба стоят до горизонта сплошной тёмно-зелёной стеной, яровые радовали глаз на редкость дружными всходами». Интерес автора и его героев к погоде находит отражение в языке народа и народных приметах, которые подчеркивают накопленный казачеством опыт общения с природой, его наблюдательность.

Есть приметы-предзнаменования, использованием которых М. А. Шолохов подчеркивает предсказуемость описываемых событий, их естественность, какими бы страшными они не были.

В сборнике примет В. К. Воробьева приводится примета: «Сыч вещает о предстоящей войне и гибели людей». Шолохов, наверное,

знал эту примету и исподволь готовит читателя к перелому в мирной жизни казачества: «По ночам на колокольне ревел сыч. Зыбкие и страшные висели над хуторами крики, а сыч с колокольни перелетел на кладбище, стонал над бурыми затравевшими могилами.

– Худому быть, – пророчили старики, заслышав с кладбища сычиные выголоски…

– Добра не жди, с церкви к мертвецам слетает».

Приметы дают представление о духовной жизни народа. Вот читаю строки о подтёлковцах незадолго до их гибели. Они не ругают врагов, не клянут судьбу. Подтёлковцы «говорили о семьях, о родных, о близких… Говорили о том, что хлеба хороши – грач в пшенице уже схоронится – и не видно.» Примета о предстоящем урожае в ожидании смерти? Хлеб – вот главная их ценность! Но так и должно быть в крестьянской среде. И на смерть подтёлковцы идут ради спокойной, сытой и мирной жизни.

Сон является ключевым местом для понимания произведения в целом. Ничего не значащим, «лишним» в художественном тексте он быть не может, тем более в таких произведениях, как «Тихий Дон» и «Поднятая целина».

Мучительные поиски истины приводят Григория Мелехова то в белогвардейские ряды, то в Красную Армию. Сражаясь в рядах белогвардейцев, он не может не видеть презрительного отношения к казакам, их жестокость. Григорию снятся скверные сны. В них он убегает от преследующего его врага: «немолодого смуглого красноармейца». Этот сон предшествует серьёзному решению Григория «уклониться от прямого участия в сражении с красными». Автор, вводя в текст описание сна Григория, показывает, как в Григории подспудно зреют сомнения в правоте своих действий. В нём «словно что-то сломалось. Еще никогда до этого не чувствовал он с такой предельной ясностью всю никчемность происходящего, … он неясно думал, что казаков с красными ему не примирить, …а защищать чуждых ему по духу, враждебно настроенных людей … – больше не хотел и не мог».

Григорий чувствует, что и у красных, и у белых есть своя правда, потому и мечется между двух огней, пытаясь понять, на чьей стороне истина. Но ни тем, ни другим Мелехов с его обострённым чувством справедливости не нужен. Разрыв Григория с народом, Шолохов передал в сновидении Мелехова, в котором «полк пошёл в атаку без него».

Приводя сны Григория, автор подчеркивает, что герой находится в состоянии нравственного выбора. Днём и ночью мысли его заняты неустанным поиском истины.

Снам верит крепко стоящий на ногах Яков Лукич и балагур Щукарь. Якову Лукичу из «Поднятой целины» приснилось, «что он бро-

дит по какой-то плантации, под руководством одетых в белое женщин и рвет помидоры». «И сам Яков Лукич и все окружающие его казаки почему-то голые». Обращаюсь к соннику: увидеть себя голым – к болезни, женщины в белом – к болезни.

Эти дурные сны предшествовали страшному деянию Якова Лукича, обречению на голодную смерть родной матери. Конечно, читатель понимает, что не сон явился тому причиной. Сон предупредил Лукича о грозящей опасности, и Лукич жертвует матерью, спасая свою жизнь.

Сон – причина дурных предчувствий деда Щукаря. Он твёрдо знает, если «примета – дрянь, – стало быть, и поездка выйдет боком, не иначе с каким-нибудь дрянцом». А снилось старику «будто пеший волк» за ним гонялся. В сонниках волк – это коварство и обман.

Действительно, «цепь горестных приключений в этот день размоталась на всю длину. В начале его укусил уж, затем он себе чуть было не вывихнул ногу, потом по ошибке заночевал в будке с «коварными» женщинами, в спешке обул «чирики Куприяновны», а дома его ждал «обман» – ребёнок–подкидыш и женские «чирики».

Соседке Коршуновых Пелагее, перед тем как забеременеть снился сон, будто идёт она по займищу, впереди нее старая корова, «а из сиськов молоко дорогу вилюжит». Для женщин – очень благоприятный сон – видеть во сне молоко.

Сны героев романов М. А. Шолохова позволяют лучше понять их характеры, причины поступков, отношение к людям и к себе.

М. А. Шолохов знает немало примет и поверий, связанных с толкованием будущей семейной жизни молодожёнов. В романе «Тихий Дон» есть несколько примет, в которые верили наши предки. Шолохов даёт толкование только двум: сваха ёрзает по табурету, потому что «её колол украденный в сенцах и сунутый под кофту веник: по приметам, сваты, укравшие у невесты веник, не получают отказа. Кто-то «в день свадьбы всыпал Григорию за голенище сапога горсть пшена: для того, чтобы не сделалось чего с женихом с дурного глаза».

И всё же несчастливая семейная жизнь Григория и Натальи предрешена. Есть в сценах описания свадьбы интересные редкие свадебные приметы – предупреждения. В «Большом словаре примет» Т. Г. Никитиной в разделе «Свадьба» читаю: «Споткнуться о порог, задеть за порог при входе в дом невесты во время сватовства – к серьёзной неудаче». В романе отец Григория перед сватовством «спешил, боясь утратить припасённую дорогой смелость. Он споткнулся о высокий порожек, зашиб хромую ногу и, морщась от боли, буйно затоптал по вымытым сходцам». Да, конечно, старик Мелехов спешил, потому и споткнулся, но ведь в обыденном наши предки видели и необычное, отмечали закономерность последующих событий.

Еще одна примета из словаря Никитиной: «Дождь и гром с молнией на свадьбу – к разладу». В романе в сцене, когда Григорий и Наталья выходят из церкви на паперть, «где-то за Доном синё вилась молния, находил дождь…». Спустя несколько лет именно во время грозы Наталья проклянёт Григория за те муки, которые он ей причинил. А по примете: «Если гром или молния сопутствуют произнесённым словам – это знак беды».

Обрядовые приметы в романе «Тихий Дон» указывают на обречённость брака Григория Мелехова, его трагическую судьбу.

Использование обрядовых примет способствует выражению художественного замысла романа, подчёркивает историческую глубину культуры донских казаков.

Читая Шолохова, начинаешь осознавать простую истину, что высший смысл человеческого бытия – это созидательный труд, забота о детях, любовь, которая согревает души и сердца людей, неся в мир свет милосердия, красоты, человечности. И эти вечные общечеловеческие ценности ничто не способно уничтожить.

В романе «Тихий Дон» нашла несколько примет, в которых выражается нравственная позиция:

– будь скромным, сдержанным в проявлении чувств («Ох, будет тебе! Ты как не перед добром расходилась!» – Наталья Дарье;

– не желай зла ближнему своему («– Господи, накажи его проклятого! Сразу насмерть! – несколько секунд Ильинична с суеверным ужасом смотрела на сноху.

– Проси у Бога прощения! Ох, великий грех...»)

– не торопи события, будь терпеливым («Чего мы с тобой раньше времени загадывать будем!» – Григорий денщику Прохору).

В этих коротких, но ёмких фразах – нравственные устои казачьей старины, которыми и в наше время нельзя пренебрегать. В моей семье эти правила сами собой разумеются. Эти евангельские заповеди, как и сто лет назад в каждой казачьей семье, внушала бабушка моей маме, а мама – мне.

Приметы – своеобразные обереги, которые удерживают от совершения безнравственных поступков, сдерживают проявления низменных чувств, выстраивают нравственные ориентиры.

Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ,
ученица 10 класса Верхнедонской гимназии,
станица Казанская Верхнедонского района
Ростовской обл.

ЧТО ПОМНИТ СЕРДЦЕ

Десять лет тому назад я впервые приехал в станицу Вёшенскую, на родину моего дедушки Михаила Васильевича Щербакова. И он рассказал много интересного о своём земляке-писателе. Так получилось, что все мои родственники, которые жили в станице Вёшенской, общались с Михаилом Александровичем, и от них я тоже узнал новое для себя о жизни писателя.

Одним из первых, кто встречался с Михаилом Александровичем, был мой прапрадедушка Михаил Тимофеевич Фролов, 1882 года рождения. В 1907 году он окончил Императорские курсы закройщиков верхнего мужского платья, остался в Петербурге и начал работать в ателье.

К сожалению, у его родителей в станице Еланской дела шли всё хуже и хуже. Ему пришлось вернуться домой. Купив две машинки марки «Зингер», с помощью сестёр он организовал шитьё полушубков, шуб из овчины, треухов и казачьих форменных фуражек. Последние пользовались особенным спросом.

После окончания гражданской войны станица стремительно «хирела», народ голодал, нищенствовал. Было не до заказов на одежду.

В 1921 году Михаил Александрович Шолохов как налоговый инспектор часто ездил через станицу Еланскую в станицу Букановскую. Ездил он на попутных подводах, затем ему была выделена двуколка. Однажды он заехал, чтобы починить брюки. Разговорились, и выяснилось, что отец Шолохова часто пользовался услугами Михаила Тимофеевича.

В 1924 году, после возвращения из Москвы, и в течение нескольких лет сам Шолохов заезжал к Михаилу Тимофеевичу с небольшими заказами. Только в 1927 году появились гонорары за «Донские рассказы», на которые он в 1928 году купил деревянный дом в станице Вёшенской. В том же году вышел первый том романа «Тихий Дон», гонорар за него освободил семью Шолохова от финансовых затруднений.

В это время в Вёшенскую зачастили гости из Москвы, постоянно устраивались охота или рыбалка. Однажды, в ноябре 1928 года, Михаил Александрович сделал большой заказ: десять тулупов и десять треухов, так как ожидался приезд друзей Шолохова из Москвы. От-

правляясь с гостями на охоту и рыбалку, он беспокоился, чтобы те не замёрзли.

Тем временем станица Еланская угасала, районным центром окончательно становилась Вёшенская. В 1926 году число жителей станицы Еланской сократилось с 30 тысяч до 1 129 человек. Во время очередной примерки в доме Шолохова Михаил Александрович посоветовал Фролову перебраться в Вёшенскую.

Вскоре, в 1928 году, семья Фроловых, истратив последние сбережения, купила недалеко от усадьбы Шолохова простенькую хату в одну комнату. Комната имела земляной пол и отапливалась русской печкой. Центральное место занимали швейные машинки и учебники детей.

Вскоре Фролова выбрали председателем пошивочной артели района. Она располагалась в двухэтажном курене на углу улицы имени Шолохова и переулка Суворова, в 50 метрах от обрыва к Дону. Как и прежде, Михаил Тимофеевич получал от Шолоховых заказы и часто посещал их дом для примерок одежды, где его обязательно угощали чаем и передавали гостинцы детям.

Однажды, как рассказывает моя прабабушка Алла (дочь Фролова), пришёл он с примерки и говорит своей жене: «А знаешь, Нюра, Шолохов переделал конец «Тихого Дона», Аксинью убивают». Жена заохала: «Да как же так? Какой плохой конец. А Гришка как же?». Они оба зачитывались шолоховскими книгами и знали чуть ли не все варианты сюжета «Тихого Дона» из первых рук.

Шолохов с большим уважением относился к семье Фроловых, ценил их исключительную честность, трудолюбие, доброту, доброжелательность. Несмотря на многолетние взаимоотношения, Фроловы никогда не досаждали Шолохову просьбами.

У Фроловых было четверо детей, но я расскажу о младшем, Юрии, 1926 года рождения, который был рядом с Михаилом Александровичем долгое время. На войну он попал в 1944 году, пришёл домой в звании старшины. Его сразу же стали приглашать на работу в райотдел милиции. Но он вернулся в армию на сверхсрочную службу, с которой уволился в 1950 году.

К этому времени Шолоховы уже полностью обосновались в Вёшенской, начали перестраивать старый деревянный дом на нынешний каменный. Как депутату Верховного Совета СССР, и поскольку вся его деятельность проходила на дому, ему полагалась охрана. Наплыв ходоков, делегаций был очень большой, да и стройка требовала контроля. Поэтому Шолохов вместе с Марией Петровной тщательно отбирали назначаемых на дежурство милиционеров. Когда они узнали, что из армии вернулся Юрий, они при первой же встрече с Михаилом Тимофеевичем сказали ему: «Пусть Юрка идёт в милицию,

будем только его приглашать на дежурство. Семью Вашу знаем хорошо и давно, лучшего нам не найти».

Так Юрий Михайлович стал постоянным дежурным в усадьбе Шолохова. Кроме него, ещё было три станичных милиционера, которым доверяли дежурство, так как на дежурство они заступали в режиме «сутки-трое».Служба заключалась в круглосуточной охране территории и дома, встрече посетителей, посыльных, получении корреспонденции. Питались они взятыми с собой или принесёнными женой продуктами, но чаще всего кормили их на кухне у Шолоховых. Кроме дежурного охранника, в усадьбе постоянно присутствовали работники: местная повариха, водитель, секретарь. Кто-нибудь из соседей ухаживал за двором, коровами, птицей.

Юрий Михайлович был немногословен и практически ничего или очень скудно рассказывал о службе у Шолохова, даже своим домашним.

Самое спокойное время на дежурстве наступало после ужина: обслуга расходилась по домам, семья Шолоховых отходила ко сну, и только Михаил Александрович, подремав часок-другой, приступал к работе. Работал он в кабинете на втором этаже, где почти до утра горел свет.

Нередко Шолохов, открыв окно, окликал Юрия Михайловича и просил подняться к нему. Он расспрашивал его о вёшенских делах соседей, знакомых, рыбалке, урожае на огородах. Они заваривали чай, и писатель неоднократно читал ему отрывки из рукописных вариантов ещё ненапечатанных произведений. Ему было всё интересно. Юрий Михайлович охотно рассказывал о своих огородах: что посадили, и как выкопали картошку, особенно много рассказывал про рыбалку, так как они оба были страстными рыбаками. В те времена Дон кишел рыбой: щука, окунь, чехонь, мелкий лещ рыбой не считались. Прямо под обрывом у станицы можно было поймать судака, сазана, трёхкилограммовых лещей и стерлядь. Все остальные разговоры о политике, соседях и Вёшенской Юрий Михайлович не поддерживал, на что Шолохов ему однажды сказал: «Юрка, ты ж, наверно, и про меня так «много» рассказываешь?», на что тот ответил: « А что про Вас рассказывать? Про Вас всё пишут в газетах, вон корреспонденты по три штуки в день на усадьбе».

За эту черту характера и добросовестность, унаследованную от Фроловых, Шолохов его уважал и доверял многое. Кроме служебных обязанностей, Юрий Михайлович часто сопровождал Шолохова на охоту и, особенно, на рыбалку. Много раз на лодке они до рассвета выплывали на стремнину у мыса, привязывались к бакену и со дна ловили стерлядь. До утра можно было надергать больше ведра этой вкуснейшей рыбы. Некрупная (до килограмма), она была хороша во всех блю-

дах, но особенно удавалась маринованная. Рецепт где-то разыскала Мария Петровна, и с 50-х годов почти весь улов стерляди мариновали в эмалированных ведрах и ставили в погреб-ледник. У Шолоховых был вместо холодильника настоящий погреб-ледник, лёд в который каждый год завозили с Дона. Мой дедушка Миша помнит, что несколько раз, обычно к Пасхе, Юрий Михайлович, с разрешения Шолохова передавал в Ростов эмалированное ведро этого вкуснейшего деликатеса.

Кроме дома в Вёшенской, Шолоховы имели дачу-усадьбу в Северном Казахстане, в селе Дарьинском, на реке Урал, которую они приобрели во время эвакуации в 1942 году. Там сейчас музейный комплекс М. А. Шолохова.

В пятидесятые годы Шолоховы, каждую осень, выезжали на охоту в эти края. Многочисленные озёра Казахстана славились перелётной дичью: гуси, утки. Шолоховы с гостями добирались железной дорогой или легковыми машинами, а Юрий Михайлович с водителем – на имевшейся в усадьбе грузовой довоенной полуторке. Охота часто переходила в азарт, и битой птицы было так много, что возникал вопрос о её заготовке. Подсказали местные старожилы. Битую птицу ощипывали, пластовали, пересыпали солью с лавровым листом и слоями складывали в деревянные бочки. В таком виде её везли машиной в Вёшенскую и также хранили в погребе-леднике. При необходимости её доставали, вымачивали сутки и вялили на ветру, часто коптили. Рубленная полосками дичь расходилась за любым столом. Шолохов посмеивался и говорил: «Это Юркина работа, я только стрелял».

Шли годы, часто менялись охранники, но Юрий Михайлович бессменно проработал у Шолохова четверть века, до выслуги. Уже после увольнения из органов милиции, по просьбе Михаила Александровича, работал просто по хозяйству в усадьбе со своей женой Зиной, которая доила коров и готовила еду.

Уже на пенсии Юрий Михайлович стал рассказывать своим родным о работе у Шолохова. Тогда мы смогли больше узнать о жизни писателя, о его доброте и отношениях с простыми людьми.

Никита ЩЕРБАКОВ,
ученик 10 класса школы №107,
г. Ростов-на-Дону

Издаёт
ООО «Донское
книжное издательство»

Редакционная коллегия:
Анатолий Аврутин
г. Минск
Владимир Берязев
г. Новосибирск
Елена Джичоева
г. Ростов-на-Дону
Геннадий Иванов
г. Москва
Наталья Калинина
х. Пухляковский
Диана Кан
г. Новокуйбышевск
Пётр Краснов
г. Оренбург
Виктор Лихоносов
г. Краснодар
Александр Нестругин
с. Петропавловка
Валентин Осипов
г. Москва
Пётр Палиевский
г. Москва
Михаил Попов
г. Архангельск
Вячеслав Сухнев
г. Москва

Учредитель
и главный редактор
Виктор Петров
Зам. главного редактора
Валерия Салтанова

Адрес: 344000 г. Ростов-на-Дону,
Красноармейская, 23

Телефон: 8-928-152-59-45
E-mail: donliter@yandex.ru

Рег. номер ПИ № ТУ61-00771
(зарегистрировано Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Ростовской области)

Редакция рассматривает все обращения,
но вправе не рецензировать
и не возвращать рукописи

Подписано в печать 05.05.2014
Формат 84 X 108/32
Печать офсетная. Усл. п. л. 13,5
Заказ № . Тираж 300 экз.

ЗАО «Книга»
344019 г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 57